Карамзин
Дмитриев

Карамзин Дмитриев



БИБЛИОТЕКА ПОЭТА
ОСНОВАНА М. ГОРЬКИМ



СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

Н. КАРАМЗИН
И. ДМИТРИЕВ

Избранные стихотворения

ЛЕНИНГРАД 1953

Вступительные статьи,
подготовка текстов и примечания
А. Я. Кучерова

Н. М. КАРАМЗИН

Н. М. КАРАМЗИН

1

Пожалуй, ни об одном русском писателе XVIII и начала XIX столетия не было так много написано в дореволюционной истории литературы, как о Карамзине. Представители старой академической науки настойчиво развивали и пропагандировали мысль о том, что творчество Карамзина едва ли не важнейшее явление предпушкинской поры, во многом определившее развитие и самого Пушкина.

Действительно, в свое время имя Карамзина было широко известно и популярно, хотя он и не был представителем прогрессивной линии в русской литературе. В годы деятельности Карамзина, его последователей и эпигонов ведущая линия литературного развития была связана с именами просветителей — Фонвизина, Новикова, Крылова и, конечно, прежде всего с именем великого русского революционного писателя и мыслителя Радищева.

Радищевская линия замалчивалась, и это понятно. Только после Октябрьской революции, особенно в последние годы, началось глубокое изучение творчества Радищева, его ближайших последователей — Пнина, Попугаева, Борна, изучение роли наследия Радищева в формировании мировоззрения Пушкина, выяснилось значение Радищева в развитии реалистических начал, четко определилась преемственная связь от Радищева к декабристам.

Естественно, что подверглась пересмотру и оценка значения Карамзина в развитии русской литературы. Можно считать установленным, что ход идейной и литературной борьбы конца XVIII — начала XIX столетия определили Радищев и Карамзин — выразители демократического и дворянского мировоззрений. Радищев

являлся носителем наиболее прогрессивных начал в русской литературе. Карамзин, всю свою жизнь озабоченный судьбами дворянства, был противником демократических идей и демократической литературы. Он являлся главой русского дворянского сентиментализма. Вместе с тем Карамзин внес в русскую прозу хотя и робкие, но все же весьма существенные для ее дальнейшего развития черты психологического анализа, впервые попытался раскрыть в лирической прозе и в лирике внутренний мир человека, его душевные движения и настроения. Бесспорно значение творчества Карамзина для развития русского литературного языка. Батюшков и Жуковский, особенно последний,— прямые наследники Карамзина. Они явились связующим звеном между Карамзиным и Пушкиным.

Белинский превосходно определил характер влияния, роль и значение в русской культуре Карамзина. Во второй статье пушкинского цикла, говоря о Карамзине, Белинский охарактеризовал два рода деятелей; к одному из них принадлежал Карамзин, к другому, по справедливому предположению Н. И. Мордовченко, Радищев: «...одни <деятели> своими делами творят новую эпоху, действуют на будущее; другие действуют в настоящем и для настоящего. Первые бывают не признаны, не поняты, не оценены и часто даже гонимы и ненавидимы своими современниками; их апофеоза создается в будущем, когда уже самые кости их истлеют в могиле; вторые — всегда любимцы и властелины своего времени, но, уваженные, превознесенные и счастливые при жизни своей, они получают уже совсем не то значение после их смерти, а иногда и переживают свою славу. Без сомнения, первые выше вторых, ибо это натуры великие и гениальные, тогда как вторые — только сильно и ярко даровитые натуры. Первые, если они действуют на литературном поприще, завещевают потомству творения вечные, неумирающие; вторые — пишут для своих современников, и их произведения для будущих поколений получают уже не безусловное, но только историческое значение, как памятники известной эпохи. К числу деятелей второго разряда принадлежит Карамзин».[1]

2

Николай Михайлович Карамзин родился 1 декабря 1766 года в Симбирской губернии, в имении отца, среднепоместного провин-

---

[1] В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений. Под редакцией и с примечаниями С. А. Венгерова. П., 1917, т. XI, стр. 219—220.

циального дворянина. В детстве он был свидетелем Пугачевского восстания. Первоначальное образование получил в Москве, в пансионе профессора Шадена. Записанный, по дворянской традиции, с детства в Преображенский гвардейский полк, Карамзин семнадцати лет явился в Петербург для прохождения воинской службы. Здесь завязалась его дружба с И. И. Дмитриевым, симбирским соседом, родственником и будущим соратником в литературе.

Судя по глухим упоминаниям мемуаристов, начинающий писатель для службы в гвардии был недостаточно богат. Может быть, эта причина, а может быть, необходимость заняться расстроенным хозяйством заставила Карамзина после смерти отца уйти в отставку. В 1784 году масон И. П. Тургенев, директор Московского университета, встретил в Симбирске Карамзина, убедил его переехать в Москву и заняться литературой. В Москве И. П. Тургенев познакомил Карамзина с Н. И. Новиковым, ввел в круг «Дружеского ученого общества», созданного Новиковым для воспитания будущих учителей, переводчиков, издателей, способных содействовать отечественному просвещению. Здесь Карамзин провел четыре года, усердно занимаясь переводами для журнала Новикова «Детское чтение для сердца и разума».

Важнейшим периодом в жизни и развитии Карамзина явились месяцы, проведенные в путешествии за границей с 18 мая 1789 года по сентябрь 1790 года. Судя по замечаниям современников, Карамзин отправился странствовать с твердым намерением написать о своих путевых впечатлениях. Так родились «Письма русского путешественника», вызвавшие множество подражаний: В. Измайлова, П. Макарова, П. Сумарокова, М. Невзорова, П. Шаликова.

Изданием «Московского журнала» (1791—1792) начинается наиболее значительный этап писательской деятельности Карамзина, закончившийся в годы редактирования журнала «Вестник Европы» (1802—1803). За двенадцать лет Карамзин полностью выразил себя как писатель, глава нового, сентиментального направления в литературе, и приобрел горячих сторонников, последователей и подражателей в дворянских литературных кругах.

Этот период, когда Карамзин жил почти исключительно литературным трудом, вслед за Новиковым утвердив его в России как профессию, отмеченный быстрым и на первый взгляд всеобщим признанием, в то же время был и самым трудным в жизни Карамзина. Для него это были годы испуга, вызванного победным шествием революции в Европе, годы боязни непрекращавшихся волнений крестьян, годы недоверия, во всяком случае подозрительного

отношения к нему правительства, затруднявшего его издательскую и переводческую деятельность, годы сложных отношений с А. И. Плещеевой.[1]

После дворцового переворота и восшествия на престол Александра I обстановка для Карамзина изменилась. Он приступил к изданию большого политического журнала «Вестник Европы», сыгравшего значительную роль в развитии русской журналистики XIX века. В это время Карамзин уже работал над историей России. Поэт М. Н. Муравьев, тогда статс-секретарь Александра I, ходатайствовал при дворе за известного писателя. В 1803 году Карамзин был назначен историографом. Первые 8 томов «Истории государства Российского» вышли в 1818 году; огромный по тем временам тираж — 3 тысячи экземпляров — разошелся в 25 дней: так велик был интерес к этому произведению. В «Истории государства Российского» Карамзин сформулировал монархическую концепцию русского исторического процесса, вызвавшую решительные возражения в кругах декабристов.

В продолжение 23 лет с увлечением занимаясь историей, Карамзин отошел от литературы. Даже литературная битва, разгоревшаяся между «Арзамасом» и «Беседой», не побудила Карамзина взяться за перо.

Как историк и писатель сентиментального направления в литературе, в те годы широко распространенного в Европе, Карамзин приобрел общеевропейскую известность. Многие его произведения были переведены на иностранные языки: «Письма русского путешественника» — на немецкий, французский, английский, польский, голландский. Повести и другие произведения — на датский, шведский, греческий и сербский. «История государства Российского» в 1819—1820 годах вышла в Париже; в начале 20-х годов ее опубликовали в Италии. По поводу венецианского ее перевода Москини и Гамба Карамзин шутливо сообщал Дмитриеву 26 января 1820 года: «Я писал для русских, для купцов ростовских, для владельцев калмыцких, для крестьян Шереметева... а не для Западной Европы».

Смерть прервала работу Карамзина в 1826 году, когда он заканчивал 12-й том «Истории государства Российского».

---

[1] На младшей сестре Плещеевой, Е. И. Протасовой, Карамзин женился в 1801 году; в 1802 она умерла, а в 1804 Карамзин женился вторично — на Е. А. Колывановой, сестре П. А. Вяземского.

Сентиментальное направление, главой которого явился Карамзин, утвердилось в русской литературе после широкого стихийного крестьянского движения под водительством Пугачева.

Пугачевское восстание в 70-х годах XVIII столетия оказалось огромной активизирующей силой, давшей толчок развитию русской общественной жизни и литературы в разных направлениях.

С одной стороны, оно содействовало развитию критической и демократической мысли в литературе. Через семь лет после жестокого подавления движения Пугачева, в 1782 году зрители русского театра увидели замечательную комедию Фонвизина «Недоросль», в которой, по замечанию М. Горького, впервые было «выведено на свет и на сцену растлевающее значение крепостного права».[1] За Фонвизиным выступил Крылов с сатирическим журналом «Почта духов» (1789), продолжая в нем новиковскую традицию борьбы за просвещение широких демократических слоев русского общества и резко критикуя весь современный ему общественный уклад жизни и крепостной строй. И, наконец, с призывом к революционному действию в «Путешествии из Петербурга в Москву» выступил Радищев. Так в самых общих чертах обозначились после Пугачевского восстания вехи развития прогрессивной, демократической русской литературы.

С другой стороны, Пугачевское восстание привело к усилению правительственной реакции. Дворянство, не имевшее ни малейшего желания отказываться от права владеть людьми, от даровой рабочей силы как основы своего материального благополучия, вступило на путь самого жестокого подавления всяких попыток ограничить свое безраздельное господство, откуда бы такие попытки ни исходили. Многие административные мероприятия Екатерины и были продиктованы стремлением оградить дворянскую монархию от нового движения крестьян, продолжавшего тлеть и почти каждый год грозившего разгореться с новой силой, тем более, что и за пределами страны шло последовательное нарастание буржуазного революционного движения: революция в Америке, литературная предреволюционная борьба во Франции.

Но представители более дальновидных кругов дворянства выдвигали требование смягчить прямолинейные формы феодально-крепостнического господства. Затушевывая остроту социальных противоречий, они стремились найти пути к умиротворению социаль-

---

[1] М. Горький. История русской литературы. М., ГИХЛ, 1939, стр. 22.

ных конфликтов, не затрагивая самого института крепостного права, более того — проповедуя, что только при нем, при власти барина-отца, и возможно истинное процветание крестьянства. Для сохранения крепостного права, для укрепления его, по мнению этих кругов, правительству надо было добиться более мягкого, более гуманного обращения с крепостными.

Эта вынужденная революционным ходом истории небольшая уступка, на которую были готовы пойти «просвещенные защитники крепостного права», нашла, как известно, отражение в карамзинском сентиментализме, в заявлении, что и «крестьянки любить умеют», во взглядах Карамзина на образование и распространение книг.

Таковы были общественно-политическое содержание и направленность нарождавшегося дворянского сентиментализма, в котором сказались и ощущение непрочности и исторической обреченности своего класса, и эстетизация субъективных переживаний, «жизни сердца», и стремление отвлечь литературу от служения высоким общественным идеалам, превратить ее в средство оправдания и защиты незыблемости основ классового дворянского господства.

Новое направление, затушевывая социальные противоречия, выдвигало на первое место вопросы морали. С точки зрения русского сентиментализма природа в равной мере одарила и вельможу и раба возможностью к счастью, поскольку счастье — не что иное, как состояние души человека. Счастье нельзя приобрести ни за какие богатства, и пастух может быть счастливее вельможи. Счастье доступно человеку в каждом общественном состоянии,— настойчиво повторял Карамзин.

Добролюбов правильно подметил, что такой проповедью охотно занимается человек, «живущий в довольстве и который, после вкусного обеда и приятной беседы с гостями, садится в изящном кресле, в комнате, убранной со всеми прихотями достатка, описывать блаженство бедности на лоне природы», и охарактеризовал ее как «самодовольное спокойствие человека, не думающего о счастьи других»,[1] а Крылов в сатире «Каиб» в свое время метко и зло высмеял карамзинскую сентиментально-философскую идиллию.

Но и Добролюбов, упрекавший сентиментализм в индивидуализме и эгоизме, вместе с тем указал, что «круг людей, требованиям которых удовлетворяли эти писатели, был, правда, шире прежнего... Повести Карамзина и баллады Жуковского перечиты-

---

[1] Н. А. Добролюбов. О степени участия народности в развитии русской литературы. Собрание сочинений. ГИХЛ, 1934, т. 1, стр. 232.

вались, можно сказать, во всем дворянском круге. Это и составляет значительный шаг вперед, сделанный карамзинскою школою. Вместе с тем она неизбежно должна была теперь несколько спуститься к действительности,— хотя все еще далеко не достигла ее».[1]

Карамзин шел по пути Хераскова, Муравьева, Кутузова, Петрова — ранних русских сентименталистов.

Наиболее близким к Карамзину по своему мировоззрению и творчеству был талантливый поэт последней четверти XVIII столетия М. Н. Муравьев, принадлежавший к сумароковской школе. Муравьев утверждал, что общество основано на разделении обязанностей: одни добывают хлеб, другие с мечом в руках берегут государственные пределы, самые достойные — учат и повелевают. Невидимая нить соединяет различные состояния в одно целое. «Таким образом, ученый служит земледельцу и земледелец ученому... Целый народ ученых или предводителей не может существовать нигде, кроме в воображении».[2] Отношения помещика и крепостного естественны, если помещик гуманен, «отец своих крепостных» и «достоин своей породы».

Муравьев верил в гармоничность крепостнической монархии. Этот исторически сложившийся в России государственный строй, по его мнению, превосходно мог служить процветанию всех сословий. Но откуда же тогда постоянные потрясения? восстание Пугачева? глухое извечное недовольство крестьян своей долей? В недостатке добродетелей у тех, кто повелевает, и в недостатке просвещения видел Муравьев причину всех зол. Указанные обстоятельства и порождают возмущение и все несчастья в стране.

Нетрудно убедиться, что концепция Муравьева близка к взглядам Сумарокова на пороки в обществе, и если бы Муравьев проявил готовность бороться за нее, служить ей пером, близость была бы еще большей. Но здесь-то и начинаются различия. После крестьянской войны Муравьев был очень далек от взгляда на литературу как на служение обществу. Он пассивен и стремится оградить свой духовный мир от вторжения непривлекательной для него действительности, уклоняется от борьбы с социальными пороками, у него нет сумароковской веры в то, что их можно искоренить. Ход его мыслей примерно таков. Социального зла в жизни так много, что борьба с ним может привести лишь к новым потрясениям в государстве. Не лучше ли жить частной жизнью, в стороне от общественных бурь, занимаясь своим духовным «я»? Добродетель-

---

[1] Там же, стр. 233.

[2] М. Н. Муравьев. Собрание сочинений. СПб, 1820, ч. III, стр. 59.

ный дворянин, проявивший заботу о своем самовоспитании, лучше сможет выполнять свои обязанности — вот единственный путь к благополучию в стране. Не общество надо переделать, а человека.

В мировоззрении Муравьева, как и других русских сентименталистов и Карамзина, ясно выражен эгоистический субъективизм, о котором писал Добролюбов.

Муравьев искал счастье в общении с натурой и в духовном наслаждении жизнью. В стихотворении «Размышление» он писал:

Сиянье внешнее отличий и честей,
    Души тщеславной пища,
Благополучия не доставляют ей,
Коль нет внутри ее спокойствию жилища;
    Для добрыя, незлобивой души
Минуты счастия текут во всяко время;
Не вне, а в нас самих и бед и счастья семя,
И дни прекрасные лишь нами хороши...

В маленькой статье «Блаженство» Муравьев прямо указывает дворянину «сентиментальный путь» к счастью: «Блажен обитатель спокойной сени, на уединенном лугу, близ источника тихой и прозрачной речки, под деревом, им самим насажденным... Путь жизни его есть тайная тропинка, которую любит находить приятная задумчивость чувствительного человека...»[1]

В лирической прозе Карамзина «Деревня» те же мысли, мотивы и, по существу, тот же стиль. Близость идейного содержания, естественно, вела и к близости стиля.

Взгляды Муравьева были той пищей, в которой искала душевного равновесия встревоженная, испуганная ходом истории значительная часть русского дворянства в последней четверти XVIII столетия.

Как и Муравьев, Карамзин, озабоченный своим душевным «я», в поисках путей к ограждению любезного ему дворянства от революции, основную силу для укрепления существовавшего тогда строя видел в проповеди добродетели и добродетельных слугах царя. Много лет спустя, создавая свою консервативную «Записку о древней и новой России» (1811), идеи которой стали «правительственным курсом» второй половины александровского царствования,[2] Карамзин нашел единственное лекарство для устранения всех госу-

---

[1] М. Н. Муравьев. Собрание сочинений. СПб, 1820, ч. III, стр. 52.

[2] См. С. Б. Окунь. История СССР. 1796—1825. Л., Изд. Ленингр. гос. университета, 1948, стр. 189.

дарственных зол — «пятьдесят умных и добродетельных губернаторов».

Значительное влияние на Карамзина оказала идейная атмосфера «Дружеского ученого общества» и «Типографической компании». В Обществе скрещивались просветительское влияние Новикова и религиозно-мистическое — масона Шварца.[1] Карамзин, несомненно, испытал на себе оба влияния. Тогда уже, в середине 80-х годов, в Обществе расцветали настроения, характерные для перехода дворянства с идейных позиций классицизма на позиции сентиментализма. Карамзин появился в нем летом 1785 года. Он жил в одной комнате с А. А. Петровым и в одном доме с А. М. Кутузовым, до отъезда последнего весной 1787 года в Берлин по делам масонского ордена.

Кутузов принадлежал к образованному русскому дворянству, враждебному потемкинскому духу управления, но настроенному в высшей степени пассивно, искавшему успокоения и мира в масонстве и мистицизме. Для политических взглядов Кутузова характерны два замечания в письмах к масонам Н. Н. Трубецкому и И. В. Лопухину. В письме от 1 ноября 1790 года Кутузов писал по поводу ареста Радищева, вероятно с оглядкой на перлюстрацию, но, по существу, то, что соответствовало его религиозно-философским взглядам: «Вы знаете мои правила: известно вам, что я великий враг всякого возмущения и что я никогда не престану твердить, что критика настоящего правления есть недозволительное дело и нимало не принадлежит к литературе». В письме от 12 ноября того же года он писал: «Смело можно сказать, что из среди нас не выдет никогда Мирабо... Христианин и возмутитель против власти, от бога установленныя, есть совершенное противоречие».[2]

Несмотря на решительное расхождение с Радищевым во взглядах, Кутузов был его другом еще по Пажескому корпусу и по Лейпцигскому университету. Кутузову посвящено «Путешествие из Петербурга в Москву».

Карамзин был моложе Кутузова на семнадцать лет, и, естественно, последний во многом являлся для него авторитетом. Карамзина привлек философский и особенно литературный дух нарождавшегося нового сентиментального направления, и неудивительно, что книга английского сентименталиста Э. Юнга «Плач, или Нощные мысли» в переводе Кутузова обратила на себя внимание

[1] См. Г. Макогоненко. Николай Новиков и русское просвещение XVIII века. М.—Л., ГИХЛ, 1951.

[2] Я. Л. Барсков. Переписка московских масонов XVIII века. 1780—1792. П., 1915, стр. 21 и 33.

Карамзина.[1] Он упоминает Юнга в своем поэтическом манифесте 1787 года — стихотворении «Поэзия»:

О Йонг, несчастных друг, несчастных утешитель!
Ты бальзам в сердце льешь, сушишь источник слез
И, с смертию дружа, дружишь ты нас и с жизнью!

В «Письмах русского путешественника» мы снова встречаемся с упоминаниями о Юнге. Увлечение Юнгом, его «кладбищенской поэзией», характерно для масонских кругов. Характерно оно и для Карамзина.

Такой же большой интерес представляла для Карамзина «Мессиада» Клопштока, которую Кутузов перевел прозою в эти же годы.

Элементы эстетики чувства Карамзин нашел в статье самого Кутузова «О приятности грусти», помещенной в «Московском ежемесячном издании» в 1781 году. Статья могла родиться только при склонности к философскому самоанализу, столь характерному для сентиментального направления. В ней раскрыт «знаменитый потом по Карамзину культ меланхолии».[2] В статье Кутузов описал «приятность» полутонов чувства. Прямолинейность в изображении характеров в поэтике классицизма должна была казаться в свете нового взгляда на душевный строй человека односторонней и условной. Только «смешанное чувствование, сравнивая его с простым, имеет в себе нечто нового, нечто трогающего, ибо одно движение возвышается сопротивлением другого; и для того-то оно нам и нравится»,— писал Кутузов.[3]

Взгляд на эстетическую значимость сложных, противоречивых чувств и нашел свое отражение в поэзии Карамзина.

Несомненно влияние на Карамзина участника «Дружеского общества», переводчика и журналиста, рано умершего А. А. Петрова. Карамзин ценил его очень высоко. О нем он написал лирический монолог «Цветок на гроб моего Агатона» (1793), его он изобразил в образе Леонида в статье «Чувствительный и холодный» (1803). С именем Петрова связан культ дружбы, начало которому в русской сентиментальной литературе положил Карамзин. Петров был ближе к практической издательской деятельности Новикова, особенно как редактор журнала «Детское чтение», и дальше стоял от мистических настроений кружка, хотя он и перевел в 1783 году

---

[1] Первое издание вышло в 1785 году, второе в 1799, третье в 1812 году. Успех книги объясняется уже влиянием карамзинского сентиментализма.

[2] Г. Макогоненко. Николай Новиков и русское просвещение XVIII века. 1951, стр. 444.

[3] «Московское ежемесячное издание», 1781, ч. III, стр. 148.

с немецкого кабалистическую повесть «Хризомандер», а через два года книгу «О древних мистериях или таинствах».

Карамзин близко знал Петрова еще до приезда из Симбирска в Москву летом 1785 года; вероятно, они познакомились, когда Карамзин учился в пансионе Шадена. Сохранилось семь писем Петрова к Карамзину: первое — от 5 мая 1785 года, последнее — от 19 июля 1792 года.[1]

В связи с переводом Карамзиным «Юлия Цезаря» Петров писал своему молодому другу в 1787 году: «Говорят, что Шекспир был величайший génie, но я не знаю, для чего его трагедии не так мне нравятся, как «Эмилия Галотти». И, словно послушавшись совета Петрова, Карамзин в следующем году выпустил в свет перевод «Эмилии Галотти» Лессинга. Петров учил Карамзина наслаждаться «натурой», сельской жизнью, то есть тому, в чем Карамзин вскоре стал признанным учителем сентименталистов. Замечания Петрова по этому поводу очень любопытны. Вот что он писал: «Я надеялся, что нынешняя поездка твоя в деревню истребит в тебе старое, закоренелое предрассуждение против деревенской жизни... Но теперь вижу, что надежда моя была неосновательна. Не хочу доказывать тебе несправедливости твоего равнодушия к приятностям сельским; ибо сия материя давно уже часто и пространно была нами трактована, как в присутствии, так и в отсутствии А. И. <Ал. Ив. Дмитриева>, президента селозащитительного общества. Позволь только спросить у тебя, как может находить вкус в беллетрах, в искусственном подражании прекрасной Натуре тот, кто в самом оригинале не находит приятностей...».

Следует упомянуть и о переводчике А. И. Дмитриеве (1759—1794), брате поэта; с ним Карамзин был также в дружеских отношениях. Переводческая деятельность А. И. Дмитриева развивалась в русле раннего сентиментализма. В 1788 году он выпустил перевод «Поэм древних бардов», по которому Державин познакомился с Оссианом. Оссиан занимает видное место и в юношеском поэтическом манифесте Карамзина «Поэзия».

Таковы были литературные связи молодого Карамзина, взгляды и настроения, с которыми он столкнулся в кругу «Дружеского общества». Вскоре из ученика Карамзин стал учителем своих учителей. Уже в 1792 году Петров, еще совсем недавно поучавший своего друга, восхищается «Бедной Лизой». В произведениях 90-х годов у старшего поколения поэтов: Муравьева, Капниста, Львова легко обнаружить влияние карамзинского языка. Только

[1] «Русский архив», 1863, ст. 480; 1866, ст. 1756.

с утверждением «карамзинизма» проповедь «жизни сердцем» явилась наиболее ярким выражением нового идеала русских сентименталистов.

В литературной деятельности Карамзина нашли свое отражение не только идеология и эстетика ранних русских сентименталистов. Если бы Карамзин логически развил взгляды Кутузова, особенно характерные для мистического крыла «Дружеского общества», он, как и Кутузов, постепенно отказался бы от всякой общественно-полезной деятельности и закончил жизнь в занятиях самоусовершенствованием за чтением масонских книг. Карамзин не пошел по этому пути и вскоре после возвращения из путешествия порвал с масонами. В объявлении о «Московском журнале» в «Московских ведомостях» он писал, что не станет публиковать «теологических, мистических и педантических сочинений». Переписка с Кутузовым свидетельствует о крайней натянутости отношений Карамзина со своими старыми друзьями.[1]

В кругу «Дружеского общества» Карамзин нашел для себя и другой пример, другой идеал, и этим идеалом, несомненно, был Новиков. История сохранила нам не много свидетельств об их взаимоотношениях. Однако после ареста Новикова Карамзин оказался, пожалуй, единственным, кто выступил на его защиту, хотя и в завуалированной форме (в оде «К Милости»). Известно, что Новиков после освобождения обратился за помощью к Карамзину, и тот хлопотал о нем, а после смерти Новикова составил записку на имя Александра I в 1818 году с ходатайством о детях покойного публициста. Из всего масонского круга он сохранил искреннее уважение в особенности к просветителю Новикову, и это, конечно, не случайно. В литературных интересах Карамзина с первых его шагов обнаруживается стремление к широкой журнальной и издательской деятельности. Карамзин прежде всего — литератор, издатель, журналист. И хотя по задачам и издательскому размаху его деятельность несравнима с деятельностью Новикова, но и Карамзин озабочен книгопечатанием в России, озабочен влиянием книги на читателя, и в этом, несомненно, сказалось общение с Новиковым

---

[1] Характерны в этом отношении два письма А. И. Плещеевой, одно Кутузову, другое Карамзину. Близкая к московским масонам, Плещеева взволнованно писала 7 июля 1790 года Кутузову по поводу того, что Карамзин позволил себе написать: «Я вас вечно буду любить, ежели душа моя бессмертна». «Это «ежели» меня с ума сводит»,— жаловалась Плещеева и в тот же день отправила полное упреков письмо Карамзину: «...и подумать, что̀ ты был в Москве, какое имел сердце и как мыслил; не то из тебя проклятые чужие краи сделали» («Переписка московских масонов», 1915, стр. 2—3).

и «Типографической компанией». Стоит вспомнить статьи Карамзина «Отчего в России мало авторских талантов» (1803), «О книжной торговле и любви ко чтению в России» (1802). В них выражена патриотическая забота о распространении образования и просвещения. «Письма русского путешественника» давали для своего времени обширный познавательный материал, и в этом также была забота о просвещении. Поставив перед собой задачу создать историю Российского государства, Карамзин отвечал на насущную потребность времени, и именно поэтому, несмотря на лежавшую в основе «Истории» консервативную концепцию, она сыграла в свое время очень большую роль как источник обширнейших сведений о России.

Пример Новикова-издателя — вот что наложило печать на литературную деятельность Карамзина. Глава школы русского дворянского сентиментализма, Карамзин вместе с тем был сторонником просвещения народа. Сохранилось свидетельство издателя и журналиста К. С. Сербиновича в его подневных записках о последних годах жизни Карамзина, относящееся к интересующему нас вопросу: «Приехал и Александр Семенович Шишков. Был маленький, но довольно хладнокровный спор о распространении грамотности в народе. Известно мнение Александра Семеновича, что обучать весь народ грамоте более вредно. Николай Михайлович (Карамзин.— *А. К.*) утверждал противное и говорил, что, проезжая (за тридцать лет перед тем) чужие земли, он видел поселян, занимающихся чтением книг и в то же время не пренебрегающих своим делом и довольных своим состоянием; что просвещение везде смягчает нравы и искореняет преступления».[1]

Позиция Карамзина по вопросу о народном образовании помогает объяснить недоверие к нему представителей екатерининской и павловской реакции и доносы на него, как на якобинца. Однако, продолжая в области образования и книгопечатания новиковские традиции, Карамзин оставался в лагере сторонников дворянского сентиментализма.

* * *

В формировании эстетических воззрений Карамзина большую роль сыграли впечатления от французской революции, ложившиеся на почву, подготовленную послепугачевскими настроениями русского дворянства и волнениями крестьян. Об этом свидетельствуют многие стихотворения поэта, элегический и философский тон его лирики.

Карамзин никогда не был республиканцем, хотя он очень

---

[1] «Русская старина», 1874, т. XI, стр. 247.

серьезно настаивал на своем «республиканстве в душе».[1] Хорошо осведомленный в политических идеях своего времени, он не мог пройти мимо учений о республике; они его, несомненно, интересовали, о чем говорят хотя бы краткие сообщения в «Московском журнале» о книгах, либо рассказывающих о революции, либо революционных. Об «Утопии» Томаса Мора Карамзин поместил в «Московском журнале» довольно подробную статью, где сравнил ее с республикой Платона. Платонова республика привлекала внимание не только Карамзина. О ней толковали в кружке Хераскова. В «Бахарияне» Херасков писал:

Там Платонова республика
Тонкой краскою написана,
Времени рукой повытерта;
Там свобода безрассудная
Обещает людям равенство.

Маркс в XII главе I тома «Капитала» назвал аристократическую республику Платона афинской идеализацией «египетского кастового строя».[2] И характерно, что именно утопия Платона, по которой должны были господствовать аристократы-философы, из всех утопий особенно привлекала сентименталистов.

В «Письмах русского путешественника» Карамзин доброжелательно отозвался о швейцарской республике, об английской конституционной системе, но все это были умозрительные размышления. Французская революция, которая «смела весь отживший сор давно минувших веков и очистила, таким образом, общественную почву от последних помех для сооружения здания современного государства»,[3] оттолкнула, испугала, возмутила Карамзина. В его сознании французская революция невольно связывалась с пережитым в детстве Пугачевским восстанием. Если республиканские теории и утопии, такие, как утопия Платона, недавно вызывали некоторый интерес, то республиканская практика, наступление третьего сословия в Европе порождали в нем гнев и разочарование.

---

[1] В письме от 21 августа 1818 года П. А. Вяземскому Карамзин писал: «Я в душе республиканец и таким умру» («Письма Н. М. Карамзина к князю П. А. Вяземскому». СПб, 1897, стр. 60). А в письме от 11 сентября того же года Дмитриеву сказано: «Не требую ни конституции, ни *представителей,* но по чувствам останусь республиканцем и притом верным подданным царя русского: вот противоречие, но только мнимое!» («Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву», СПб, 1866, стр. 249).

[2] К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. 1937, т. XVII, стр. 405.

[3] Карл Маркс. Избранные произведения в двух томах. 1933, т. II, стр. 386.

Примерно с 1793 года многие мысли в лирике и прозе Карамзина отражали эти настроения. Иногда они обнаруживались в неожиданных примечаниях. Так, к стихотворению «Песнь божеству» Карамзин поместил следующее примечание: «Сочиненная на тот случай, как безумец Дюмон сказал во французском конвенте: нет бога!» Не будь примечания, стихотворение воспринималось бы лирическим размышлением о божестве и природе. Примечание превращает его в полемическое выступление Карамзина против члена Конвента Дюмона.

В «Послании к Дмитриеву» (1794) Карамзин сокрушенно писал:

Теперь иной я вижу свет,—
И вижу ясно, что с Платоном
Республик нам не учредить...

С особенной силой скорбные настроения Карамзина, вызванные событиями во Франции, отразились в послании «Мелодор к Филалету». Крестьянские волнения в России усиливали их. «Конец нашего века почитали мы концом главнейших бедствий человечества... Век просвещения! Я не узнаю тебя, в крови и пламени не узнаю тебя, среди убийств и разрушения не узнаю тебя!» — писал Карамзин. Ему мерещилась гибель современной культуры, подобная гибели древних культур.

Письма Мелодора к Филалету и Филалета к Мелодору появились в сборнике «Аглая» в 1795 году. Во втором письме Карамзин цитировал две строки из написанного за год перед тем «Послания к Дмитриеву». Так тесно связаны эти произведения единым кругом размышлений поэта.[1] В письме от 13 мая 1795 года к П. М. Хераскову, брату поэта,— всё те же сетования: «Кажется, что небо сердито на землю; правда, и есть за что... сколько ужасного на ней делается! — Политический горизонт все еще мрачен. Долго нам ждать того, чтобы люди перестали злодействовать и чтобы дурачество вышло из моды на земном шаре».[2]

Через год в стихотворении «К Мелодору» Карамзин вновь возвратился к теме поэта и революции:

Когда бледнеет все в подлунном мрачном мире
И жертвы плавают в дымящейся крови,
Тогда, о Мелодор! на кроткой, нежной лире
Играя, ты поешь о сладостях любви?

---

[1] О волнении Карамзина в письмах Филалета по поводу судеб европейской культуры вспомнил Герцен в книге о революции 1848 г. «С того берега».

[2] «Библиографические записки», 1858, № 19, ст. 588.

Умолкни, милый друг!.. Кто будет наслаждаться
Гармонией твоей? кто ею восхищаться?..
Но нет! играй и пой, любезнейший Орфей!
Поет и в страшный гром на миртах соловей!

К таким выводам привела Карамзина революционная ситуация в Европе. Что бы ни случилось в подлунном мире, какие бы бури ни сотрясали его, пусть поэт поет о сладостях любви.

Карамзин понимал историческую значительность революции во Франции. В 1797 году он напечатал в гамбургском журнале статью о русской литературе, в которой писал: «Французская революция принадлежит к числу событий, определяющих судьбы человечества на долгий ряд веков. Начинается новая эпоха: я вижу это, а Руссо предвидел...».[1] Но и в Западной Европе революция не несет народам счастья. В России же нет необходимости в социальных переменах, они слишком опасны. России необходимо найти свой собственный, самобытный путь развития, без революционных бурь и потрясений — таков ход мыслей Карамзина. В бурные годы поэту лучше всего уйти и увести читателя от действительности, жить в мире поэтических фантазий. В лирической прозе «Афинская жизнь» он прямо пишет, что счастлив уйти хотя бы в мечтах на афинский праздник в древней Греции от революционных событий, вéсти о которых ежедневно и неумолимо приносят газеты.

Скептицизм, недоверие к будущему, порожденные революционным ходом истории конца XVIII столетия, стремление оградить русское дворянство от потрясений — привели Карамзина к представлению о поэте как соловье или как маге, рассказывающем далекие от жизни, но утешительные сказки.

Непроницаемым туманом
Покрыта истина для нас.
Кто может вымышлять приятно,
Стихами, прозой,— в добрый час!
Лишь только б было вероятно.
Что есть поэт? искусный лжец:
Ему и слава и венец!

(«К бедному поэту», 1796)

Карамзинский образ поэта «искусного лжеца» и «утешителя», столь характерный для русского дворянского сентиментализма, как он далек от понимания роли гражданственного поэта Ломоносовым

[1] Полный текст статьи, написанной Карамзиным на французском языке для журнала «Le Spectateur du Nord», приведен в «Письмах Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву». СПб, 1866, стр. 473.

и Радищевым, от пушкинского пророка, который глаголом жжет сердца людей!

Проповедь ранними сентименталистами — Херасковым и Муравьевым — уединенной жизни в дворянской усадьбе среди природы, в стороне от борьбы общественных сил, в середине 90-х годов под пером Карамзина приобретает еще более определенный характер. В «Послании к Дмитриеву» (1794) Карамзин писал:

А мы, любя дышать свободно,
Себе построим тихий кров
За мрачной сению лесов...

С середины 90-х годов Карамзин последовательно шел к консервативному мировоззрению. В «Вестнике Европы» (1802) он писал о переходе от воздушных замков молодости к «трезвым» взглядам дворянского публициста: «Кто не занимался ею (революционной войной.— *А. К.*) с живейшим чувством? Кто не желал ревностно успехов той или другой стороне? И многие ли сохранили до конца сей войны то мнение о вещах и людях, которое имели они при ее начале? Она не только государства, но и самые души приводила в смятение».

В стихотворении «К Добродетели», напечатанном в «Вестнике Европы» 1802 года, Карамзин повторил, что французская революция его обманула:

Кто в век чудесной, чрезвычайной
Призраком не обманут был?
Когда ж людей невинных кровью
Земля дымиться начала,
Мне свет казался адом зла...
Свободу я считал любовью!..

Неотвязные мысли о революции приводят Карамзина в 1803 году к историческому исследованию о московском мятеже в царствование Алексея Михайловича.

Стремясь понять пути развития России, Карамзин обратился к истории. В консервативной «Записке о древней и новой России», предвосхитившей многие мысли славянофилов о русской истории, Карамзин осудил ряд начинаний Петра I, о котором в «Письмах русского путешественника» писал как о великом преобразователе. За всем этим, конечно, стоял страх, как бы Россия не пошла революционным путем Франции, путем Западной Европы. Самобытность России теперь интересовала Карамзина прежде всего с этой стороны. В выводах «Записки» по крестьянскому вопросу звучит все тот же мучительный страх перед восстанием Пугачева: «Не знаю, хорошо ли сделал Годунов, отняв у крестьян свободу (ибо

тогдашние обстоятельства не совершенно известны), но знаю, что теперь им неудобно возвратить оную. Тогда они имели навык людей вольных,— ныне имеют навык рабов. Мне кажется, что для твердости бытия государственного безопаснее поработить людей, нежели дать им не во-время свободу».[1] К такому выводу пришел Карамзин.

Плеханов писал, что Карамзин в молодости «безусловно стоял за просвещение».[2] В действительности, как мы видели, он оставался сторонником просвещения и после пережитой революционной бури. Но и в молодости, в субъективно искренних размышлениях Карамзина о республиках и республике Платона, конечно, не было демократического республиканского духа. Карамзин враждебно относился ко всякому активному вмешательству частного человека в ход истории. И на этой основе, характерной для русского сентиментализма Хераскова, Муравьева, кружка «Дружеского общества», формировалось его мировоззрение. Нет плохих и хороших форм правления, есть плохие и хорошие правители. «Всякое правление, которого душа есть справедливость, благотворно и совершенно»,— писал Карамзин в «Письмах русского путешественника».

4

Историограф и автор «Писем русского путешественника» и «Бедной Лизы» заслонили Карамзина-поэта. Поэзия его осталась в тени. А между тем читатель не только конца XVIII, но и начала XIX столетия хорошо знал ее и ценил. В «Собрании русских стихотворений. . .» (1810—1815) в 6 томах издатель Жуковский большое место уделил поэзии Карамзина (один из томов открывается его портретом). В эти годы поэтическое наследие Карамзина еще было живым и значительным явлением, особенно для дворянских кругов, враждебных демократическому направлению в литературе.

Вскоре после карамзинского юбилея (1865) П. А. Вяземский писал, что Карамзин «был поэт по чувству, по краскам и нередко по содержанию стихотворений своих... С ним родилась у нас поэзия чувства, любви к природе, нежных отливов мысли и впечатлений».[3] Как утверждал Вяземский, Карамзин был поэт в широком

---

[1] Н. М. Карамзин. Записка о древней и новой России. СПб, 1914, стр. 83.

[2] Г. В. Плеханов. Сочинения. М.—Л., Госиздат, 1925, т. XXII, стр. 197.

[3] П. А. Вяземский. Полное собрание сочинений. СПб, 1882, т. VII, стр. 148, 150.

понимании этого слова. В приведенной характеристике отразилось ощущение, сложившееся у читателей на рубеже двух столетий.

Белинский считал, что в стихотворениях Карамзина «русская поэзия сделала значительный шаг вперед, и со стороны направления и со стороны формы».[1]

Чернышевский в «Очерках гоголевского периода» полагал, что можно как угодно судить о поэтическом таланте Карамзина, но плохих стихов у него найти невозможно.[2]

Пушкин, тесно связанный с кругом декабристов, высоко ставил в поэзии дух гражданственного служения и революционную мысль Радищева. Но с широтой всеобъемлющей, быть может свойственной только ему в те годы, Пушкин превосходно понимал историческое значение и поэзии Карамзина. Он оценил ее своеобразие и ее борьбу с условностями поэтики классицизма, блистательно и в значительной мере бессознательно начатую Державиным. Карамзин — разведчик новых поэтических если не дорог, то тропинок — был Пушкину, величайшему преобразователю русской поэзии, интереснее, чем Дмитриев — осторожный соратник Карамзина.

Мы еще вернемся к оценке Пушкина, а сейчас попытаемся проследить избранную Карамзиным дорогу в русской поэзии.

В октябре 1795 года, решив выпустить в свет первый в России стихотворный альманах, Карамзин писал об этом Дмитриеву: «Откроем сцену для русских стихотворцев, где бы могли они без стыда показываться публике... Если мало наберется хорошего, поместим изрядное; но подлого, нечистого, карикатурного нам не надобно».

В цитируемом замечании Карамзина выразилось его дворянски-аристократическое отношение к литературе. «Подлая, нечистая, карикатурная» поэзия в XVIII столетии — это прежде всего литература разночинной интеллигенции и низов, литература с сатирическими нотками, критикующая помещика и петиметра, не только не отказывающаяся от социально-острых тем, но идущая им навстречу. К ней принадлежали и ироикомические поэмы, и Энеида, вывороченная наизнанку, и в какой-то мере современный сатирически-бытовой фольклор. К ней Карамзин относил и стихи поэтов крыловского журнала «Зритель». В «подлой, нечистой, карикатурной поэзии» нашли себе пристанище словечки и обороты грубова-

---

[1] В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений. П., 1917, т. XI, стр. 212.

[2] Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений. М., ГИХЛ, 1947, т. III, стр. 91.

того народного языка, изгонявшегося еще недавно из высоких жанров поэтикой классицизма. Карамзин также налагал на них запрет, их реалистическая правда отталкивала его, как отталкивала социальная проблематика сатиры. Карамзин вослед Муравьеву стремился в поэзии к выражению чувств и духовного «я» поэта.

Его не привлекала полнокровная, щедрая на краски живопись действительности, устремленная к реализму, какую мы находим у Державина, хотя в некоторых высказываниях Карамзин как будто бы и выдвигал требование изображать «обыкновенную действительность». Так, разбирая комедию Колленя д'Арлевиля «Оптимист, или Человек всем довольный», Карамзин писал: «Драма должна быть верным представлением общежития; надобно, чтобы в ней люди не только поступали, но и назывались так же, как они в общежитии называются; но называются ли у нас мужчины Зланетами, Буремыслами, Милоумами, а женщины Изведами, Премилами и проч.? Одно такое имя напомнит зрителю, что он в театре и что все видимое им есть небылица; а надобно, чтобы он забывался. Сперва, может быть, иному смешно бы показалось, когда бы театральные герои стали друг друга называть по именам и по отчествам; но наконец мы бы к этому привыкли» («Московский журнал», 1791, ч. I, стр. 234). Рецензируя постановку в московском театре немецкой комедии Брандеса «Граф Ольсбах», Карамзин подчеркивал, что комедия «есть представление общежития» и «чем слог театральной пьесы натуральнее и простее, тем лучше» («Московский журнал», 1791, ч. I, стр. 357).

С приведенными мыслями перекликается и предисловие к «Аонидам» 1797 г., где Карамзин говорил: «Не надобно думать, что одни великие предметы могут воспламенять стихотворца и служить доказательством дарований его: напротив, истинный поэт находит в самых обыкновенных вещах пиитическую сторону».

Найти в «общежитии», в самых «обыкновенных вещах» поэзию — в этом, по мнению Карамзина, призвание поэта. На самом же деле — определяющими для Карамзина были элегические настроения, психология пассивной созерцательной души, полутона, те сложные соединения противоречивых чувств, о которых писал Кутузов в статье «О приятности грусти» и которые вели к романтизму Жуковского. Его привлекало не народное слово, а свободный от всего «нечистого» сентиментальный поэтический язык.

В августе 1796 года вышла первая книжка «Аонид», через год — вторая. Издатель решил обосновать те принципы, которыми он руководствовался при отборе стихотворений для альманаха, и в предисловии кратко изложил свои взгляды на сущность поэзии.

«Поэзия состоит... в живости мыслей и чувств,— заявлял Карамзин.— Если стихотворец пишет не о том, что подлинно занимает его душу; если он не раб, а тиран своего воображения, заставляя его гоняться за чуждыми, отдаленными, несвойственными ему идеями; если он описывает не те предметы, которые к нему близки..., то в произведениях его не будет никогда живости, истины».

Карамзин, споря с эстетикой классицизма, стремился развенчать идею первенства разума над чувством. Для него мысли и чувства не только равноправны, но и связаны. Поэт не должен быть тираном воображения и не должен подчинять его законам разума Холодные, не согретые чувством стихи — плод расчетливого рассудка, как представлялось Карамзину, чужды истинной поэзии. Поэт должен быть не тираном, а рабом воображения. Эту мысль несколько в иной форме в XIX веке высказывали романтики.

Эстетика Карамзина, развивавшая, в известной мере, взгляды ранних сентименталистов, выражавшая их отношение к действительности, имела и свои особенности, свои новые черты. Прежде всего в ней появилась стройная теория о значении личности писателя, о значении его поэтической и духовной индивидуальности, об отражении индивидуальности поэта в его творчестве. До Карамзина никто из русских писателей с такой определенностью и ясностью не указывал на эту связь.

Образ поэта так же важен для Карамзина, как образ рассказчика в его повестях, как образ автора «Писем русского путешественника». По словам Карамзина, «творец всегда изображается в творении, и часто против воли своей». В приведенном утверждении особенно любопытны последние слова. Если поэзия есть субъективное отражение мира, если чувство и фантазия поэта неизбежно выражаются в произведении и в них главное его достоинство, тогда все особенности личности творца, его моральные качества чрезвычайно важны, и Карамзин с полным основанием мог писать: «Ты берешься за перо и хочешь быть автором: спроси же у самого себя, наедине, без свидетелей, искренно: каков я? ибо ты хочешь писать портрет души и сердца своего» («Что нужно автору?», 1793). При такой постановке вопроса задачей писателя становилось изображение не объективного мира во всем его многообразии, а субъективного «я» художника. Это было характерно не только для Карамзина, но и для общеевропейского сентиментализма с его литературой путешествий, дневников, с его любовью к повествованию от первого лица.

Вполне понятно, что сторонник Карамзина, в известной мере усвоивший его эстетику, князь И. М. Долгоруков назвал книгу своих стихотворений «Бытие сердца моего» и в предисловии к третьему изданию (1817—1818) писал: «Я очень мало поправлял мои стихотворения... потому что я в стихах моих хотел сохранить все оттенки чувств своих, видеть в них, как на картине, всю историю моего сердца».

Образ поэта, связанный со всем творчеством Карамзина, отраженный в стихах и предопределивший в известной мере и содержание карамзинской поэзии и ее субъективный лиризм,— сложный образ. В «Письмах русского путешественника» он сентиментальный резонерствующий наблюдатель жизни европейских стран, быта, нравов и особенно человеческого сердца, но прежде всего занятый собственными переживаниями, рожденными столкновениями с незнакомой действительностью. «...а что человеку (между нами будь сказано) занимательнее самого себя?.. Почему знать? может быть, и другие найдут нечто приятное в моих эскизах; может быть, и другие... но это их, а не мое дело. А вы, любезные, скорее, скорее приготовьте мне опрятную хижинку, в которой я мог бы на свободе веселиться китайскими тенями моего воображения». Так сказано в заключительных строках «Писем».

В показном равнодушии к читателю, в утверждении, что писатель творит прежде всего для себя, в стремлении жить в мире «теней воображения» — одна из характерных сторон духовного образа сентиментального поэта, созданного Карамзиным,— его крайний индивидуализм, воспетый еще Муравьевым. Поэт Карамзина стремится к одиночеству и уединению, он наслаждается сельской природой, вздыхает о дружбе, сетует о неразделенном чувстве, философствует в стихотворных посланиях друзьям. Он, как мы говорили, соловей, поющий в годы революционной бури о прелестях любви, «искусный лжец»-утешитель, далекий от ломоносовских идеалов о «сладости общественного служения». Его излюбленное душевное состояние — чувствительность, умиление, меланхолия. Но ему свойственно и морализирующее начало, в той мере, в какой он стремится выступать как примиритель враждующих классов общества.

Название первого сборника Карамзина — «Мои безделки» (1794) тесно связано с карамзинским взглядом на поэзию и дело поэта. Оно принципиально как манифест сентиментального направления. В «безделках» — надписях, четверостишиях к случаю — лежало начало дилетантской альбомной поэзии, которая пышно расцвела под влиянием сентиментального направления, и этот дилетантизм наса-

ждал один из первых профессионалов-писателей Карамзин. Он употреблял название «безделки», утверждая тем самым, что поэзия присутствует в любом истинном произведении искусства, независимо от его размеров и темы. Разговоры о домашних милых пустяках — в такой же мере поэзия, как Гомерова «Илиада». В сборнике «Мои безделки» Карамзин напечатал перевод из 6-й книги «Илиады» — «Гектор и Андромаха» и повесть «Наталья, боярская дочь» рядом с мелкими стихотворениями. Он стремился подчеркнуть, что все написанное им не имеет ничего общего с торжественной, величественной, оградившей себя правилами поэзией классицизма, с сатирически-обличительными стихотворениями Державина, с общественно-направленной сатирой Новикова, Фонвизина, что дело поэзии — частная жизнь, к чему призывали еще первые русские сентименталисты.

В год выхода первой книжки «Аонид» Карамзин написал одно из своих стихотворений, посвященных новой эстетике,— «Дарования». В нем он подробно говорит о темах поэта нового направления:

Натуры каждое явленье
И сердца каждое движенье
Есть кисти твоея предмет...

Не в жизни героев прошлого и царей и не в борьбе с крепостным правом поэт должен искать вдохновения:

Картина нравственного света
Еще важнее для поэта;

. . . .

Прилив, отлив желаний страстных,
Их тени, пользу, сладкий яд;
Рай светлый, небо душ прекрасных,
Порока вред и злобы ад.

Картина нравственного света — тема поэзии 20-х годов будущего столетия. Ее предвосхитил Карамзин, правда только назвав ее.

В тесной связи с требованием находить поэзию не в возвышенном, а в обыкновенном, в «картинах света», в «богатстве тонких чувств, в приливах и отливах желаний страстных» стоит и другое требование Карамзина: всякое чувство выражать «не только общими чертами, которые, будучи слишком обыкновенны, не могут производить сильного действия в сердце читателя, но особенными, имеющими отношение к характеру и обстоятельствам поэта. Сии-то черты, сии подробности и сия, так сказать, личность уверяют нас в истине описаний».

Через год в третьей книжке «Аонид» появилось новое программное стихотворение Карамзина «Протей, или Несогласия стихо-

творца», развивавшее мысли, высказанные в коротеньком предисловии ко второй книжке «Аонид».

Если Буало решительно утверждал: «Все к смыслу здравому стремитесь, в нем вся суть», то Карамзин с такой же решительностью призывал к чувству, вносящему бесконечное разнообразие в поэзию. Он защищал право поэта быть Протеем, право выражать во всей полноте «переливы чувств», право всегда быть новым и неповторимым. И он готов быть рабом этого права, рожденного «чувствительностью».

Чувствительность! люблю я быть рабом твоим;
Люблю предпочитать зависимость свободе,
Когда зависимость есть действие твое...

Поэт не слуга разума, как говорил Буало,

Поэт есть хитрый чародей:
Его живая мысль, как фея,
Творит красавиц из цветка...

(«К бедному поэту», 1796)

В предисловии к «Аонидам», в стихотворениях «К бедному поэту», «Дарования», «Протей» Карамзину удалось наиболее ясно и отчетливо сформулировать свою эстетическую программу в области поэзии, изложить свою философию искусства, направленную не только против стеснительных к этому времени норм поэтики классицизма, но также и против демократических взглядов Радищева и крыловского содружества на литературу и ее значение. Это придавало начинаниям Карамзина ограниченный и подчиненный дворянским интересам характер.

* * *

Первые стихотворения Карамзина (1787—1788) мы находим в его письмах к Дмитриеву. По своему тону они — беседа с другом и написаны новым для русской поэзии стихом без рифм. В них нет фабулы; это размышления, тесно связанные с послепугачевскими настроениями ранних русских сентименталистов, с биографией поэта, с миром личных переживаний. Написанные до отъезда за границу, до событий французской революции, они были отмечены новым для русской поэзии тех лет личным элегическим тоном, рождению которого во многом содействовали биографические мотивы, события частной жизни Карамзина. Даже в песне они находили отражение; например, в песне «Кто мог любить так страстно» довольно прозрачно говорится об увлечении А. И. Плещеевой. Лиза,

Лизета, упоминаемая в стихах Карамзина,— скорее всего Елизавета Ивановна Протасова. Необходимо сказать, что уже Державин («первый наш поэт», как называл его Карамзин), бессознательно ломая эстетику классицизма, с необыкновенной смелостью и простодушием избирал свою личную, домашнюю жизнь содержанием многих своих стихотворений. Биографические мотивы можно найти и в поэзии Радищева. Личность поэта, индивидуальный голос его, как особое эстетическое качество, как форма отношения лирического «я» поэта к миру, по мере распада классицизма все с большей силой заявляла о себе в поэзии. Несомненно, гениальная смелость Державина явилась уроком для Карамзина.

В чем было различие лирического «я» в поэзии Державина и Карамзина? Прежде всего в том, что Карамзин, как уже говорилось, эстетически осмыслил его, а также в самом содержании образа. У Державина это полный силы и веселья образ, под стать жизнеутверждающему миру, пышному, солнечному, вносящему в поэзию реалистические черты. У Карамзина это образ элегического поэта, воплощающий в стихах не столько самую действительность, сколько рожденные ею чувства и настроения, рисующий по большей части печальный мир, располагающий к грусти. Если биографические мотивы у Державина — мотивы праздничной жизни, полноты счастья, довольства миром, то у Карамзина они, как правило, связаны с чувством неудовлетворенности и скептицизмом. Лирическое «я» Карамзина было в высшей степени характерно для предромантического индивидуализма.

В ранних стихотворениях Карамзина легко уловить мотивы, связанные с масонской философией о тщетности всего земного.

Чем во внешности утехи
Чаще будешь ты искать,
Тем ты более построждешь.. —

предостерегает поэт друга.

Наслаждаясь, унываем;
Веселяся, слезы льем —

мотив, указывающий на связь полярных чувств; пожалуй, начиная с Карамзина он входит одним из элегических мотивов в русскую поэзию.

В цитируемом стихотворении-письме со всей определенностью и поэтической законченностью Карамзин высказал другую дорогую ему мысль, которая также часто будет звучать в его поэзии:

Что́ здесь счастьем называют,
То едина счастья тень.

И этот мотив, разумеется, связан с масонским мировоззрением мистически настроенного крыла «Дружеского общества», как и другой мотив о конечности всего земного, неоднократно облекавшийся в стихотворную форму поэтами сумароковского направления:

Час настанет, друг увянет,
Яко роза в жаркий день...

или

Но тем мы можем утешаться,
Что нам не век в сем мире жить.

Неслучайно, конечно, Карамзин всегда открывал раздел поэзии в собрании своих сочинений стихотворением «Опытная Соломонова мудрость, или Мысли, выбранные из Экклезиаста», в котором ярко отразилась философия дворянского сентиментализма и задушевные мысли самого Карамзина.

Философские мотивы, свойственные высоким жанрам лирической поэзии XVIII века, от натур-философских од Ломоносова до оды «Бог» Державина, от сумароковской философской оды до философских стихотворений Хераскова и Муравьева, были характерной чертой поэзии и Карамзина. Глубочайшими произведениями философской мысли, вершиной лирического философского жанра века были оды Радищева «Вольность» и «Осмнадцатое столетие», продолжавшие ломоносовскую традицию.

У Карамзина философская мысль нашла иные формы выражения. Она лишена прежде всего лирической силы, страстного ораторского пафоса. Интересно сравнить «На смерть князя Мещерского» (1779; 1783) Державина и «На смерть князя Хованского» (1796) Карамзина. В прекрасных стихах Державина с огромной силой показано вечное противоречие жизни и смерти: человек «сегодня бог, а завтра — прах». Все стихотворение написано в тоне высокой торжественности, противополагающей суете мира, «роскоши прохлад и нег» бездну смерти. В конце оды побеждает гедонистическое начало, и Державин восклицает: «Жизнь есть небес мгновенный дар; устрой ее себе к покою».

В разработке Карамзина державинская тема обрела черты разговора: «Друзья! так умер наш приятель», «Он был... лишь добрый человек», и автор приглашает близких «ему печальный долг воздать». Карамзин «снизил» философскую тему разговорной интонацией. Он внес новый тон в философскую поэзию, тон интимной беседы, намечавшийся в философской лирике первых сентименталистов.

К философским стихотворениям примыкают послания Карам-

зина. Они явились прообразом для обширной литературы посланий начала века, особенно Дмитриева, В. Л. Пушкина, Батюшкова, Жуковского. Хотя в XVIII столетии самый жанр был популярен, но докарамзинские послания не обладали полнотой и тонкостью индивидуального выражения. Как и философские стихотворения, послания Карамзина привлекали прежде всего тоном задушевной дружеской беседы. Характерен самый зачин посланий: «Конечно так,— ты прав, мой друг!» («Послание к Дмитриеву»); «Мой друг! вступая в шумный свет» («Послание к А. А. Плещееву»).

В дружеской беседе естественны богатство интонаций, поговорка, шутка. Совсем по-онегински звучат строки в послании к Плещееву: «... (Смеяться, право, не грешно!) Над всем, что кажется смешно».

Умение поэтически развивать философскую мысль, оставлять ее для отступления и снова к ней возвращаться, говорить о сложном просто — именно этой своей особенностью поэзия «лирической мысли» Карамзина оказалась важной для его современников. Ее, бесспорно, хорошо знал Пушкин-лицеист, к ней прислушивались поэты начала XIX столетия, отыскивая пути для развития лирической темы в своих посланиях и лирических стихах. Батюшков в 1816 году, в речи о влиянии легкой поэзии на язык, оглядываясь на завершенный труд поэта, сказал: «Стихотворения Карамзина, исполненные чувства, образец ясности и стройности мыслей». Значение философской поэзии Карамзина для своего времени превосходно понимал Вяземский. Он писал: «В философических стихотворениях Карамзин также заговорил новым и образцовым языком. В них свободно выражается мысль. Прочтите например послания его *к Дмитриеву* и *Плещееву*».[1]

Стихотворения с элегическими мотивами, такие, как «Весенняя песнь меланхолика», «Осень», «Кладбище»,— первые произведения русской поэзии, предопределившие элегический романтизм Жуковского.

Говоря о мотивах раннего романтизма в поэзии Карамзина, необходимо вспомнить стихотворение «Кладбище». В нем сказалось стремление, хотя и наивно выраженное, подчеркнуть субъективизм как основу восприятия мира. То, что одного страшит, для другого может быть прекрасным. На этом основан спор двух взглядов на мир, каждый из которых выражает субъективную истину.

---

[1] П. А. Вяземский. Полное собрание сочинений. СПб, 1882, т. VII, стр. 152—153.

Один голос

Страшно в могиле, хладной и темной!
Ветры здесь воют, гробы трясутся,
Белые кости стучат.

Другой голос

Тихо в могиле, мягкой, покойной.
Ветры здесь веют; спящим прохладно;
Травки, цветочки растут.

Среди элегических стихотворений Карамзина одно из наиболее значительных и совершенных — «Меланхолия». Стихотворение рисует человека новых сентиментальных и романтических чувств; оно описывает характерное для карамзинской поэзии настроение — меланхолию:

О Меланхолия! нежнейший перелив
От скорби и тоски к утехам наслажденья! —

так определял Карамзин в 1800 году, в конце своей поэтической деятельности, прекраснейшее, с его точки зрения, чувство человека и поэта. Мысли стихотворения в известной мере перекликаются со статьей Кутузова «О приятности грусти» и элегическими мотивами первых стихотворных опытов Карамзина.

Заключительные строки «Меланхолии» посвящены поэту нового направления. В них уже проступают черты романтического творца, бегущего от толпы в уединение.

Не шумныя весны любезная веселость,
Не лета пышного роскошный блеск и зрелость
Для грусти твоея приятнее всего,
Но осень бледная, когда, изнемогая
И томною рукой венок свой обрывая,
Она кончины ждет. Пусть веселится свет
И счастье грубое в рассеянии новом
Старается найти: тебе в нем нужды нет;
Ты счастлива мечтой, одною мыслью — словом!
Там музыка гремит, в огнях пылает дом;
Блистают красотой, алмазами, умом:
Там пиршество... но ты не видишь, не внимаешь
И голову свою на руку опускаешь;
Веселие твое — задумавшись, молчать
И на прошедшее взор нежный обращать.

Стихотворение оказало влияние на развитие раннего русского романтизма, на Жуковского. В 1808 году Жуковский написал статью «Меланхолия», продолжая тему Карамзина.

Разрабатывал Карамзин и анакреонтическую лирику.

Легкую поэзию молодого Пушкина еще недавно настойчиво связывали только с французской традицией; между тем к тому времени уже существовала традиция русской легкой поэзии (Державин, Карамзин, Муравьев, Капнист, Дмитриев, Батюшков).

В последнее время историки литературы приписывали легкой русской поэзии, русской анакреонтике, главным образом негативное значение. С середины XIX столетия рядом с гражданственной поэзией Некрасова гимны любви, вину и лени, разумеется, свидетельствовали об измене долгу поэта-гражданина. Но в XVIII столетии на долю русской анакреонтической поэзии выпала особая роль. Именно любовная лирика — песни и стихотворения,— согласно ломоносовской иерархии жанров принадлежавшая к искусству низкому, сводила русскую поэзию с Олимпа на землю. В ней более свободно выражались чувства, она говорила простым разговорным языком. Именно анакреонтика взрывала торжественный и условный стиль классицизма изнутри, указывала новые пути для лирической поэзии. Любовная песня, лирическое стихотворение говорили в сословном обществе о чувстве, всегда противившемся сословным ограничениям, стремившемся к свободе от феодальных пут, что и превращало любовные стихотворения и песни в провозвестника новых, антифеодальных отношений, а следовательно и антифеодальной литературы. Вот почему сегодня для читателя особенно доступны и живы многие анакреонтические стихи XVIII столетия. Они словно рождены другим, более близким и понятным нам временем.

Своеобразной особенностью русской анакреонтической поэзии была широта ее содержания. За пределы традиционных эпикурейских тем, полемизируя с ними,[1] вышел Ломоносов в превосходных по форме, по легкости, по существу анакреонтических стихах «Разговор с Анакреоном». Так, легкость анакреонтического стиха и языка соединялась у Ломоносова с несвойственной, враждебной Анакреону темой. Нравоучительные оды Хераскова, тесно примыкающие к его анакреонтическим одам, были далеки от воспевания вина, любви и лени. В них отразились масонские взгляды поэта. Но по легкости стиха и лиричности они бесспорно примыкают к русской анакреонтике. Близки к анакреонтической традиции и многие стихотворения Капниста. С нею связан легкий стиль Богдановича, лучшие стихотворения позднего Муравьева и среди них самое известное — «Богине Невы», цитированное Пушкиным в примечании к первой главе «Евгения Онегина». Непосредственно и

---

[1] См. Г. Макогоненко. А. Н. Радищев. М., ГИХЛ, 1949, гл. VIII.

тесно связана с анакреонтической традицией замечательная лирика Державина, прежде всего его любовная лирика. Державин и перелагал и подражал Анакреону. В 1794 году в Петербурге вышел Анакреон в переводе с греческого Н. А. Львова, ближайшего участника державинского кружка.

К русской анакреонтической традиции примыкают и многие стихотворения Карамзина, весьма популярные в свое время: «Веселый час», «Прости», «Мы желали — и свершилось!», «Доволен я судьбою», «Странность любви, или Бессонница», песня «К Лиле», превосходные стихи из лирической прозы «Афинская жизнь» и другие. Карамзин своеобразно усложняет анакреонтическую тему в духе свойственного ему пессимистического, отчасти масонского взгляда на жизнь.

В песне «Веселый час» рядом с эпикурейским мотивом: «Братья, рюмки наливайте» — утверждение: «Мы живем в печальном мире». Но гедонистическое настроение побеждает, и человек, подобный печальному поэту, за которым нетрудно угадать Карамзина, осуждается.

Кто все плачет, все вздыхает,
Вечно смотрит Сентябрем,—
Тот науки жить не знает
И не видит света днем.

Песня заканчивается четверостишием, достойным Батюшкова и молодого Пушкина по совершенству легкого и точного стиха:

Да светлеет сердце наше,
Да сияет в нем покой,
Как вино сияет в чаше,
Осребряемо луной!

С анакреонтической связана любовная лирика Карамзина. У всей карамзинской поэзии, как мы говорили, но особенно у любовной лирики, как и у любовной лирики Державина, есть биографический подтекст. Он до конца не прочитан, да в этом и нет настоятельной необходимости. Но он безусловно ощущался современниками.

Основные темы любовной лирики Карамзина: неразделенное чувство, неверность; впоследствии их дополняет тема любовной утраты и утешения. Перечисленные мотивы легко дают психологическую основу для меланхолии, для «сладкой тоски», для «мечтательных раздумий». Несколько позже они были усвоены и закреплены Жуковским. Характерно, что Воейков в своей шуточной поэме «Дом сумасшедших» поместил Карамзина в отделение сумасшедших от любви.

От анакреонтической поэзии Карамзина, своеобразно смягченной и усложненной элегическими настроениями, ведет дорога к антологическим стихам Батюшкова.

И молодой Пушкин не мог пройти мимо любовной лирики Карамзина. В. В. Виноградов в своей обширной работе «Стиль Пушкина» приводит ряд примеров совпадения фразеологии лицейского Пушкина и Карамзина. У Пушкина мы находим не только словесные сплавы, образы, но и иногда и мысль и даже строку из Карамзина. Карамзинская строка из стихотворения «Отставка» (как уже отмечал В. В. Сиповский) «Люблю — люблю — умру любя!» — перекочевала в лицейское стихотворение Пушкина «Желание» (1816), почти не изменившись: «Пускай умру, но пусть умру любя!» Первой строкой карамзинского стихотворения «Выбор жениха» — «Лиза в городе жила» Пушкин начинает эпиграмму на Е. Н. Хитрово. Все это мелочи, но они говорят об интересе Пушкина-лицеиста к поэзии Карамзина.

Не мог не привлекать Пушкина живой интонационный рисунок таких шутливых любовных стихотворений, как «Странность любви, или Бессонница», «Выбор жениха», «Отставка». В них была и подчеркнутая разговорная речь и даже некоторые попытки внести народные черты в тему, что также не могло не заинтересовать Пушкина.

Предромантические черты обнаруживаются и в изображении природы в поэзии Карамзина, особенно в элегических стихотворениях.

Читатель конца XVIII столетия впервые у Державина узнавал хотя бы по отдельным чертам окружавшую его русскую природу, ее прелесть («Осень во время осады Очакова», «Прогулка в Сарском селе», «Капнисту»). Но особенно останавливала она внимание читателя, быть может, даже не столько в поэзии, сколько в прозе Карамзина. Ф. Глинка писал: «Он <Карамзин> как будто дал ключ к самой природе». Искусственная, скупая и бедная природа Карамзина, о которой Добролюбов говорил, что она взята из Армидиных садов, для современника, для Ф. Глинки оказывалась откровением. Его восторг, вероятно, следует объяснить романтическим сентиментальным колоритом карамзинской природы, в высшей степени новым в поэзии 90-х годов XVIII столетия. И в прозе Карамзина и в его элегической лирике — правда, лишь отдельными черточками — рисуется природа, окрашенная настроением поэта.

Вяземский отмечал, что Карамзин положил начало теме элегической осени в русской литературе. Примером этому служит стихотворение «Осень».

Веют осенние ветры
В мрачной дубраве;
С шумом на землю валятся
Желтые листья.
. . . .

. . . .
Вьются седые туманы
В тихой долине;
С дымом в деревне мешаясь,
К небу восходят.

Неожидан в этом стихотворении и смелый романтический образ «бледной осени».

В сентиментальном лирическом «я», в предромантическом колорите и заключалась одна из характерных особенностей поэзии Карамзина.

Элегические мотивы, как казалось Карамзину, плохо укладывались в традиционные ямбические размеры. Новое содержание раскрывается глубже и ярче в новой форме. И Карамзин озабочен ее поисками. В письме 1788 года он советует Дмитриеву писать героическую поэму не общепринятым шестистопным ямбом, а дактилем, хореем и греческим гекзаметром. В «Московском журнале», в альманахах Карамзин над некоторыми своими стихами давал графический рисунок чередования ударных и неударных, повидимому в связи с новизной трехсложного размера для читателя.

Для воплощения элегической темы выразительным оказался и белый стих, до Карамзина мало известный в русской литературе. Белый стих мы находим у Сумарокова в оде Потемкину 1774 года. Пообещав Потемкину написать трагедию без рифм, Сумароков говорил: «Кто... поверит тому, что сочинять стихи без рифм еще труднее, чем с рифмами?» В том же 1774 году Державин написал без рифм оду «На смерть Бибикова» и впоследствии еще несколько стихотворений. Не имеют рифм подражания народному стиху, например «Ода анакреонтическая к Е. В. Херасковой» (1762) Сумарокова и его же «Хор ко превратному свету» (1763). Белые стихи писал и Богданович: «Идиллия», «Стихи. Подражание итальянским» (1773). Стихи без рифм нравоучительных од Хераскова явились примером для Карамзина.

Стихи без рифм, написанные так называемым «русским складом», существовали обособленно в поэзии русского классицизма. Белый стих карамзинской лирики не продолжал этой традиции, и только в «Илье Муромце» Карамзин попытался в поисках новых форм для национальной «богатырской поэмы» обратиться к народному стиху.

Горячим сторонником обновления метрики, поисков новых размеров был Радищев, поместивший еще в «Путешествии» в главе «Тверь» размышления о стихотворстве. Соображения Радищева о русском стихосложении, вероятно, были известны и Карамзину. Они подготовляли стихотворные опыты в области новых размеров

и белого стиха, получившие широкое распространение во второй половине 90-х годов, особенно после выхода в свет «Ильи Муромца».

С помощью белого стиха и новых размеров русские поэты, и один из первых Карамзин, попытались выйти из стеснительных рамок русского классицизма, который, по словам Радищева, был «окружен ямбами и рифмами на карауле». Белый стих и «русский склад» сыграли значительную роль в создании первых историко-патриотических поэм. Опыты в области утверждения белого стиха в лирике, а потом и в сказках продолжал Жуковский. Дмитриев относился к ним холодно; Батюшков осудил их. В 1818 году он писал А. И. Тургеневу: «Молчу, молчу... Воейков пишет гекзаметры без меры, Жуковский (!?) — пятистопные стихи без рифм, он, который очаровал наш слух и душу и сердце».[1] Пушкин в молодости был сторонником рифмы, позже в сказках, в «Борисе Годунове» он обратился и к белому стиху. В статье «Путешествие из Москвы в Петербург», отмечая с одобрением намерение Радищева «переменить русское стихосложение», он писал: «Думаю, что со временем мы обратимся к белому стиху». Несомненно, что и карамзинские опыты преобразования стиха для воплощения нового содержания также привлекали внимание Пушкина.

Особое место в поэтическом наследии Карамзина занимают «Граф Гваринос», «Раиса», «Илья Муромец». «Граф Гваринос» и богатырская сказка «Илья Муромец» в известной мере отвечали живому интересу к патриотическим темам, самобытности и народному творчеству, заявившим о себе в 90-х годах в крыловском содружестве, в кружке Державина, у молодых радищевцев и отчасти у сентименталистов, у Карамзина.

В испанском романсе XVI века, с которым Карамзин познакомился в немецком переводе, рассказывается о рыцаре-христианине, попавшем в плен к арабам. После семи лет заточения, воодушевленный чувством верности родине и своей возлюбленной, он побеждает на рыцарском турнире. Патриотическое содержание выводило романс за пределы интимной карамзинской поэзии. В русской лирике «Граф Гваринос» был первым рыцарским романсом. Возможно, он натолкнул на переводы из средневекового эпоса Жуковского, в «Сиде» которого по временам прорываются ритмы испанского романса Карамзина. Вершиной в развитии темы вечной верности рыцаря своей даме явился знаменитый «Бедный рыцарь» Пушкина.

---

[1] К. Н. Батюшков. Сочинения. Под ред. Л. Н. Майкова. СПб, 1886, т. III, стр. 532.

В «древней балладе» «Раиса», как и в «Бедной Лизе», Карамзин рассказывает о самоубийстве обманутой девушки. Раиса кончает жизнь в морских волнах. Обманутая любовь и самоубийство — социальные конфликты, нашедшие свое отражение в буржуазной сентиментальной литературе. С их острой злободневностью была связана общеевропейская слава «Вертера» Гете. Карамзин стремился обойти или затушевать социальные конфликты, и в «Раисе» социального конфликта нет, в ней намечена только моральная проблема, изображено лишь отчаяние девушки с сентиментальной наивностью, свойственной молодому Карамзину. Параллелизм в изображении сильного чувства и картины бурной природы, страшный романтический мир, окружающий героиню, едва ли не впервые в русской поэзии появился в балладе «Раиса». За нею последовала романтическая поэма Каменева «Громвал».

«Древняя баллада» и «гишпанский романс» — первые вехи русского романтизма, определившие направление деятельности Жуковского; ими начинается история русской баллады.

Некоторую роль в русской литературе конца XVIII века сыграла незаконченная богатырская сказка «Илья Муромец» (1794). В ней Карамзин стилизовал народный стих, употребляя в белом стихе хореи с дактилическим окончанием. Радищев в незаконченной стихотворной повести «Бова» (1799—1801, напечатана в 1807) вслед за Карамзиным отдал дань поискам в этом направлении.[1] Несколько позже Херасков написал «Бахарияну» (1803), Н. А. Львов — «Добрыню» (1794, напечатана в 1804). Создавая своего «Бову», молодой Пушкин шел этой же дорогой, но оставил ее для совсем иной богатырской сказки — для «Руслана и Людмилы», в которой ему действительно удалось поэтически запечатлеть национальные черты русского сказочного фольклора.

Богатырская сказка Карамзина — своеобразная реакция на тяготение передовых кругов русского общества в середине 90-х годов к патриотической теме, к национальным мотивам и колориту. Она исторически характерный пример поисков народного стиха, хотя и не увенчавшихся успехом. Карамзинский дактилический стих в действительности был далек от стиха народной поэзии. Полагая, что почти все русские народные песни «сочинены таким размером», Карамзин заблуждался. Сентиментальная имитация фольклора не

---

[1] Взяв за основу карамзинский стих «Ильи Муромца», Радищев придал ему в конце хорей вместо дактиля и создал, таким образом, «оригинальный эпический размер... который и посейчас используется переводчиками эпических поэм» (Д. Д. Благой. История русской литературы XVIII века. М., Учпедгиз, 1951, стр. 595).

могла привнести национальное начало в русскую поэзию, и понятно, что в незаконченной богатырской сказке Карамзина не было «и тени народности». Герои сказки скорее похожи на переодетых и загримированных искателей светских приключений, а не на былинных богатырей, чему содействует сентиментальный колорит и оттенок легкого эротизма в авторских отступлениях. Надо сказать, что для литературной стихотворной сказки XVIII века, особенно во Франции, были характерны эротические мотивы, и Карамзин в своей шутливой сказке ближе к литературной традиции, чем к народной. Он не сумел, да и не смог придать народные черты своим героям, заговорить народным языком, воспользоваться богатством фольклора. Но одна особенность популярной в свое время сказки Карамзина, несомненно, привлекла к ней поэтов и читателей. Это манера вести в отступлениях поэмы шутливый разговор с читателем.

Необходимо обратить внимание еще на одно стихотворение Карамзина — «Алина», помещенное автором в «Письмах русского путешественника». В стихотворении рассказывается история светской женщины, оставленной мужем. Создавая «Алину», Карамзин как бы подтверждал свое заявление о том, что «картина нравственного света еще важнее для поэта».

«Алина» написана в той сентиментальной манере, которую вскоре читатель стал воспринимать как слащавость. Примитивно изображена в стихах и психология героев, но в них говорится о чувствах нового героя, человека светского круга, утвердившегося в русской литературе уже после Карамзина. «Алина» — предвестник русского романа в стихах, большой повествовательной новой стихотворной формы; в этом ее историко-литературное значение.

Многие стороны поэзии Карамзина получили дальнейшее развитие в русской поэзии. Мысли, мотивы поэзии Карамзина нетрудно найти у Батюшкова и у Жуковского, шедших по карамзинскому пути. Некоторые мотивы, как, например, эмоциональная характеристика века: «я всех неверных презираю и с ними наш холодный век» («К ней», 1794), стали лирическими мотивами русской поэзии начала XIX столетия. Многие поэтические формулы Карамзина вроде: «Слава — звук пустой», «Дружба — дар прелестный», «Душе моей казалось мило», «Бранить все то, что сердцу мило», «Беспечной юности утеха», «Подруга милая моей судьбы смиренной», «Я был игралищем страстей»,— перешли в стихотворный язык начала века. Они принадлежали всем и никому, путешествуя в различных вариациях по страницам журналов и книг.

Были в карамзинской поэзии и черты, сильно ограничивавшие ее историческую роль. Прежде всего — манерность, жеманность,

своеобразная аффектация чувства, вскоре ставшая мишенью для эпиграмм. Среди «безделок» Карамзина много и таких, которые являлись не столько поэзией, сколько салонной игрой: «Надписи на статую Купидона», «Стихи на слова, заданные мне Хлоею», и другие. Они, вероятно, имели шумный успех в гостиной, но очень скоро оказались за пределами поэзии.

5

Говоря о значении поэзии Карамзина, необходимо отметить ее влияние на стихотворный язык своего времени.

Докарамзинскую поэзию отличала пестрота поэтического словаря.

Державин, вдохновенный поэт, соединивший в своем творчестве равнодушие к канонам классицизма и наивную смелость человека, не искушенного в тонкостях литературных направлений, не заботился о словаре своей поэзии; это позволило Пушкину, высоко ценившему Державина, сказать однажды, что автор «Водопада» «не имел понятия ни о слоге, ни о гармонии».

Державин был связан языковой традицией середины XVIII века. И поэтому в самые прекрасные лирические его стихи вдруг врывались слова неуклюжие, «негармонические». Например, в стихотворении «Зима» в первое четверостишие попадает несуразное слово «склоча»:

Что ты, муза, так печальна,
Пригорюнившись сидишь?
Сквозь окошечка хрустальна,
Склоча волосы, глядишь...

В «Цыганской пляске»: «Возьми, египтянка, гитару» есть строка тяжеловесная по своему образному строю, напоминающая поэзию 40-х годов XVIII столетия: «Лиет повсюду гулы страшны». Недостатки поэтического языка в полных свежести и жизни стихах Державина особенно заметны.

Если обратиться к старшему поколению поэтов, неудачи, подобные приведенной, встречаешь еще чаще, они на каждом шагу. У Козодавлева ода на смерть А. М. Голицына (1783) начинается следующим четверостишием:

Ударил сильный ветр в леса —
Леса склонились и завыли;
Покрылись мраком небеса,
И воды скорбный стон пустили.

Дело не в том, что Козодавлев был поэтом средней руки; в 20-х и 30-х годах XIX столетия такие поэты писали стихи безукоризненные по языку и форме.

Херасков, тонкий поэт, искусный стихотворец, в языке своих философских и анакреонтических од 60-х годов, наиболее свободных от усложненности высокого языка, часто терпел неудачу, несмотря на упорное стремление к чистоте и ясности. Конструкция поэтической фразы оказывалась тяжеловесной, словарь пестрым.

Если сравнить поэтические сборники 60-х годов с их переизданиями в конце XVIII столетия, бросается в глаза упорная работа над поэтическим языком, идущая у представителей сумароковской школы в ключе эстетики сентиментализма и Карамзина. Нетрудно обнаружить ее при сравнении первоизданий Хераскова с собранием его сочинений (1796—1809). Значительные изменения обнаруживаются при сравнении первоиздания «Душеньки» Богдановича (1783) (в первом издании она еще «Душинька») с изданием 1799 года. Богданович усиливает сентиментальную окраску своей сказочной поэмы в духе карамзинизма. Он озабочен чистотой и ясностью стиха, отбором поэтического слова.[1]

Теория «трех штилей», сыгравшая огромную роль в развитии литературного языка, в 90-х годах XVIII века уже затрудняла его дальнейшее развитие.[2] Для развития русской поэзии важно было прежде всего найти новые пути к отбору поэтического словаря. Эту задачу, хотя и узко, решил Карамзин. Он отказался от теории «трех штилей», от высокого «штиля», напряженного, украшенного славянизмами, и низкого, грубого, «простонародного», неприемлемого для дворянской гостиной, и обратился к языку среднего «штиля»; руководствуясь его нормами, писал прозу и стихи, что само по себе было событием большой важности. И хотя еще до выступления Карамзина, как указывалось, стали менее ощутимы строгие разграничения поэзии по жанровым признакам и в 80-х годах постепенно начали стираться различия между языком оды и языком других стихотворных жанров,— значительную роль в этом процессе сыграла именно деятельность Карамзина.

Отбор словаря опирался на новое для русской литературы отношение дворянского сентиментализма к действительности. Нормативной основой отбора стала эстетика сентиментализма, что неоднократно и подчеркивал Карамзин, призывая к «торжеству

---

[1] В издании 1799 г. «Душенька» открывается стихами «На добродетель Хлои» — посвящением читательнице, характерным для карамзинской традиции.

[2] См. Г. Винокур. Русский язык. М., ГИХЛ, 1945, стр. 135.

чувствительности даже в самой грамматике». Оставляя за сентиментализмом неограниченные права на творчество в области языка, он утверждал: «Сохрани нас бог от тиранства! Грамматик должен быть добродушным и жалостливым, особливо к стихотворцам... Пишите как вам угодно, как вам угодно, друзья мои!» («Великий муж русской грамматики», 1803).

Однако провозглашенная Карамзиным свобода была, в сущности, ограниченной. 22 июня 1793 года Карамзин писал Дмитриеву по поводу слова «пичужечка»: «Имя пичужечка для меня отменно приятно потому, что я слыхал его в чистом поле от добрых поселян». Но не надо думать, что Карамзин призывал писателя обратиться к языку народа. Такой задачи он перед собой не ставил и не мог ставить. Он готов был позаимствовать из народной речи уменьшительные, которые находил в песнях. Но все богатство народного языка, разумеется, не могло войти в сентиментальный, некоторыми чертами близкий к дворянскому жаргону, поэтический язык, созданный Карамзиным. В этом же письме к Дмитриеву Карамзин просил друга убрать из стихов слово «парень», потому что в нем «нет ничего интересного для души нашей». Любопытно, что цитируемое письмо перекликается с письмом А. Петрова Карамзину от 1 августа 1787 года, где Петров с дворянским пренебрежением писал: «Пьяные мужики... находятся в натуре, но я не желал бы читать живого оных описания ни в стихах, ни в прозе». Таким образом, для Карамзина и его последователей задача заключалась в отборе словаря и создании стиля дворянской литературы, выражающего дворянско-сентиментальное мировоззрение.

В языке Карамзина, значительно более прозрачном, точном и синтаксически упорядоченном, чем у его предшественников, находили себе место жеманность и манерность сентиментального стиля, вызывавшие насмешку крыловского содружества.

О том, что язык карамзинской прозы и поэзии воспринимался главным образом как явление сентиментального стиля, свидетельствует «Рассуждение о старом и новом слоге российского языка» Шишкова. Хотя и с реакционных позиций, Шишков метко высмеял манерность и слащавость крайностей сентиментального стиля, особенно у эпигонов Карамзина. «Вот нынешний наш слог,— писал Шишков,— ...вместо: как приятно смотреть на твою молодость! говорим: коль наставительно взирать на тебя в раскрывающейся весне твоей! Вместо: луна светит — бледная Геката отражает тусклые отсветки. Вместо:

окна заиндевели — свирепая старица разрисовала стекла»[1] и т. д.

Этот перифрастический стиль был особенно характерен для эпигонов, против которых ополчался и сам Карамзин.

То, что было сделано Карамзиным для языка прозы и поэзии, оценивали по-разному. Сто лет назад Тимковский писал о том, что деятельность Новикова дала «обдуманное движение литературе, слову и слогу», и возражал против того, что несведущими эти преобразования приписывались одному Карамзину.[2] Точка зрения Тимковского не лишена оснований, ибо переменам в области литературного языка, которые стали явными в годы деятельности Карамзина, предшествовал длительный процесс. Сущность его довольно точно охарактеризовали историки русского языка. Еще П. И. Житецкий указывал, что «при Екатерине II последователи Ломоносова, не отступая от руководящих начал, предложенных в его грамматике, стремились к уравнению разнообразных стихий «российского» языка, к устранению границы, отделяющей книжную речь от разговорной, к низведению книжной речи до разговорной, и обратно — к поднятию этой последней до речи книжной».[3]

Задачу сближения книжной речи с разговорной последовательно решал и Карамзин. Но для Карамзина эстетическую ценность имел только разговор просвещенного дворянства и светского салона, только к нему призывал прислушиваться писателя Карамзин.[4]

В. В. Виноградов справедливо отмечает, что «проблема создания литературных образцов «светского» чувствительного, остроумного и изящного разговора выдвигается Н. М. Карамзиным и его последователями, в том числе и И. И. Дмитриевым, как одна из основных задач культуры русской речи в конце XVIII в.»[5]

Переход от тяжеловесного с славянскими узорами языка усердных переводчиков последней четверти XVIII века к салонно-изы-

---

[1] А. С. Шишков. Рассуждение о старом и новом слоге российского языка. СПб, 1803, стр. 57—58.

[2] См. И. Ф. Тимковский. Памятник Ивану Ивановичу Шувалову. «Москвитянин», 1851, № 9—10, стр. 41.

[3] П. И. Житецкий. К истории литературной русской речи в XVIII веке. «Известия Отд. русск. яз. и слов. Акад. наук», 1903, т. VIII, кн. 2, стр. 51.

[4] См. его статью «Отчего в России мало авторских талантов?»

[5] В. В. Виноградов. Из наблюдений над языком и стилем И. И. Дмитриева. Материалы и исследования по истории русского литературного языка. М.—Л., Изд. АН СССР, 1949, т. I, стр. 225.

сканной и вместе с тем салонно-ограниченной речи превосходно ощутил Гоголь: «Последние звуки Державина умолкнули, как умолкают последние звуки церковного органа, и поэзия наша, по выходе из церкви, очутилась вдруг на бале»,— писал он в статье «В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность» (1847). К 1802 году формирование словаря и строя фразы сентиментального стиля было едва ли не завершенным делом.

В статье «Отчего в России мало авторских талантов?» (1803) Карамзин как бы называл задачи, которые ему в известной мере удалось разрешить: «...выдумывать, сочинять выражения; угадывать лучший выбор слов; давать старым некоторый новый смысл, предлагать их в новой связи, но столь искусно, чтобы обмануть читателей и скрыть от них необыкновенность выражения!»

Карамзин обогатил русский язык многими неологизмами. В «Московском журнале» впервые появились до того совершенно неизвестные слова: «достижимая» с примечанием: «т. е. до которой достигнуть можно. Я осмелился по аналогии употребить сие слово»; «промышленность» с примечанием: «не может ли сие слово означать латинского industri или французского industrie?» В собрании сочинений Карамзин по поводу слова «промышленность» заметил: «это слово сделалось ныне обыкновенным: автор употребил его первый». Карамзин образовал такие слова, как «развитие», «утонченный», «сосредоточить», «трогательный», «занимательность», «человечность», «общественность», «общеполезный» и многие другие, вошедшие не только в словарный состав своего времени, но и в основной словарный фонд русского языка.

Не менее значительной и важной была работа Карамзина в области строения фразы. Тяжеловесная сложная форма уступила место легкой, короткой, ритмически организованной.

Положительное влияние Карамзина на литературный язык в известной мере признавали и в кругах декабристов,[1] хотя в 20-х годах все настойчивее раздавались справедливые нападки на ма-

---

[1] См. А. А. Бестужева (Марлинского) «Взгляд на старую и новую словесность в России», где он писал: Карамзин «преобразовал книжный язык русский, звучный, богатый, сильный в сущности, но уже отягчалый в руках бесталанных писателей и невежд-переводчиков. Он двинул счастливою новизною ржавые колеса его механизма, отбросил чуждую пестроту в словах, в словосочинении... Время рассудит Карамзина как историка; но долг правды и благодарности современников венчает сего красноречивого писателя, который своим прелестным, цветущим слогом сделал решительный переворот в русском языке на лучше» («Полярная звезда», СПб, 1823, стр. 15).

нерность, жеманность, изжитость сентиментального стиля. Споры о народности в литературе показали, что Карамзин все же не разрешил самую насущную задачу своего времени — сближение языка литературы с языком народа. И не только не разрешил, но был, по существу, во многом враждебен ей. В эти же годы огромной по своему значению для развития русского литературного языка была деятельность Крылова. В первой половине 90-х годов, особенно в журналах «Зритель» (1792) и «Санкт-Петербургский Меркурий» (1793), он упорно и настойчиво боролся с дворянским салонным пуризмом Карамзина во имя народности языка литературы. В то время как Крылов, шедший вослед Радищеву, стал писать для всего народа, был понят и принят в самых широких кругах русского общества и в этом смысле стал народным поэтом, Карамзин, несмотря на положительную общенациональную роль его работы в области языка, в силу своих узко-дворянских убеждений и антидемократической классовой позиции, остался писателем дворянского салона и, по меткому замечанию Кюхельбекера, создавал для немногих «Un petit jargon de coterie».[1]

* * *

С деятельностью Карамзина в области литературного языка тесно связана распря А. С. Шишкова с карамзинистами. Началом ее считают выход книги Шишкова «Рассуждение о старом и новом слоге» (1803), что не совсем верно. Книга Шишкова была уже некоторым итогом споров, которые не нашли широкого отражения в печати, но протекали в продолжение всего последнего десятилетия XVIII века. Первые выпады против славянщины имели место в рецензиях «Московского журнала» 1791 года. В разборе перевода романа Ричардсона «Клариса Гарлоу» Карамзин замечает, что переводчик хотел последовать моде, введенной в русский слог сторонниками «славяномудрия» («Московский журнал», 1791, ч. IV, стр. 112). По поводу перевода «Неистового Роланда» Карамзин писал: «Слог нашего переводчика можно назвать изрядным; он не надут славянщизною и довольно чист» («Московский журнал», 1791, ч. II, стр. 324). В пятой части «Московского журнала» (1792) в рецензии В. Подшивалова на перевод Палефта Ф. Туманским высмеяны неуместные славянизмы.

---

[1] В. Кюхельбекер. О направлении нашей поэзии. «Мнемозина», М., 1824, ч. II, стр. 38.

И. И. Дмитриев, а за ним филолог Я. К. Грот[1] полагали, что первые выпады Карамзина были направлены против московских переводчиков греческих и церковных книг, проявлявших особую ревность к славянскому слогу,— И. С. Захарова, Якимова, переводившего «Илиаду», Матвея Пахомова и Ивана Сидоровского, переводчиков Лукиана и Платона. Это лишь отчасти справедливо; в действительности Карамзин нападал на устарелость языка русских переводов и всей деловой литературы своего времени, а не только на «славянщину». Он и сам обращался к таким славянизмам, как *персты, младость,* и другим, не противоречившим духу сентиментального словаря, вносившим сентиментальную возвышенность в поэтический язык и утвердившимся в 10—20-х годах XIX столетия в русской, особенно легкой, поэзии.

Книга Шишкова вызвала протесты сторонников «легкого языка» Карамзина. Поборник старины в вопросах политики и культуры, выразитель взглядов наиболее реакционных кругов крепостников, Шишков связывал новый слог с «наклонностью к безверию, своевольству, к новой пагубной философии». Под его пером Карамзин превращался едва ли не в проповедника революции. Вопрос о новом слоге волновал Шишкова не только с литературной стороны. Чутьем консерватора он угадывал то новое, что казалось ему враждебным крепостническим сословным интересам дворянства. В языке Карамзина он усматривал угрозу патриархальным формам жизни, крепостному праву.

Опасения Шишкова были, разумеется, неосновательны. Если литературные взгляды и взгляды на просвещение и разделяли их, то в политических противники были не так уж далеки друг от друга.

Большой интерес представляют попытки критиковать сентиментализм Карамзина со стороны последователей Радищева и кругов, где постепенно зрело недовольство всем ходом русской жизни при крепостном строе. Одним из таких умеренных кружков был дружеский литературный кружок братьев Тургеневых, где в 1801 году Андрей Тургенев произнес на собрании речь и в ней утверждал, что Карамзин хотя и создал «эпоху в нашей литературе», хотя и «пишет в своем роде прекрасно», но в целом нанес ей вред прежде всего тем, что отказался от больших сюжетов эпической поэзии и увлек литературу к «мелочным родам».[2] В кри-

---

[1] См. Я. К. Грот. Карамзин в истории русского литературного языка. «Труды», СПб, 1899, т. II, стр. 46.

[2] См. Вл. Орлов. Русские просветители 1790—1800 годов. М., Гослитиздат, 1950, стр. 329; Сообщение А. Фомина. «Русский библиофил», 1912, № 1, стр. 29—30.

тике Андрея Тургенева, может быть, впервые еще, робко зазвучали упреки, высказанные позже в кругах декабристов. Представители «Вольного общества любителей словесности, наук и художеств», отвергая шишковскую позицию в вопросах языка, вместе с тем не одобряли и Карамзина, стремясь к созданию общественно-активной, самобытной литературы, борющейся за передовые идеи своего времени. В известной мере взгляды «Вольного общества» на карамзинизм и язык карамзинистов разделял и Н. А. Гнедич, писавший в 1810 году, что в Москве «воздух заражен чувствительностью».[1]

Однако в эти годы противники Карамзина, вопреки своим взглядам, во многом следовали карамзинской литературной традиции. Член упомянутого дружеского литературного кружка А. С. Кайсаров, противник крепостного права,[2] назвал сборник своих стихотворений «Саратовские безделки», и в нем немало карамзинских стихов. С другой стороны, даже Шишков, ополчавшийся на сентиментальный стиль, как переводчик подчинялся духу сентиментального направления.

Распря между шишковистами и карамзинистами тянулась пятнадцать лет и послужила толчком к широкому обсуждению вопросов языка и литературы.

В 1811 году сгруппировалась «Беседа любителей российского слова». В 1815 году образовался карамзинский «Арзамас», куда вошли Жуковский, Батюшков, В. Л. Пушкин. Как пишет Д. Д. Благой, «Арзамас» в то время был в литературном отношении «группировкой общественно-передовой, прогрессивной».[3] И неслучайно именно к «Арзамасу», а не к «Беседе» примкнули будущие декабристы Орлов, Н. И. Тургенев, Никита Муравьев. Они попытались втянуть арзамасцев в круг политических интересов, но «Арзамас» так и остался кружком узко литературным. Политические взгляды его участников оказались весьма различными. За одним столом сидели и будущие декабристы и будущие вожди николаевской реакции — Уваров и Блудов, готовивший впоследствии материал для приговора по делу декабристов и, в частности, по делу Тургенева и Никиты Муравьева, своих «единомышленников» по «Арзамасу».

В арзамасском кругу появился и лицеист Пушкин, в литературном споре с «Беседой» стоявший за «Арзамас».

---

[1] См. П. Тиханов. Н. И. Гнедич. СПб, 1884, стр. 40.

[2] Кайсаров выступил с критикой крепостного права в 1806 г. в своей «Dissertatio inauguralis de manumitendis per Russiam servis». См. «Русский библиофил», 1912, № 4, стр. 15.

[3] Д. Д. Благой. Творческий путь Пушкина (1813—1826). М.—Л., Изд. АН СССР, 1950, стр. 183.

В 1816 г. в послании «К Жуковскому» он писал:

Кто выражается правдивым языком
И русской глупости не хочет бить челом!..
Он враг отечества, он сеятель разврата!
И речи сыплются дождем на сопостата.
. . . .
Их злобы не страшусь; мне твердый Карамзин,
Мне ты пример...

Впоследствии взгляд Пушкина на спор, разгоревшийся в 10-х годах, изменился. Он оценил язык Крылова, с добродушным юмором относился к столпу «Арзамаса» В. Л. Пушкину, высмеивал слащавый язык эпигонов Карамзина.

Современники ощущали стремительные сдвиги в литературном языке, происшедшие в годы деятельности Карамзина. Вяземский в предисловии к собранию стихотворений Дмитриева (1823) с восторженностью правоверного карамзиниста писал, что «изданием «Московского журнала» начинается новое летоисчисление в языке нашем». В той же статье он подчеркнул «влияние» Карамзина на Шишкова и «Беседу». «Примечательно и забавно то,— писал Вяземский,— что Карамзин и Дмитриев, как великие полководцы, которые, преобразовав искусство военное, кончают тем, что самых врагов своих научают сражаться по системе, ими вновь введенной, научили неприметным образом и противников своих писать с большим или меньшим успехом по-своему». И в этом Вяземский, в целом преувеличивавший и роль Карамзина и роль Дмитриева, не понимавший глубоких недостатков дворянского сентиментализма, был прав. Карамзинский язык оказал влияние на все области жизни: в Сенате, в суде, в канцеляриях, по воспоминаниям современников, утвердился новый слог.

Но не следует думать, что в начале века в результате литературной деятельности Карамзина появился какой-то новый русский язык. Как указывает в своем труде «Относительно марксизма в языкознании» И. В. Сталин, «структура языка, его грамматический строй и основной словарный фонд есть продукт ряда эпох» и дальше: «...переход от одного качества языка к другому качеству происходил не путем взрыва, не путем разового уничтожения старого и построения нового, а путем постепенного и длительного накопления элементов нового качества, новой структуры языка, путем постепенного отмирания элементов старого качества».[1]

Так называемая «реформа» Карамзина, конечно, не меняла ни

---

[1] И. В. Сталин. Относительно марксизма в языкознании. Госполитиздат, 1950, стр. 24.

основного словарного фонда, ни грамматического строя русского языка. По существу, она была главным образом реформой повествовательных стилей прозы и словаря поэзии. Нормы дворянского сентиментализма, подвигнувшие Карамзина на его работу в области языка прозы и поэзии, очень скоро оказались путами для дальнейшего развития литературы. Пушкин, а за ним и вся прогрессивная литература освободились от них легко и скоро.

Наследие Карамзина уже с конца 10-х годов одновременно и усваивалось и преодолевалось: усваивался и преодолевался карамзинский язык, отвергалась эстетика сентиментализма. Этот процесс шел настолько стремительно, что даже сторонники Карамзина замечали его. Батюшков в письме к А. И. Тургеневу еще в 1816 году, когда «Арзамас», казалось бы, с успехом защищал Карамзина, писал: «Кстати о вкусе и прекрасном. Карамзин скоро будет у вас. Он и здесь ходит entre l'Olympe et les abimes, Entre la satire et l'encens <между Олимпом и пропастью, между сатирою и фимиамом>».[1] Уже тогда многие стороны карамзинизма представлялись уязвимыми даже его друзьям и ученикам.

Быстрота этого процесса отразилась и на отношениях Карамзина с «Беседой». В том же, 1816 году Карамзин мирно встретился с Шишковым, который стал почитателем «Истории государства Российского» и ее автора.

Стремительность завершения пути русским сентиментализмом можно проследить на отношении Пушкина к Карамзину. В набросках к автобиографии (1825—1826) Пушкин рассказывает, как он жадно читал в 1818 году первые восемь томов «Истории государства Российского» и в то же время написал на нее известную эпиграмму. Занятия «Борисом Годуновым» вновь заставили Пушкина обратиться к «Истории». В письме к Жуковскому в августе 1825 года Пушкин писал, сообщая о работе над «Борисом»: «Читаю только Карамзина да летописи. Что за чудо эти два последние тома Карамзина! Какая жизнь!» Но приведенная оценка относится к богатству материала «Истории», к его воплощению, а не к монархической концепции. В конце 10-х годов Пушкин оставил увядающий, сыгравший свою роль карамзинизм и вышел на широкую самостоятельную дорогу. В черновиках 1824 года он записывает: «Вопрос: чья проза лучшая в нашей литературе? Ответ: Карамзина. Это еще похвала небольшая». В 1822 году Пушкин ясно видел идейную и художественную ограниченность карамзинизма и осторожно сказал в четвертой главе «Евгения Онегина» о тяжбе

---

[1] «Русский архив», 1867, ст. 1487.

большой формы и оды с элегиями «унылых наших рифмачей». Неприязнь Пушкина к рано одряхлевшему карамзинизму, к «унылым» элегиям — очевидна.

Старел, разумеется, не столько карамзинский словарь, передавший свои завоеванные неологизмы в словарный фонд русского языка, и не строй фразы, сколько дворянско-сентиментальный стиль.

Литературная деятельность Карамзина, имевшая, несмотря на ее дворянскую ограниченность, национальное значение и вызвавшая широкую плодотворную борьбу вокруг вопросов литературного языка, стремительно обнаружила консервативность содержания и формы.

Создателем нашего литературного языка стал Пушкин, именно потому, что он шел сам и вел русскую литературу к овладению всем богатством русского языка, его народной стихии на основе самого передового мировоззрения своего времени.

А. Кучеров



Н. М. Карамзин.

Портрет (масло) работы В. А. Тропинина (1815 г.)

СТИХОТВОРЕНИЯ

* * *

Часто здесь в юдоли мрачной
Слезы льются из очей;
Часто страждет и томится,
Терпит много человек.

Часто здесь ужасны бури
Жизни океан мятут;
Ладия наша крушится
Часто среди ярых волн.

Наслаждаясь, унываем;
Веселяся, слезы льем.
Что забава, то причина
Новая крушить себя.

На кусту здесь Филомела
Нежны песенки поет;
Ей внимая, воздыхаешь,
Вспомня, сколько беден ты.

Чем во внешности утехи
Чаще будешь ты искать,
Тем ты более пострадешь,
В жизни горечи найдешь.

Что в том нужды, что страдаешь
Ты почасту от себя?
Ты, страдая, смело можешь
Звать несчастливым тебя.

Но ты должен постараться
Скорби уменьшать свои,
Сколь возможешь утешаться,
Меньше мучить сам себя.

Впредь не думай, что случиться
Может страшного тебе;
Коль случилось, ободряйся;
Что прошло, позабывай.

Не ликуй ты при забавах,
Чтоб не плакать после их;
Чем кто более смеется,
Тем вздыхает чаще тот.

Ни к чему не прилепляйся
Слишком сильно на земле;
Ты здесь странник, не хозяин:
Все оставить должен ты.

Будь уверен, что здесь счастье
Не живет между людей;
Что̀ здесь счастьем называют,
То едина счастья тень.

1787

* * *

Счастье истинно хранится
Выше звезд, на небесах;
Здесь живя, ты не возможешь
Никогда найти его.

Есть здесь счастие едино,
Буде так сказать могу,
Коим в мире обладая,
Лучшим обладаешь ты.

Верна дружба! ты едина
Есть блаженство на земле;
Кто тобою усладился,
Тот недаром в мире жил.

Небеса благоволили
Смертным дружбу даровать,
Чтоб утешить их в несчастьи,
Сердце бедных усладить.

Буди ты благословенна,
Дружба, дар святый небес!
Буди жизни услажденьем
Ты моей здесь на земле!

Но и дружбе окончаться
Время некогда придет;
Сама дружба нас заставит
После слезы проливать.

Время всем нам разлучиться
Непременно притечет;
Час настанет, друг увянет,
Яко роза в жаркий день.

Все исчезнет, что ни видишь,
Все погибнет на земле;
Самый мир сей истребится,
Пеплом будет в некий день.

1787

ПОЭЗИЯ

(сочинена в 1787 г.)

Die Lieder der göttlichen Harfenspieler
schallen mit Macht, wie beseelend.

Klopstok[1]

Едва был создан мир огромный, велелепный,
Явился человек, прекраснейшая тварь,
Предмет любви творца, любовию рожденный;
Явился — весь сей мир приветствует его,
В восторге и любви, единою улыбкой.
Узрев собор красот и *чувствуя себя,*
Сей гордый мира царь почувствовал и бога,
Причину бытия — толь живо ощутил
Величие творца, его премудрость, благость,
Что сердце у него в гимн нежный излилось,
Стремясь лететь к отцу... Поэзия святая!
Се ты в устах его, в источнике своем,
В высокой простоте! Поэзия святая!
Благословляю я рождение твое!

Когда ты, человек, в невинности сердечной,
Как роза цвел в раю, Поэзия тебе
Утехою была. Ты пел свое блаженство,
Ты пел творца его. Сам бог тебе внимал,
Внимал, благословлял твои святые гимны:
Гармония была душою гимнов сих —
И часто ангелы в небесных мелодиях,
На лирах золотых, хвалили песнь твою.

---

[1] Песни божественных арфистов звучат с силой одухотворяющей. *Клопшток.— Ред.*

Ты пал, о человек! Поэзия упала;
Но дщерь небес еще сияла лепотой,
Когда несчастный, вдруг раскаяся в грехе,
Молитвы воспевал — сидя на бережку
Журчащего ручья и слезы проливая,
В унынии, в тоске тебя воспоминал,
Тебя, эдемский сад! Почасту мудрый старец,
Среди сынов своих, внимающих ему,
Согласно, важно пел таинственные песни
И юных научал преданиям отцов.
Бывало иногда, что ангел ниспускался
На землю, как эфир, и смертных наставлял
В Поэзии святой, небесною рукою
Настроив лиры им —

Живее чувства выражались,
Звучнее песни раздавались,
Быстрее мчалися к творцу.

Столетия текли и в вечность погружались —
Поэзия всегда отрадою была
Невинных, чистых душ. Число их уменьшалось;
Но гимн царю царей вовек не умолкал —
И в самый страшный день, когда пылало небо
И бурные моря кипели на земли,
Среди пучин и бездн, с невиннейшим семейством
(Когда погибло все) Поэзия спаслась.
Святый язык небес нередко унижался,
И смертные, забыв великого отца,
Хвалили вещество бездушныя планеты!
Но был избранный род, который в чистоте
Поэзию хранил и ею просвещался.
Так славный, мудрый бард, древнейший из певцов,
Со всею красотой священной сей науки
Воспел, как мир истек из воли божества.
Так оный муж святый, в грядущее проникший,
Пел миру часть его. Так царственный поэт,
Родившись пастухом, но в духе просвещенный,
Играл хвалы творцу и песнию своей
Народы восхищал. Так в храме Соломона
Гремела богу песнь!

Во всех, во всех странах Поэзия святая
Наставницей людей, их счастием была;
Везде она сердца любовью согревала.
Мудрец, Натуру знав, познав ее творца
И слыша глас его и в громах и в зефирах,
В лесах и на водах, на арфе подражал
Аккордам божества, и глас сего поэта
Всегда был божий глас!

Орфей, фракийский муж, которого вся древность
Едва не богом чтит, Поэзией смягчил
Сердца лесных людей, воздвигнул богу храмы
И диких научил всесильному служить.
Он пел им красоту Натуры, мирозданья;
Он пел им тот закон, который в естестве
Разумным оком зрим; он пел им человека,
Достоинство его и важный сан; он пел,

И звери дикие сбегались,
И птицы стаями слетались
Внимать гармонии его;
И реки с шумом устремлялись,
И ветры быстро обращались
Туда, где мчался глас его.

Омир в стихах своих описывал героев —
И пылкий юный грек, вникая в песнь его,
В восторге восклицал: *я буду Ахиллесом!*
Я кровь свою пролью, за Грецию умру!
Дивиться ли теперь геройству Александра?
Омира он читал, Омира он любил.—
Софокл и Эврипид учили на театре,
Как душу возвышать и полубогом быть.
Бион и Теокрит и Мосхос воспевали
Приятность сельских сцен, и слушатели их
Пленялись красотой природы без искусства,
Приятностью села. Когда Омир поет,
Всяк воин, всяк герой; внимая Теокриту,
Оружие кладут — герой теперь пастух!
Поэзии сердца, все чувства — все подвластно.

Как Сириус блестит светлее прочих звезд,
Так Августов поэт, так пастырь Мантуанский
Сиял в тебе, о Рим! среди твоих певцов.
Он пел, и всякий мнил, что слышит глас Омира;
Он пел, и всякий мнил, что сельский Теокрит
Еще не умирал или воскрес в сем барде.
Овидий воспевал начало всех вещей,
Златый блаженный век, серебряный и медный,
Железный наконец, несчастный, страшный век,
Когда гиганты, род надменный и безумный,
Собрав громады гор, хотели вознестись
К престолу божества; но тот, кто громом
правит,
Погреб их в сих горах.[1]

Британия есть мать поэтов величайших.
Древнейший бард ее, Фингалов мрачный сын,
Оплакивал друзей, героев, в битве падших,
И тени их к себе из гроба вызывал.
Как шум морских валов, носяся по пустыням
Далеко от брегов, уныние в сердцах
Внимающих родит,— так песни Оссиана,
Нежнейшую тоску вливая в томный дух,
Настраивают нас к печальным представленьям;
Но скорбь сия мила и сладостна душе.
Велик ты, Оссиан, велик, неподражаем!

Шекспир, Натуры друг! кто лучше твоего
Познал сердца людей? Чья кисть с таким
искусством
Живописала их? Во глубине души
Нашел ты ключ ко всем великим тайнам рока
И светом своего бессмертного ума,
Как солнцем, озарил пути ночные в жизни!
«Все башни, коих верх скрывается от глаз
В тумане облаков; огромные чертоги
И всякий гордый храм исчезнут, как мечта,—

[1] Сочинитель говорит только о тех поэтах, которые наиболее трогали и занимали его душу в то время, как сия пьеса была сочиняема.

В течение веков и места их не сыщем»,—
Но ты, великий муж, пребудешь незабвен![1]

Мильтон, высокий дух, в гремящих страшных песнях
Описывает нам бунт, гибель Сатаны;
Он душу веселит, когда поет Адама,
Живущего в раю; но голос ниспустив,
Вдруг слезы из очей ручьями извлекает,
Когда поет его, подпадшего греху.

О Йонг, несчастных друг, несчастных утешитель!
Ты бальзам в сердце льешь, сушишь источник слез,
И, с смертию дружа, дружишь ты нас и с жизнью!

Природу возлюбив, природу рассмотрев
И вникнув в круг времен, в тончайшие их тени,
Нам Томсон возгласил природы красоту,
Приятности времен. Натуры сын любезный,
О Томсон! ввек тебя я буду прославлять!
Ты выучил меня природой наслаждаться
И в мрачности лесов хвалить творца ее!

Альпийский Теокрит, сладчайший песнопевец!
Еще друзья твои в печали слезы льют —
Еще зеленый мох не виден на могиле,
Скрывающей твой прах! В восторге пел ты нам
Невинность, простоту, пастушеские нравы
И нежные сердца свирелью восхищал.
Сию слезу мою, текущую толь быстро,
Я в жертву приношу тебе, Астреин друг!

---

[1] Сам Шекспир сказал:

The cloud cap'd towers, the gorgeous palaces,
The solemn temples, the great globe itselfe,
Yea, all which it inherits, shall dissolve,
And, like the baseless fabric of a vision,
Leave not a wreck behind.

Какая священная меланхолия вдохнула в него сии стихи?
<Стихи из пьесы «Буря» Шекспира, перевод которых приведен в тексте стихотворения в кавычках.— *Ред.*>.

Сердечную слезу и вздох и песнь поэта,
Любившего тебя, прими, благослови,
О дух, блаженный дух, здесь в Геснере блиставший! [1]

Несяся на крылах превыспренних орлов,
Которые певцов божественныя славы
Мчат в вышние миры, да тему почерпнут
Для гимна своего, певец избранный Клопшток
Вознесся выше всех, и там, на небесах,
Был тайнам научен, и той великой тайне,
Как бог стал человек. Потом воспел он нам
Начало и конец Мессииных страданий,
Спасение людей. Он богом вдохновен —
Кто сердцем всем еще привязан к плоти, к миру,
Того язык немей, и песней толь святых
Не оскверняй хвалой; но вы, святые мужи,
В которых уже глас земных страстей умолк,
В которых мрака нет! вы чувствуете цену
Того, что Клопшток пел, и можете одни,
Во глубине сердец, хвалить сего поэта!
Так старец, отходя в блаженнейшую жизнь,
В восторге произнес: *о Клопшток несравненный!* [2]
Еще великий муж собою красит мир —
Еще великий дух земли сей не оставил.
Но нет! он в небесах уже давно живет —
Здесь тень мы зрим сего священного поэта.

О Россы! век грядет, в который и у вас
Поэзия начнет сиять, как солнце в полдень.
Исчезла нощи мгла — уже Авроры свет
В **** блестит, и скоро все народы
На север притекут светильник возжигать,
Как в баснях Прометей тек к огненному Фебу,
Чтоб хладный, темный мир согреть и осветить.

Доколе мир стоит, доколе человеки
Жить будут на земле, дотоле дщерь небес,
Поэзия, для душ чистейших благом будет.
Доколе я дышу, дотоле буду петь,

---

[1] Сии стихи прибавлены после.
[2] Я читал об этом в одном немецком журнале.

Поэзию хвалить и ею утешаться.
Когда ж умру, засну и снова пробужусь,—

Тогда, в восторгах погружаясь,
И вечно, вечно наслаждаясь,
Я буду гимны петь творцу,
Тебе, мой бог, господь всесильный
Тебе, любви источник дивный,
Узрев там все лицом к лицу!

1787

К Д<МИТРИЕВУ>

«Многие барды, лиру настроив,
Смело играют, поют;
Звуки их лиры, гласы их песней
Мчатся по рощам, шумят.

Многие барды, тоны возвысив,
Страшные битвы поют;
В звуках их песней слышны удары,
Стон пораженных и смерть.

Многие барды, тоны унизив,
Сельскую радость поют —
Нравы невинных, кротких пастушек,
Вздохи, утехи любви.

Многие барды в шумном восторге
Нам воспевают вино,
Всех призывая им утоляти
Скуку, заботы, печаль.

Все ли их песни трогают сердце,
Душу приводят в восторг?
Все ли Омиры, Геснеры, Клейсты?
Где Анакреон другой?

Мало осталось бардов великих!» —
Так воспевая, вздохнул;
Слезы из сердца тихо катятся;
Лира упала из рук.

Быстро зефиры с Невского брега,
    Быстро несутся ко мне —
Веют — вливают сладкие песни,
    Нежные песни в мой слух...

Я восхищаюсь! — В радости сердца
    Громко взываю, пою:
«Древние барды дух свой влияли
    В нового барда Невы!»

1788

ВОЕННАЯ ПЕСНЬ

В чьих жилах льется кровь героев,
Кто сердцем муж, кто духом Росс —
Тот презри негу, роскошь, праздность,
Забавы, радость слабых душ!

Туда, где знамя брани веет,
Туда, где гром войны гремит,
Где воздух стонет, солнце меркнет,
Земля дымится и дрожит;

Где жизнь бледнеет и трепещет;
Где злобы, клятвы, ада дщерь,
Где смерть с улыбкой пожирает
Тьмы жертв и кровь их жадно пьет,—

Туда спеши, о сын России!
Разить бесчисленных врагов!
Как столп огня, палящий нивы,
Теки, стремись по их рядам!

Перуном будь, и стрелы грома
Бросай на них и всех губи!
Да в буре гнева глас промчится:
Умри, умри, России враг!

Губи! — Когда же враг погибнет,
Сраженный храбростью твоей,
Смой кровь с себя слезами сердца:
Ты ближних, братий поразил!

1788

Щастье истинно хранится
Выше звѣздъ, на небесахъ;
Здѣсь живя, ты не возможешь
Никогда найти его.

Есть здѣсь щастие едино,
Буде такъ сказать мочь,
Коимъ въ мiрѣ обладая,
[illegible] обладаетъ имъ.
[illegible]

[illegible] дружба! ты едина
Есть блаженство на землѣ;
Кто тобою усладился,
Тотъ недаромъ въ мiрѣ жилъ.

Небеса благоволили
Другъ смертнымъ даровать
[illegible]
[illegible]

Будь ты благословенна,
Дружба, даръ святый небесъ!
Будь ты жизни услажденьемъ
И [illegible] на землѣ [illegible]!

Но и дружбѣ окончаться
Время нѣкогда придетъ;
Сама дружба насъ заставитъ
Послѣ слезы проливать.

Автограф стихотворения Н. М. Карамзина
«Счастье истинно хранится».

ВЕСЕННЯЯ ПЕСНЬ МЕЛАНХОЛИКА

Зима свирепая исчезла,
Исчезли мразы, иней, снег;
И мрак, все в мире покрывавший,
Как дым рассеялся, исчез.

Не слышим рева ветров бурных,
Страшивших странника в пути;
Не видим туч тяжелых, черных,
Текущих с севера на юг.

Весна с улыбкою приходит;
За нею следом мир течет.
На персях нежныя Природы
Играет, резвится Зефир.

Дождь тихий с неба к нам лиется
И все творение живит;
В полях все травы зеленеют,
И луг цветами весь покрыт.

Уже фиалка распустилась,
Смиренно под кустом цветет,
Амброзией питает воздух;
Не ждя похвал, благотворит.

На ветвях птички воспевают
Хвалу всещедрому творцу;
Любовь их песни соглашает,
Любовь сердца их веселит.

Овечки кроткие гуляют
И щиплют травку на лугах;
В сердцах любовь к творцу питают —
Без слов его благодарят.

Пастух играет на свирели,
Лежа беспечно на траве;
Питаясь духом благовонным,
Он хвалит красоту весны.

Везде, везде сияет радость,
Везде веселие одно;
Но я, печалью отягченный,
Брожу уныло по лесам.

В лугах печаль со мною бродит.
Смотря в ручей, я слезы лью;
Слезами воду возмущаю,
Волную вздохами ее.

Творец премудрый, милосердый!
Когда придет весна моя,
Зима печали удалится,
Рассеется душевный мрак?

1788

АНАКРЕОНТИЧЕСКИЕ СТИХИ А. А. П<ЕТРОВУ>

Зефир прохладный веет,
И, Флору оставляя,
Зефир со мной играет,
Меня утешить хочет;
Печаль мою развеять
Намерен непременно.
Зефир! напрасно мыслишь
Меня развеселити,
Мне плакать не давая!
Ты в сердце не проникнешь,
Моя же горесть в сердце.
Но если ты намерен
Мне службу сослужити,
Лети, Зефир прекрасный,
К тому, который любит
Меня любовью нежной;
Лети в деревню к другу;
Найдя его под тенью
Лежащего покойно,
Ввей в слух его тихонько
Что́ ты теперь услышишь:

«Расставшися с тобою,
Чего не думал сделать?
Рассматривал я присму,
Желая то увидеть,
Что Нютонову душу
Толико занимало,
Что Нютоново око
В восторге созерцало.

Но, ах! мне надлежало
Тотчас себе признаться,
Что Нютонова дара
Совсем я не имею;
Что мне нельзя проникнуть
В состав чудесный света,
Дробить лучей седмичных
Великого светила.—
Я Нютона оставил.

Читая философов,
Я вздумал философом
Прослыть в ученом свете;
Схватив перо, бумагу,
Хотел писать я много
О том, как человеку
Себя счастливым сделать
И мудрым быть в сей жизни.
Но, ах! мне надлежало
Тотчас себе признаться,
Что дух сих философов
Во мне не обитает;
Что я того не знаю,
О чем писать намерен.—
Вздохнув, перо я бросил.

Шатаяся по рощам,
Внимая Филомеле,
Я Томсоном быть вздумал
И петь златое лето;
Но, ах! мне надлежало
Тотчас себе признаться,
Что Томсонова гласа
Совсем я не имею,
Что песнь моя несносна.—
Вздохнув, молчать я должен.

Теперь брожу я в поле,
Грущу и плачу горько,
Почувствуя, как мало
Талантов я имею».

Зефир, Зефир прекрасный!
Лети в деревню к другу;
Найдя его под тенью
Лежащего покойно,
Ввей в слух его тихонько
Что̀ ты теперь услышал.

1788(?)

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ

Нежная матерь Природа!
Слава тебе!
Снова твой сын оживает!
Слава тебе!

Сумрачны дни мои были.
Каждая ночь
Медленным годом казалась
Бедному мне.

Желчию облито было
Все для меня;
Скука, уныние, горесть
Жили в душе.

Черная кровь возмущала
Ночи мои
Грозными, страшными снами,
Адской мечтой.

Томное сердце вздыхало
Ночью и днем.—
Тронули матерь Природу
Вздохи мои.

Перст ее, к сердцу коснувшись,
Кровь разжидил;
Взор ее светлый рассеял
Мрачность души.

Все для меня обновилось;
Всем веселюсь:
Солнцем, зарею, звездами,
Ясной луной.

Сон мой приятен и кроток;
Солнечный луч
Снова меня призывает
К радостям дня.

1789

ГРАФ ГВАРИНОС

Древняя гишпанская историческая песня

Худо, худо, ах, французы,
В Ронцевале было вам!
Карл Великий там лишился
Лучших рыцарей своих.

И Гваринос был пойман
Многим множеством врагов;
Адмирала вдруг пленили
Семь арабских королей.

Семь раз жеребей бросают
О Гвариносе цари;
Семь раз сряду достается
Марлотесу он на часть.

Марлотесу он дороже
Всей Аравии большой.
«Ты послушай, что я молвлю,
О Гваринос! — он сказал,—

Ради Аллы, храбрый воин,
Нашу веру приими!
Все возьми, чего захочешь,
Что приглянется тебе.

Дочерей моих обеих
Я Гвариносу отдам;

На любой из них женися,
А другую так возьми,

Чтоб Гвариносу служила,
Мыла, шила на него.
Всю Аравию приданым
Я за дочерью отдам».

Тут Гваринос слово молвил;
Марлотесу он сказал:
«Сохрани господь небесный
И Мария, мать его,

Чтоб Гваринос, христианин,
Магомету послужил!
Ах! во Франции невеста
Дорогая ждет меня!»

Марлотес, пришедши в ярость,
Грозным голосом сказал:
«Вмиг Гвариноса окуйте,
Нечестивого раба;

И в темницу преисподню
Засадите вы его.
Пусть гниет там понемногу,
И умрет, как бедный червь!

Цепи тяжки, в семь сот фунтов,
Возложите на него,
От плеча до самой шпоры —
Страшен в гневе Марлотес!

А когда настанет праздник,
Пасха, Святки, Духов день,
В кровь его тогда секите
Пред глазами всех людей».

Дни проходят, дни приходят,
И настал Иванов день;
Христиане и арабы
Вместе празднуют его.

Христиане сыплют галгант;[1]
Мирты мечет всякий мавр.[2]
В почесть празднику заводит
Разны игры Марлотес.

Он высоко цель поставил,
Чтоб попасть в нее копьем.
Все свои бросают копья,
Все арабы метят в цель.

Ах, напрасно! нет удачи!
Цель для слабых высока.
Марлотес велел во гневе
Чрез герольда объявить:

«Детям груди не сосати,
А большим не пить, не есть,
Если цели сей на землю
Кто из мавров не сшибет!»

И Гваринос шум услышал
В той темнице, где сидел.
«Мать святая, чиста дева!
Что за день такой пришел?

Не король ли ныне вздумал
Выдать замуж дочь свою?
Не меня ли сечь жестоко
Час презлой теперь настал?»

Страж темничный то подслушал.
«О Гваринос! свадьбы нет;
Ныне сечь тебя не будут;
Трубный звук не то гласит...

Ныне праздник Иоаннов;
Все арабы в торжестве.
Всем арабам на забаву
Марлотес поставил цель.

---

[1] Индейское растение.
[2] В день св. Иоанна гишпанцы усыпали улицы галгантом и миртами.

Все арабы копья мечут,
Но не могут в цель попасть;
Почему король во гневе
Чрез герольда объявил:

«Пить и есть никто не может,
Буде цели не сшибут».
Тут Гваринос встрепенулся;
Слово молвил он сие:

«Дайте мне коня и сбрую,
С коей Карлу я служил;
Дайте мне копье булатно,
Коим я врагов разил.

Цель тотчас сшибу на землю,
Сколь она ни высока.
Если ж я сказал неправду,
Жизнь моя у вас в руках».

«Как! — на то тюремщик молвил,—
Ты семь лет в тюрьме сидел,
Где другие больше года
Не могли никак прожить;

И еще ты думать можешь,
Что сшибешь на землю цель? —
Я пойду сказать инфанту,
Что̀ теперь ты говорил».

Скоро, скоро поспешает
Страж темничный к королю;
Приближается к инфанту
И приносит весть ему:

«Знай: Гваринос-христианин,
Что в тюрьме семь лет сидит,
Хочет цель сшибить на землю,
Если дашь ему коня».

Марлотес, сие услышав,
За Гвариносом послал;

Царь не думал, чтоб Гваринос
Мог еще конем владеть.

Он велел принесть всю сбрую
И коня его сыскать.
Сбруя ржавчиной покрыта,
Конь возил семь лет песок.

«Ну, ступай! — сказал с насмешкой
Марлотес, арабский царь,—
Покажи нам, храбрый воин,
Как сильна рука твоя!»

Так, как буря разъяренна,
К цели мчится сей герой;
Мечет он копье булатно —
На земле вдруг цель лежит.

Все арабы взволновались,
Мечут копья все в него;
Но Гваринос, воин смелый,
Храбро их мечом сечет.

Солнца свет почти затмился
От великого числа
Тех, которые стремились
На Гвариноса все вдруг.

Но Гваринос их рассеял
И до Франции достиг,
Где все рыцари и дамы
С честью приняли его.

1789

ОСЕНЬ

Веют осенние ветры
    В мрачной дубраве;
С шумом на землю валятся
    Желтые листья.

Поле и сад опустели;
    Сетуют холмы;
Пение в рощах умолкло —
    Скрылися птички.

Поздние гуси станицей
    К югу стремятся,
Плавным полетом несяся
    В горних пределах.

Вьются седые туманы
    В тихой долине;
С дымом в деревне мешаясь,
    К небу восходят.

Странник, стоящий на холме,
    Взором унылым
Смотрит на бледную осень,
    Томно вздыхая.

Странник печальный, утешься!
    Вянет природа
  Только на малое время;
    Все оживится,

Все обновится весною;
    С гордой улыбкой
Снова природа восстанет
    В брачной одежде.

Смертный, ах! вянет навеки!
    Старец весною
Чувствует хладную зиму
    Ветхия жизни.

1789

ФИЛЛИДЕ

Проснись, проснись, Филлида!
Взгляни на день прекрасный,
В который ты родилась!
Смотри, как он гордится
И яркими лучами
На зелени играет!
Смотри, как вся природа
Ликует, веселится!
Взгляни же и на друга,
Который для прелестной
Принес цветов прелестных
И арфу златострунну,
Чтоб радостную песню
Сыграть на ней Филлиде,
В счастливый день рожденья
Красавицы любезной,
И в нежной мелодии
Излить желанья дружбы.

Да будет год твой красный
Единым майским утром,
Которое питает
Ясмины и лилеи
И дух их ароматный
В зефирах развевает!
Будь радостна, беспечна,
Как радостен, беспечен
Певец весны и утра,
Виясь под облаками!

Когда ж вздохнуть захочешь —
Увы! где свет без тени? —
Да будет вздох твой кроток!
И если в нежных чувствах
Слезу прольешь из сердца,
Блистай она подобно
Росе на юных розах,
Живящей цвет их алый!

В чудесном же искусстве,
Любовию найденном,
Будь в год сей Прометеем,
Жизнь в мертвое вливая!
Пиши блестящий образ
Земного совершенства —
Представь нам Аполлона —
И вдруг, когда потужишь,
Что юноша не дышит,
Да оживится образ,
И, став перед тобою...
Филлида! я умолкну.

1790

К БОГИНЕ ЗДРАВИЯ

Сойди, сойди, богиня!
Сойди ко мне с небес,
Цветущая Игея!
Снеси златой сосуд
С целебным питием!

Уста мои завяли,
В глазах весь огнь погас,
И сердце томно бьется;
Едва дышать могу —
Едва, едва живу.

И червя оживляет
Прохладный ветерок;
И травку освежает
Небесная роса:
Всегда ли мне страдать?

Хотя едину каплю,
Посланница богов,
Хотя едину каплю
Пролей в мои уста —
И буду исцелен!

Сойди, сойди, богиня!
Сойди ко мне с небес,
Цветущая Игея!
Снеси златой сосуд
С целебным питием!

<1791>

К ПРЕКРАСНОЙ

Где ты, Прекрасная, где обитаешь?
Там ли, где песни поет Филомела,
Кроткая ночи певица,
Сидя на миртовой ветви?

Там ли, где с тихим журчаньем стремится
Чистый ручей по зеленому лугу,
Душу мою призывая
К сладкой дремоте покоя?

Там ли, где юная, пышная роза,
Утром кропимая, нежно алеет,
Скромно с Зефиром лобзаясь,
Сладостью воздух питая?

Там ли, где солнечный луч освещает
Гор неприступных хребет разноцветный,[1]
Где обитали издревле
Высшие силы и боги?

Глас твой божественный часто внимаю;
Часто сквозь облако образ твой вижу,
Руки к нему простираю —
Облако, воздух объемлю!

1791

---

[1] Когда в хороший вечер перед захождением солнца из некоторого отдаления смотришь на высокие, снегом покрытые горы, то верхи их кажутся разноцветными.

МОСКОВСКОЙ ЖУРНАЛЪ.



Pleaſures are ever in our hands or eyes.

Pope.



Часть I.

МОСКВА,
ВЪ Университетской Типографіи
у В Окорокова.
1791 года.

Титульный лист «Московского журнала», издававшегося Н. М. Карамзиным

ВЕСЕЛЫЙ ЧАС

Братья, рюмки наливайте!
Лейся через край вино!
Все до капли выпивайте!
Осушайте в рюмках дно!

Мы живем в печальном мире;
Всякий горе испытал,
В бедном рубище, в порфире,—
Но и радость бог нам дал.

Он вино нам дал на радость,
Говорит святой мудрец:
Старец в нем находит младость,
Бедный — горестям конец.

Кто все плачет, все вздыхает,
Вечно смотрит Сентябрем,—
Тот науки жить не знает
И не видит света днем.

Все печальное забудем,
Что смущало в жизни нас;
Петь и радоваться будем
В сей приятный, сладкий час!

Да светлеет сердце наше,
Да сияет в нем покой,
Как вино сияет в чаше,
Осребряемо луной!

1791

РАИСА

Древняя баллада

Во тьме ночной ярилась буря;
Сверкал на небе грозный луч;
Гремели громы в черных тучах,
И сильный дождь в лесу шумел.

Нигде не видно было жизни;
Сокрылось все под верный кров.
Раиса, бедная Раиса,
Скиталась в темноте одна.

Нося отчаяние в сердце,
Она не чувствует грозы,
И бури страшный вой не может
Ее стенаний заглушить.

Она бледна, как лист увядший,
Как мертвый цвет уста ее;
Глаза покрыты томным мраком,
Но сильно бьется сердце в ней.

С ее открытой белой груди,
Язвимой ветвями дерев,
Текут ручьи кипящей крови
На зелень влажныя земли.

Над морем гордо возвышался
Хребет гранитныя горы;
Между стремнин, по камням острым
Раиса всходит на него.

(Тут бездна яростно кипела
При блеске огненных лучей;
Громады волн неслися с ревом,
Грозя всю землю потопить.)

Она взирает, умолкает;
Но скоро жалкий стон ея
Смешался вновь с шумящей бурей:
«Увы! увы! погибла я!

Кронид, Кронид, жестокий, милый!
Куда ушел ты от меня?
Почто Раису оставляешь
Одну среди ужасной тьмы?

Кронид! поди ко мне! Забуду,
Забуду все, прощу тебя!
Но ты нейдешь к Раисе бедной!..
Почто тебя узнала я?

Отец и мать меня любили,
И я любила нежно их;
В невинных радостях, в забавах
Часы и дни мои текли.

Когда ж явился ты, как ангел,
И с нежным вздохом мне сказал:
«Люблю, люблю тебя, Раиса!» —
Забыла я отца и мать.

В восторге, с трепетом сердечным
И с пламенной слезой любви
В твои объятия упала
И сердце отдала тебе.

Душа моя в твою вселилась,
В тебе жила, дышала я;
В твоих глазах свет солнца зрела;
Ты был мне образ божества.

Почто я жизни не лишилась
В объятиях твоей любви?

Не зрела б я твоей измены,
И счастлив был бы мой конец.

Но рок судил, чтоб ты другую
Раисе верной предпочел;
Чтоб ты меня навек оставил,
Когда сном крепким я спала,

Когда мечтала о Крониде
И мнила обнимать его!
Увы! я воздух обнимала...
Уже далеко был Кронид!

Мечта исчезла, я проснулась;
Звала тебя, но ты молчал;
Искала взором, но не зрела
Тебя нигде перед собой.

На холм высокий я спешила...
Несчастная!.. Кронид вдали
Бежал от глаз моих с Людмилой!
Без чувств тогда упала я.

С сея ужасныя минуты
Крушусь, тоскую день и ночь;
Ищу везде, зову Кронида,—
Но ты не хочешь мне внимать.

Теперь злосчастная Раиса
Звала тебя в последний раз...
Душа моя покоя жаждет...
Прости!.. Будь счастлив без меня!»

Сказав сии слова, Раиса
Низверглась в море. Грянул гром:
Сим небо возвестило гибель
Тому, кто погубил ее.

1791

ПЕСНЬ МИРА

Мир блаженный, чадо неба,
К нам с оливою летит,
И венец светлее Феба
На главе его блестит.
Он в дыхании зефира
Ниспускается в наш край
И от горних стран эфира
В тьму низносит светлый рай.

Хор

Бури, громы умолкают;
Тучи черны исчезают;
Исчезает, как призрак,
Ужас бледный, дым и мрак.

Все в природе оживает;
Свет проник в густую тень:
Пышно роза расцветает,
Как весною в красный день;
Луг пушится, зеленеет,
Клас сребрится вдалеке,
Плод златый на древе зреет,
Бальзам веет в ветерке.

Хор

Миллионы, веселитесь,
Миллионы, обнимитесь,
Как объемлет брата брат!
Лобызайтесь все стократ!

Птички снова прилетают
В наши рощи и леса;
Снова в песнях прославляют
Мир, свободу, небеса.
Агнец тигра не боится
И гуляет с ним в лугах;
Все творение дружится,
На земле и на водах.

Хор

Миллионы да ликуют!
Миллионы торжествуют!
Век Астреин, оживи!
С целым миром мы в любви!

В рощах слышны звуки лиры;
На брегах кристальных вод
Нимфы, фауны, сатиры
Составляют хоровод.
И силен неутомимой
Громким голосом поет;
Пляшет с нимфою любимой
И к веселью всех зовет.

Хор

Пойте, пойте духа радость! . .
Лейте, лейте в сердце сладость! .
Век Астреин, оживи!
С целым миром мы в любви!

Музы, грации, сплетая
Цепь из лавров и лилей,
Ею крылья обвивая
Бога тихих, райских дней,
Нежно все его ласкают
С видом счастливой любви
И в восторге восклицают:
«Вечно с нами, Мир, живи!»

Хор

Вечно с нами, Мир прелестный,
Вечно с нами, сын небесный,

Вечно с нами обитай
И блаженством нас питай!

Полно нам губить друг друга,
Сирым слезы проливать!
И печальная супруга
Да престанет горевать!
Долго смертные не знали,
Что блаженство есть любовь;
Счастья в хищности искали,
И лилась реками кровь.

Хор

Смертный ныне просветился
И ко дружбе обратился.
Век Астреин, оживи!
С целым миром мы в любви!

Цепь составьте, миллионы,
Дети одного отца!
Вам даны одни законы,
Вам даны одни сердца!
Братски, нежно обнимитесь
И клянитеся — любить!
Чувством, мыслию клянитесь:
Вечно, вечно в мире жить!

Хор

Мы клянемся все сердечно
В мире с братьями жить вечно!
Отче! слышишь клятву чад?
Мы твердим ее стократ.

1791

К МИЛОСТИ[1]

Что может быть тебя святее,
О Милость, дщерь благих небес?
Что краше в мире, что милее?
Кто может без сердечных слез,
Без радости и восхищенья,
Без сладкого в крови волненья
Взирать на прелести твои?

Какая ночь не озарится
От солнечных твоих очей?
Какой мятеж не укротится
Одной улыбкою твоей?
Речешь — и громы онемеют;
Где ступишь, там цветы алеют,
И с неба льется благодать.

Любовь твои стопы лобзает
И нежной матерью зовет;
Любовь тебя на трон венчает
И скиптр в десницу подает.
Текут, текут земные роды,
Как с гор высоких быстры воды,
Под сень державы твоея.

Блажен, блажен народ, живущий
В пространной области твоей!
Блажен певец, тебя поющий
В жару, в огне души своей!

---

[1] Писано в царствование Екатерины.

Доколе Милостию будешь,
Доколе права не забудешь,
С которым человек рожден;

Доколе гражданин довольный
Без страха может засыпать
И дети-подданные вольны
По мыслям жизнь располагать,
Везде природой наслаждаться,
Везде наукой украшаться
И славить прелести твои;

Доколе злоба, дщерь Тифона,
Пребудет в мрак удалена
От светлозолотого трона;
Доколе правда не страшна
И чистый сердцем не боится
В своих желаниях открыться
Тебе, владычице души;

Доколе всем даешь свободу
И света не темнишь в умах;
Пока доверенность к народу
Видна во всех твоих делах,—
Дотоле будешь свято чтима,
От подданных боготворима
И славима из рода в род.

Спокойствия твоей державы
Ничто не может возмутить;
Для чад твоих нет большей славы,
Как верность к матери хранить.
Там трон вовек не потрясется,
Где он любовию брежется
И где на троне — ты сидишь.

1792

ЭПИТАФИИ

Одна нежная мать просила меня сочинить нагробную надпись для умершей двулетней дочери ее. Я предложил ей на выбор следующие пять эпитафий; она выбрала последнюю и приказала вырезать ее на гробе.

1

Небесная душа на небо возвратилась,
К источнику всего, в объятия отца.
Пороком здесь она еще не омрачилась;
Невинностью своей пленяла все сердца.

2

И на земле она, как ангел, улыбалась:
Что ж там, на небесах?

3

В объятиях земли покойся, милый прах!
Небесная душа, ликуй на небесах!

4

Едва блеснула в ней небесная душа,
И к солнцу всех миров поспешно возвратилась.

5

Покойся, милый прах, до радостного утра!

1792

КЛАДБИЩЕ

Один голос

Страшно в могиле, хладной и темной!
Ветры здесь воют, гробы трясутся,
Белые кости стучат.

Другой голос

Тихо в могиле, мягкой, покойной.
Ветры здесь веют; спящим прохладно;
Травки, цветочки растут.

Первый

Червь кровоглàвый точит умерших,
В черепах желтых жабы гнездятся,
Змии в крапиве шипят.

Второй

Крепок сон мертвых, сладостен, кроток;
В гробе нет бури; нежные птички
Песнь на могиле поют.

Первый

Там обитают черные враны,
Алчные птицы; хищные звери
С ревом копают в земле.

Второй

Маленький кролик в травке зеленой
С милой подружкой там отдыхает;
Голубь на веточке спит.

Первый

Сырость со мглою, густо мешаясь,
Плавают тамо в воздухе душном;
Древо без листьев стоит.

Второй

Тамо струится в воздухе светлом
Пар благовонный синих фиалок,
Белых ясминов, лилей.

Первый

Странник боится мертвой юдоли;
Ужас и трепет чувствуя в сердце,
Мимо кладбища спешит.

Второй

Странник усталый видит обитель
Вечного мира — посох бросая,
Там остается навек.

<1792>

ПРОСТИ

Кто мог любить так страстно,
Как я любил тебя?
Но я вздыхал напрасно,
Томил, крушил себя!

Мучительно плениться,
Быть страстным одному!
Насильно полюбиться
Не можно никому.

Не знатен я, не славен:
Могу ль кого прельстить?
Не весел, не забавен:
За что меня любить?

Простое сердце, чувство
Для света ничего.
Там надобно искусство —
А я не знал его!

(Искусство величаться,
Искусство ловким быть,
Умнее всех казаться,
Приятно говорить.)

Не знал — и, ослепленный
Любовию своей,
Желал я, дерзновенный,
И сам любви твоей!

Я плакал, ты смеялась,
Шутила надо мной,—
Моею забавлялась
Сердечною тоской!

Надежды луч бледнеет
Теперь в душе моей. . .
Уже другой владеет
Навек рукой твоей! . .

Будь счастлива — покойна,
Сердечно весела,
Судьбой всегда довольна,
Супругу — ввек мила!

Во тьме лесов дремучих
Я буду жизнь вести,
Лить токи слез горючих,
Желать конца — прости!

1792

ПРИНОШЕНИЕ ГРАЦИЯМ

Любезные душе чувствительной и нежной,
Богини дружества,[1] утехи безмятежной!
Вы, кои в томну грудь — под мраком черных туч
Ужасныя грозы, носящейся над нами
В юдоли жизни сей,— лиете светлый луч
От взора своего и белыми руками,
С улыбкой на устах, сушите реки слез,
Текущие из глаз, печалью отягченных!
Богини кроткие, любимицы небес,
Подруги нежных муз и всех красот нетленных!
Вы, кои в миртовых и розовых венках,
Обнявшись, ходите по рощам и долинам,
По бархатным лугам, фиалкам и ясминам,
Цветущий образ свой являете в ручьях,
Приветствуете нимф, в источниках живущих,
И мирных пастухов, красу весны поющих!
О вы, которых вся земля боготворит
И счастливый мудрец и дикий свято чтит;
Которым вместо жертв и вместо фимиама
Приносятся сердца; которым вместо храма
Пространный служит мир; без коих красота
Не может нас пленять, и самая природа
Была бы без души, печальна и пуста;
Без коих жизнь мертва, не сладостна свобода,
Не ясен солнца свет и сердцу нет отрад;
Которых прелести божественный Сократ
Искусною рукой на мраморе представил [2]

---

[1] Древние при алтаре граций заключали союзы дружества.
[2] Известно, что Сократ изваял образ граций.

И новый Теокрит[1] на стройной лире славил!
Богини милые! благословите сей
Свободный плод моих часов уединенных,
Природе, тишине и музам посвященных!
Вручаю вам его, сей дар души моей.
С улыбкою любви, небесные, примите
Что вам дарит любовь; улыбкой освятите
Сплетенный мной венок из белых тубероз,
Из свежих ландышей, из юных алых роз:
Для вас одних сплетен он чистою рукою.
Но, ах! на нем слеза... Простите мне ее:
Я друга потерял! .. Пред вами ль грусть сокрою,
Прискорбие души, уныние мое?
Ах, нет! от вас я жду, любезных, утешенья,
Луча во мрачности и в горе услажденья! ..
Примите малый дар — клянуся вас любить,
Богини милые, доколе буду жить!

1793

[1] Геснер.

ВОЛГА

Река священнейшая в мире,
Кристальных вод царица, мать!
Дерзну ли я на слабой лире
Тебя, о Волга! величать,
Богиней песни вдохновенный,
Твоею славой удивленный?
Дерзну ль игрою струн моих,
Под шумом гордых волн твоих —
Их тонкой пеной орошаясь,
Прохладой в сердце освежаясь —
Хвалить красу твоих брегов,
Где грады, веси процветают,
Поля волнистые сияют
Под тению густых лесов,
В которых древле раздавался
Единый страшный рев зверей
И эхом ввек не повторялся
Любезный слуху глас людей,—
Брегов, где прежде обитали
Орды Златыя племена;
Где стрелы в воздухе свистали
И где неверных знамена
Нередко кровью обагрялись
Святых, но слабых християн;
Где враны трупами питались
Несчастных древних россиян;

Но где теперь одной державы
Народы в тишине живут
И все одну богиню чтут,
Богиню счастия и славы,[1]—
Где в первый раз открыл я взор,
Небесным светом озарился
И чувством жизни насладился;
Где птичек нежных громкий хор
Воспел рождение младенца;
Где я природу полюбил,—
Ей первенцы души и сердца,
Слезу, улыбку, посвятил
И рос в веселии невинном,
Как юный мирт в лесу пустынном?
Дерзну ли петь, о мать река!
Как ты, красуяся в теченье
По злату чистого песка,
Несешь земли благословенье[2]
На сребряном хребте своем,
Везде щедроты разливаешь,
Везде страны обогащаешь
В блистательном пути твоем;
Как быстро плаватель бесстрашной
Летит на парусных крылах
Среди пучин стихии влажной,
В твоих лазоревых зыбях,
Хваля свой жребий, милость неба,
Хваля благоприятный ветр,
И как, прельщенный светом Феба,
Со дна подъемлется осетр,
Играет наверху с волнами,
С твоими пенными буграми,
И плесом рассекает их?
Когда ж под тучами со гневом,
С ужасным шумом, грозным ревом,
Начнешь кипеть в брегах своих,—
Как вихри воздух раздирают,
Как громы с треском ударяют

---

[1] Писано в царствование Екатерины.
[2] То есть суда с хлебом и с другими плодами земли.

И молнии шипят в волнах,
Когда пловцы, спастись не чая
И к небу руки простирая,
Хлад смерти чувствуют в сердцах,—
Какая кисть дерзнет представить
Великость зрелища сего?
Какая песнь возможет славить
Ужасность гнева твоего?..
Едва и сам я в летах нежных,
Во цвете радостной весны,
Не кончил дней в водах мятежных
Твоей, о Волга! глубины.
Уже без ветрил, без кормила
По безднам буря нас носила;
Гребец от страха цепенел;
Уже зияла хлябь под нами
Своими пенными устами;
Надежды луч в душах бледнел;
Уже я с жизнию прощался,
С ее прекрасною зарей;
В тоске слезами обливался
И ждал погибели своей...
Но вдруг творец изрек *спасенье* —
Утихло бурное волненье,
И брег с улыбкой нам предстал.
Какой восторг! какая радость!
Я землю страстно лобызал
И чувствовал всю жизни сладость.—
Сколь ты в величии своем,
О Волга! яростна, ужасна,
Столь в благости мила, прекрасна:
Ты образ божий в мире сем!

Теки, Россию украшая;
Шуми, священная река,
Свою великость прославляя,—
Доколе времени рука
Не истощит твоей пучины...
Увы! сей горестной судьбины
И ты не можешь избежать:

И ты должна свой век скончать!
Но прежде многие народы
Истлеют, превратятся в прах,
И блеск цветущия природы
Померкнет на твоих брегах.[1]

1793

[1] Мысль, что природа стареется, есть не только пиитическая мысль; самые философы и натуралисты не отвергают ее.

К СОЛОВЬЮ

Пой во мраке тихой рощи,
Нежный, кроткий соловей!
Пой при свете лунной нощи!
Глас твой мил душе моей.
Но почто ж рекой катятся
Слезы из моих очей,
Чувства ноют и томятся
От гармонии твоей?
Ах! я вспомнил незабвенных,
В недрах хладныя земли
Хищной смертью заключенных;
Их могилы заросли
Все высокою травою.
Я остался сиротою...
Я остался в горе жить,
Тосковать и слезы лить!..
С кем теперь мне наслаждаться
Нежной песнию твоей?
С кем природой утешаться?
Все печально без друзей!
С ними дух наш умирает,
Радость жизни отлетает;
Сердцу скучно одному —
Свет пустыня, мрак ему.

Скоро ль песнию своею,
О любезный соловей,
Над могилою моею
Будешь ты пленять людей?

1793

МОЛИТВА О ДОЖДЕ

Мать любезная, Природа!
От лазоревого свода
Дождь шумящий ниспошли
Оросить лицо земли!

Все томится, унывает;
Зелень в поле увядает;
Сохнет травка и цветок —
Нежный ландыш, василек
Пылью серою покрыты —
Не питает их роса...
Дети матерью забыты!

Солнце жжет, палит леса.
Птички в рощах замолчали;
Ищут только холодка.
Ручейки журчать престали;
Истощилася река.
Агнец пищи не находит:
Черен холм и черен дол.
Конь в степи печально бродит;
Тощ и слаб ревущий вол.

Ах! такой ли ждал награды
Земледелец за труды?
Гибнут все его плоды!..
В горькой части без отрады
Он терзается тоской;
За себя, за чад страдает

И блестящею слезой
Хлеб иссохший орошает.
Дети плачут вместе с ним;
Игры все немилы им!

Мать любезная, Природа!
От лазоревого свода
Дождь шумящий ниспошли
Оросить лицо земли!

Ах! доселе ты внимала
Крику слабого птенца
И в печалях утешала
Наши томные сердца:
Неужель теперь забудешь
В нужде, в скорби чад своих?
Неужель теперь не будешь
Нежной матерью для них? —
Нет, тобою оживятся
Наши мертвые поля;
Вновь украсится земля,
Песни в рощи возвратятся,
Благодарный фимиам
Воскурится к небесам!

1793

СТРАННОСТЬ ЛЮБВИ, ИЛИ БЕССОННИЦА

Кто для сердца всех страшнее?
Кто на свете всех милее?
Знаю: милая моя!

«Кто же милая твоя?»
Я стыжусь; мне, право, больно
Странность чувств моих открыть
И предметом шуток быть.
Сердце в выборе не вольно! ..
Что сказать? Она... она...
Ах! нимало не важна
И талантов за собою
Не имеет никаких;
Не блистает остротою,
И движеньем глаз своих
Не умеет изъясняться;
Не умеет восхищаться
Аполлоновым огнем;
Философов не читает
И в невежестве своем
Всю ученость презирает.
Знайте также, что она
Не Венера красотою —
Так худа, бледна собою,
Так эфирна и томна,
Что без жалости не можно
Бросить взора на нее.
Странно! .. я люблю ее!

«Что ж такое думать должно?
Уверяют старики
(В этом деле знатоки),
Что любовь любовь рождает,—
Сердце нравится любя:
Может быть, она пленяет
Жаром чувств своих тебя;
Может быть, она на свете
Не имеет ничего
Для души своей в предмете,
Кроме сердца твоего?
Ах! любовь и страсть такая
Есть небесная, святая!
Ум блестящий, красота
Перед нею суета».

Нет! .. К чему теперь скрываться?
Лучше искренно признаться
Вам, любезные друзья,
Что жестокая моя
Нежной, страстной не бывала
И с любовью на меня
Глаз своих не устремляла.
Нет в ее душе огня!
Тщетно пламенем пылаю —
В милом сердце лед, не кровь!
Так, как Эхо,[1] иссыхаю —
Нет ответа на любовь!

Очарован я тобою,
Бог, играющий судьбою,
Бог коварный — Купидон!
Ядовитою стрелою
Ты лишил меня покою.
Как ужасен твой закон,
Мудрых мудрости лишая
И ученых кабинет
В жалкий Бедлам [2] превращая,

[1] Т. е. нимфа, которая от любви к Нарциссу превратилась в ничто и которой вздохи слышим мы иногда в лесах и пустынях и называем эхом.

[2] Дом сумасшедших в Лондоне.

Где безумие живет!
Счастлив, кто не знает страсти!
Счастлив хладный человек,
Не любивший весь свой век!..
Я завидую сей части
И с Титанией люблю
Всем насмешникам в забаву!..[1]
По небесному уставу
Днем зеваю, ночь не сплю.

1793

---

[1] Любопытные могут прочитать третье действие, вторую сцену Шекспировой пьесы «Midsummer-night's dream» <Сон в летнюю ночь>.

<ПЕСНЯ
ИЗ ПОВЕСТИ «ОСТРОВ БОРНГОЛЬМ»>

Законы осуждают
Предмет моей любви;
Но кто, о сердце, может
Противиться тебе?

Какой закон святее
Твоих врожденных чувств?
Какая власть сильнее
Любви и красоты?

Люблю — любить ввек буду.
Кляните страсть мою,
Безжалостные души,
Жестокие сердца!

Священная Природа!
Твой нежный друг и сын
Невинен пред тобою.
Ты сердце мне дала;

Твои дары благие
Украсили ее,—
Природа! ты хотела,
Чтоб Лилу я любил!

Твой гром гремел над нами,
Но нас не поражал,
Когда мы наслаждались
В объятиях любви.

О Борнгольм, милый Борнгольм!
К тебе душа моя
Стремится беспрестанно;
Но тщетно слезы лью,

Томлюся и вздыхаю!
Навек я удален
Родительскою клятвой
От берегов твоих!

Еще ли ты, о Лила,
Живешь в тоске своей?
Или в волнах шумящих
Скончала злую жизнь?

Явися мне, явися,
Любезнейшая тень!
Я сам в волнах шумящих
С тобою погребусь.

1793

<ИЗ ЛИРИЧЕСКОЙ ПРОЗЫ «АФИНСКАЯ ЖИЗНЬ»>

1

Весело в поле работать:
Будьте прилежны, друзья!
Класы златые ссекайте
Махом блестящей косы!

Солнце сияет над нами;
Птицы в кусточках поют.
Весело в поле работать:
Будьте прилежны, друзья!

Чувствуйте милость Цереры,
Доброй богини плодов!
Жителям неба любезен
Глас благодарных сердец.

Скоро настанет и вечер;
Вечер для отдыха дан.
Пользуйтесь часом работы,
Пользуйтесь временем дня!

Весело в поле работать:
Будьте прилежны, друзья!
Класы златые ссекайте
Махом блестящей косы!

Звери работы не знают,
Птицы живут без труда;
Люди не звери, не птицы —
Люди работой живут.

2

<ИЗ «ЭДИПА В КОЛОНЕ» СОФОКЛА>

<Эдип>

Гремит ужасный гром, небесный свод пылает —
О боги! час настал погибели моей!
Эдип, Эдип сей мир навеки оставляет
И сердца своего любезнейших друзей! ..
Простите! .. гром гремит!

Хор

Гром гремит
И разит! ..
Мы сердцами
И слезами
Молим вас,
Боги гнева
И Эрева,
В страшный час!
Ах! пошлите
Солнца луч!
Разгоните
Мраки туч! ..
Нет спасенья,
Избавленья
Нам в бедах! ..
Погибаем! ..
Ощущаем
Смерть в сердцах!

3

<К ОТЕЧЕСТВУ

(песнь афинян)>

Цвети, отечество святое,
Сынам любезное, драгое!
Мы все боготворим тебя
И в жертву принести себя
Для пользы твоея готовы.
Ах! смерть ничто, когда оковы
И стыд грозят твоим сынам!

Так древле Кодры умирали,
Так Леониды погибали
В пример героям и друзьям.
Союз родства и узы крови
Не так священны для сердец,
Как свят закон твоей любови.
Оставит милых чад отец,
И сын родителя забудет,
Спеша отечеству служить;
Умрет он, но потомство будет
Героя полубогом чтить.

4

< ПЕСНЬ ВАКХУ >

Вакх не терпит мрачных взоров;
Вакх, любитель громких хоров,
Радость в сердце тихо льет;
Зависть, злобу истребляет;
Горесть, скорби умерщвляет;
В мире с добрыми живет.

Пойте Вакха, пойте радость;
Пойте счастье, пойте младость —
Вакх прекрасный вечно юн,
Вакх, любитель звонких струн.

Впредь что будет, мы не знаем,
Что прошло — позабываем:
Настоящее для нас.
Презрим суетность земную,
Важность скучную, пустую;
Час веселья — сладкий час.

Пойте Вакха, пойте радость;
Пойте счастье, пойте младость —
Вакх прекрасный вечно юн,
Вакх, любитель звонких струн.

5

<АМУР В ПЛЕНУ У МУЗ>

Я неволен,
Но доволен
И желаю пленным быть.
Милы узы
Ваши, музы:
Их не тягостно носить.
Что мне в воле?
Я в неволе
Весел, счастлив и блажен.
Наслаждаюсь,
Восхищаюсь
И любовью упоен.

6

<ПЕСНЬ САФИНА>

Почто, о бог любви коварный,
Ты грудь мою стрелой пронзил?
Почто Фаон неблагодарный
Меня красой своей пленил?

Почто? — Фаон не знает страсти,
Фаон не ведает любви,
Ее над сердцем лютой власти,
Огня, волнения в крови!

Когда на юношу взираю,
Мрачится свет в моих глазах —
Дрожу, томлюся, умираю
В восторге, в пламенных слезах.[1]

Мне все противно, все постыло,
Когда сокроется Фаон;
Брожу в лесах одна уныло,—
Зрю тьму везде и слышу стон.

---

[1] Читатель вспомнит последнюю строфу известной Сафиной оды.

Жестокий Сафы убегает:
Ему несносен взор ея.
Жестокий Сафою скучает:
Ему несносна жизнь моя!

Начто же мне вздыхать, томиться?
Любовь злосчастная есть ад.
Иду от страсти исцелиться
В твоих пучинах, о Левкад! [1]

Пусть жизнь с любовью прекратится
В шумящих пенистых волнах:
Река забвения струится
В блаженных Орковых странах.[2]

Ее питательные воды
Жар груди, сердца прохладят,
И счастье мирныя свободы
Невинной Сафе возвратят.

Я там жестокого забуду,
Как утром забывают сон...
О радость!.. я любить не буду
Тебя, безжалостный Фаон!

Невидимый хор

Погибает!.. Погибает!..
Бездна Сафу поглощает!
Лира Сафина в волнах —
Нет души в ее струнах!
Жертва страсти, не порока!
Жертва бедственного рока!
Дар небесный, сладкий глас,
От судьбы тебя не спас!

---

[1] Древние греки думали, что несчастные любовники, бросаясь в море с Левкадской скалы, исцеляются от своей страсти; многие бросались и — погибали.

[2] Мифология говорит, что в странах Орковых, то есть в жилище мертвых, течет Лета, *река забвения*. Души умерших прежде всего к ней провождаются — пьют с жадностию воду ее и забывают все горести земной жизни. Прекрасная выдумка! и много таких найдем мы в греческой мифологии.

<СМЕРТЬ ОРФЕЕВА>

Нимфы, плачьте! нет Орфея! . .
Ветр унылый, тихо вея,
Нам вещает: *нет его!*
Ярость фурий исступленных,
Гнусной страстью воспаленных,
Прекратила жизнь того,
Кто пленял своей игрою
Кровожаждущих зверей,
Гармонической струною
Трогал сердце лютых грей
И для нежной Эвридики
В Тартар мрачный нисходил.
Ах, стенайте! — берег дикий
Прах его в себя вместил.
Сиротеющая лира
От дыхания зефира
Звук печальный издает:
Нет певца! Орфея нет!
Эхо повторяет: *нет!*
Над могилою священной,
Мягким дерном покровенной,
Филомела слезы льет.

1793

ПОСЛАНИЕ К ДМИТРИЕВУ

В ОТВЕТ НА ЕГО СТИХИ, В КОТОРЫХ ОН ЖАЛУЕТСЯ НА СКОРОТЕЧНОСТЬ СЧАСТЛИВОЙ МОЛОДОСТИ

Конечно так,— ты прав, мой друг!
Цвет счастья скоро увядает,
И юность наша есть тот луг,
Где сей красавец расцветает.
Тогда в эфире мы живем
И нектар сладостный пием
Из полной олимпийской чаши;
Но жизни алая весна
Есть миг — увы! пройдет она,
И с нею мысли, чувства наши
Лишатся свежести своей.
Что прежде душу веселило,
К себе с улыбкою манило,
Не мило, скучно будет ей.
Надежды и мечты златые,
Как птички, быстро улетят,
И тени хладные, густые
Над нами солнце затемнят,—
Тогда, подобно Иксиону,
Не милую свою Юнону,
Но дым увидим пред собой! [1]

И я, о друг мой, наслаждался
Своею красною весной;
И я мечтами обольщался —
Любил с горячностью людей,

[1] Известно из мифологии, что Иксион, желая обнять Юнону, обнял облако и дым.

Как нежных братий и друзей;
Желал добра им всей душею;
Готов был кровию моею
Пожертвовать для счастья их
И в самых горестях своих
Надеждой сладкой веселился
Небесполезно жить для них —
Мой дух сей мыслию гордился!
Источник радостей и благ
Открыть в чувствительных душах;
Пленить их истиной святою,
Ее нетленной красотою;
Орудием небесным быть
И в памяти потомства жить
Казалось мне всего славнее,
Всего прекраснее, милее!
Я жребий свой благословлял,
Любуясь прелестью награды,—
И тихий свет моей лампады
С звездою утра угасал.
Златое дневное светило
Примером, образцом мне было...
Почто, почто, мой друг, не век
Обманом счастлив человек?

Но время, опыт разрушают
Воздушный замок юных лет;
Красы волшебства исчезают...
Теперь иной я вижу свет,—
И вижу ясно, что с Платоном
Республик нам не учредить,
С Питтаком, Фалесом, Зеноном
Сердец жестоких не смягчить.
Ах! зло под солнцем бесконечно,
И люди будут — люди вечно.
Когда несчастных Данаид[1]
Сосуд наполнится водою,
Тогда, чудесною судьбою,
Наш шар приимет лучший вид:

[1] Они в подземном мире льют беспрестанно воду в худой сосуд.

Сатурн на землю возвратится
И тигра с агнцем помирит;
Богатый с бедным подружится,
И слабый сильного простит.
Дотоле истина опасна,
Одним скучна, другим ужасна;
Никто не хочет ей внимать,
И часто яд тому есть плата,
Кто гласом мудрого Сократа
Дерзает буйству угрожать.
Гордец не любит наставленья,
Глупец не терпит просвещенья —
Итак, лампаду угасим,
Желая доброй ночи им.

Но что же нам, о друг любезный,
Осталось делать в жизни сей,
Когда не можем быть полезны,
Не можем пременить людей?
Оплакать бедных смертных долю
И мрачный свет предать на волю
Судьбы и рока: пусть они,
Сим миром правя искони,
И впредь творят что им угодно!
А мы, любя дышать свободно,
Себе построим тихий кров
За мрачной сению лесов,
Куда бы злые и невежды
Вовек дороги не нашли
И где б, без страха и надежды,
Мы в мире жить с собой могли,
Гнушаться издали пороком
И ясным, терпеливым оком
Взирать на тучи, вихрь сует,
От грома, бури укрываясь
И в чистом сердце наслаждаясь
Мерцанием вечерних лет,
Остатком теплых дней осенних.
Хотя уж нет цветов весенних
У нас на лицах, на устах
И юный огнь погас в глазах;
Хотя красавицы престали

Меня любезным называть
(Зефиры с нами отыграли!),
Но мы не должны унывать:
Живем по общему закону!..
Отелло в старости своей
Пленил младую Дездемону[1]
И вкрался тихо в сердце к ней
Любезных муз прелестным даром.
Он с нежным, трогательным жаром
В картинах ей изображал,
Как случай в жизни им играл;
Как он за дальними морями,
Необозримыми степями,
Между ревущих, пенных рек,
Среди лесов густых, дремучих,
Песков горящих и сыпучих,
Где люди не бывали ввек,
Бесстрашно в юности скитался,
Со львами, тиграми сражался,
Терпел жестокий зной и хлад,
Терпел усталость, жажду, глад.
Она внимала, удивлялась;
Брала участие во всем;
В опасность вместе с ним вдавалась
И в нежном пламени своем,
С блестящею в очах слезою,
Сказала: я люблю тебя!
И мы, любезный друг, с тобою
Найдем подругу для себя,
Подругу с милою душею,
Она приятностью своею
Украсит запад наших дней.
Беседа опытных людей,
Их басни, повести и были
(Нас лета сказкам научили!)
Ее внимание займут,
Ее любовь приобретут.
Любовь и дружба — вот чем можно
Себя под солнцем утешать!
Искать блаженства нам не должно,

---

[1] Смотри Шекспирову трагедию «Отелло».

Но должно — менее страдать;
И кто любил, кто был любимым,
Был другом нежным, другом чтимым,
Тот в мире сем недаром жи'
Недаром землю бременил.

Пусть громы небо потрясают,
Злодеи слабых угнетают,
Безумцы хвалят разум свой!
Мой друг! не мы тому виной.
Мы слабых здесь не угнетали
И всем ума, добра желали:
У нас не черные сердца!
И так без трепета и страха
Нам можно ожидать конца
И лечь во гроб, жилище праха.
Завеса вечности страшна
Убийцам, кровью обагренным,
Слезами бедных орошенным.
В ком дух и совесть без пятна,
Тот с тихим чувствием встречает
Златую Фебову стрелу,[1]
И ангел мира освещает
Пред ним густую смерти мглу.
Там, там, за синим океаном,
Вдали, в мерцании багряном,
Он зрит... но мы еще не зрим.

1794

---

[1] Древние поэты говорили, что златая Фебова стрела приносит смерть человеку.

ПОСЛАНИЕ К АЛЕКСАНДРУ АЛЕКСЕЕВИЧУ ПЛЕЩЕЕВУ

Мой друг! вступая в шумный свет
С любезной, искренней душею,
В весеннем цвете юных лет,
Ты хочешь с музою моею
В свободный час поговорить
О том, чего все ищут в свете;
Что вечно у людей в предмете;
О чем позволено судить
Ученым, мудрым и невежде,
Богатым в золотой одежде
И бедным в рубище худом,
На тронах, славой окруженных,
И в сельских хижинах смиренных;
Что в каждом климате земном
Надежду смертных составляет,
Сердца всечасно обольщает,
Но, ах! .. не зримо ни в одном!

О счастьи слово. Удалимся
Под ветви сих зеленых ив;
Прохладой чувства освежив,
Мы там беседой насладимся
В любезной музам тишине.[1]

Мой друг! поверишь ли ты мне,
Чтоб десять тысяч было мнений,
Ученых философских прений

[1] Сии стихи писаны в самом деле под тению ив.

В архивах древности седой[1]
О средствах жить счастливо в свете,
О средствах обрести покой?
Но точно так, мой друг; в сем счете
Ошибки нет. Фалес, Хилон,
Питтак, Эпименид, Критон,
Бионы, Симмии, Стильпоны,
Эсхины, Эммии, Зеноны,
В лицее, в храмах и садах,
На бочках, темных чердаках
О благе вышнем говорили
И смертных к счастию манили
Своею... нищенской клюкой,
Клянясь священной бородой,
Что плод земного совершенства
В саду их мудрости растет;
Что в нем нетленный цвет блаженства
Как роза пышная, цветет.
Слова казалися прекрасны,
Но только были несогласны.
Один кричал: ступай туда!
Другой: нет, нет, поди сюда!
Что ж греки делали? Смеялись;
Ученой распрей забавлялись,
А счастье... называли сном!

И в наши времена о том
Бывает много шуму, спору.
Не мало новых гордецов,
Которым часто без разбору
Дают званье мудрецов;
Они нам также обещают
Открыть прямой ко счастью след;
В глаза же счастия не знают;
Живут, как все, под игом бед;
Живут, и горькими слезами
Судьбе тихонько платят сами
За право умниками слыть,
О счастьи в книгах говорить!

---

[1] Десять тысяч!! Читатель может сомневаться в верности счета; но один из древних же авторов пишет, что их было точно десять тысяч.

Престанем льстить себя мечтою,
Искать блаженства под луною!
Скорее, друг мой, ты найдешь
Чудесный философский камень,
Чем век без горя проживешь.
Япетов сын эфирный пламень
Похитил для людей с небес,
Но счастья к ним он не принес;
Оно в удел нам не досталось
И там, с Юпитером, осталось.
Вздыхай, тужи; но пользы нет!
Судьбы рекли: «да будет свет
Жилищем призраков, сует,
Немногих благ и многих бед!»
Рекли — и суеты спустились
На землю шумною толпой:
Герои в латы нарядились,
Пленяся Славы красотой;
Мечом махнули, полетели
В забаву умерщвлять людей;
Одни престолов захотели,
Другие самых алтарей;
Одни шумящими рулями
Рассекли пену дальних вод;
Другие мощными руками
Отверзли в землю темный ход,
Чтоб взять пригоршни светлой пыли!
Мечты всем головы вскружили,
А горесть врезалась в сердца.
Народов сильных победитель
И стран бесчисленных властитель
Под блеском светлого венца
В душевном мраке унывает
И часто сам того не знает,
На что величия желал
И кровью лавры омочал!
Смельчак, Америку открывший,
Пути ко счастью не открыл;
Индейцев в цепи заключивший
Цепями сам окован был,
Провел и кончил жизнь в страданье.—
А сей вздыхающий скелет,

Который богом чтит стяжанье,
Среди богатств в тоске живет! ..
Но кто, мой друг, в морской пучине
Глазами волны перечтет?
И кто представит нам в картине
Ничтожность всех земных сует?

Что ж делать нам? Ужель сокрыться
В пустыню Муромских лесов,
В какой-нибудь безвестный кров,
И с миром навсегда проститься,
Когда, к несчастью, мир таков?
Увы! Анахорет не будет
В пустыне счастливее нас!
Хотя земное и забудет;
Хотя умолкнет страсти глас
В его душе уединенной,
Безмолвным мраком огражденной,
Но сердце станет унывать,
В груди холодной тосковать,
Не зная, чем ему заняться.
Тогда пустыннику явятся
Химеры, адские мечты,
Плоды душевной пустоты!
Чудовищ грозных миллионы,
Змеи летучие, драконы,
Над ним крылами зашумят
И страхом ум его затмят...[1]
В тоске он жизнь свою скончает!

Каков ни есть подлунный свет;
Хотя блаженства в оном нет;
Хотя в нем горесть обитает,—
Но мы для света рождены,
Душой, умом одарены
И должны в нем, мой друг, остаться.
Чем можно будем наслаждаться,
Как можно менее тужить,
Как можно лучше, тише жить,
Без всяких суетных желаний,

[1] Многие пустынники, как известно, сходили с ума в уединении.

Пустых, блестящих ожиданий;
Но что приятное найдем,
То с радостью себе возьмем.
В лесах унылых и дремучих
Бывает краше анемон,
Когда украдкой выдет он
Один среди песков сыпучих;
Во тьме густой, в печальной мгле
Сверкнет луч солнца веселее:
Добра не много на земле,
Но есть оно — и тем милее
Ему быть должно для сердец.
Кто малым может быть доволен,
Не скован в чувствах, духом волен,
Не есть чинов, богатства льстец;
Душою так же прям, как станом;
Не ищет благ за океаном
И с моря кораблей не ждет,
Шумящих ветров не робеет,
Под солнцем домик свой имеет,
В сей день для дня сего живет
И мысли в даль не простирает;
Кто смотрит прямо всем в глаза;
Кому несчастного слеза
Отравы в пищу не вливает;
Кому работа не трудна,
Прогулка в поле не скучна
И отдых в знойный час любезен;
Кто ближним иногда полезен
Рукой своей или умом;
Кто может быть приятным другом,
Любимым, счастливым супругом
И добрым милых чад отцом;
Кто муз от скуки призывает
И нежных граций, спутниц их;
Стихами, прозой забавляет
Себя, домашних и чужих;
От сердца чистого смеется
(Смеяться, право, не грешно!)
Над всем, что кажется смешно,—
Тот в мире с миром уживется
И дней своих не прекратит

Железом острым или ядом;
Тому сей мир не будет адом;
Тот путь свой розой оцветит
Среди колючих жизни терний,
Отраду в горестях найдет,
С улыбкой встретит час вечерний
И в полночь тихим сном заснет.

1794

К НЕЙ

Тебе ли думать, друг бесценный,
Что есть изменники в любви?
Огонь, тобою воспаленный,
Погаснет ли когда в крови?
Погаснет с жизнию, не прежде!

И мне ль непостоянным быть?
Мне ль порхать бабочкой, в надежде
Другую более любить?
Я всех неверных презираю
И с ними наш холодный век.
Как может в жизни человек
Два раза быть влюблен, не знаю:
Не станет сердца, милый друг,
И сила в чувствах ослабеет.
Однажды роза в год алеет,
Однажды красится ей луг;
Однажды любим всей душою —
Чтоб счастье райское вкусить
Или глаза навек закрыть
Со вздохом горести, с тоскою!

1794

АГЛАЯ.

Les Esprits bien faits qui ne peuvent lire mon cœur, liront au moins mon livre.

Боннетъ.

КНИЖКА I.

1794.





МОСКВА,

въ Университетской Типографіи,

у Ридигера и Клаудія.

Титульный лист сборника «Аглая», издававшегося Н. М. Карамзиным

ДВЕ ПЕСНИ

1

Мы желали — и свершилось!..
Лиза! Небо любит нас.
Постоянство наградилось:
Ты моя! — Блаженный час!

Быть счастливейшим супругом,
Быть любимым и любить,
Быть любовником и другом..
Ах! я рад на свете жить!

Рад терпеть, чего не можно
В здешней жизни избежать;
Рад и плакать, если должно
Смертным слезы проливать.

Нежность горе услаждает;
Дружба милою рукой
Слез потоки отирает
И вселяет в грудь покой.

Будь единственным предметом
Страсти сердца моего!
Я навек простился с светом;
Мне наскучил шум его.

Пусть Прелесты там сияют
Блеском хитростей своих;

Пусть они других прельщают;
Пусть другие любят их!

Было время заблуждений;
Я, как бабочка, летал
Вкруг блестящих привидений —
Сердца в мраморе искал!

Сон исчез — и я увидел,
Что игрушкой хитрых был;
Всех Прелест возненавидел
И невинность полюбил.

Ты одна любви достойна;
Я нашел чего искал,
И душа моя спокойна,
Все сбылось, чего желал!

Свет забудет нас с тобою:
Что нам нужды, Лиза, в нем?
Мы с любовию одною
Век без скуки проживем.

2

Доволен я судьбою
И милою богат.
О Лиза! кто с тобою
И бедности не рад?

С тобою жизни бремя
Меня не тяготит;
С тобою, друг мой, время
Как молния летит.

Не зная, что есть слава,
Я славлю жребий свой.
Труды с тобой — забава;
В твоих глазах — покой.

Ты взглянешь — забываю
Суровость мрачных дней;

В болезнях оживаю
Улыбкою твоей.

Когда ты скажешь: милый! —
Проходит грусть моя,
Светлеет взор унылый,
Спокоен, весел я!

Тот беден, кто в сем мире
Живет лишь для себя.
Я был бы и в порфире
Несчастлив без тебя.

Но если рок ужасный
Нас, Лиза, разлучит?
Что буду я, несчастный? ..
Сырой землей покрыт!

Две горлицы покажут
Тебе мой хладный прах;
Воркуя томно, скажут:
Он умер во слезах!

1794(?)

ПРИПИСАНИЕ К Г-ЖЕ N,

КОТОРАЯ ЖЕЛАЛА, ЧТОБ Я СПИСАЛ ДЛЯ НЕЕ СИИ ДВЕ ПЕСНИ

Невольник в тягостных цепях
О воле милой помышляет,
Старик о юных, красных днях;
Томимый жаждой вспоминает
О светлых, ясных ручейках.
А я чем сердце занимаю?
О счастливой любви мечтаю!

1794

СТИХИ ОТ ДЕ МАЗЮРА К И. И. ДМИТРИЕВУ

Усердно с праздником я друга поздравляю;
Честнейшим образом ему того желаю,
Чего себе едва ль он может пожелать.
Желание сие я вздумал отослать
Со оным хлопцем-то, ко мне сей день присланным
И сей же от меня к тебе — ах! — отосланным.
Желание сие сосложено в стихах,
Да ведаешь сие, что ум наш не в голях.

Семион де Мазюр

P. S. Еще не утерпел, чтоб боле не сказати;
Хощу еще, мой друг, сей день я похваляти.
Коль красен вить сей день и коль — ах! — солнечн есть!
Туманов, мрака в нем совсем, совсем — ах! — несть.
Мой дух поэзии теперь весьма играет,
И красный день зимы весьма он похваляет.

1794(?)

ИЛЬЯ МУРОМЕЦ

Богатырская сказка [1]

Le monde est vieux, dit-on: je le crois; cependant
Il le faut amuser encore comme un enfant.

La Fontaine [2]

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Не хочу с поэтом Греции
звучным гласом Каллиопиным
петь вражды Агамемноновой
с храбрым правнуком Юпитера;
или, следуя Виргилию,
плыть от Трои разоренныя
с хитрым сыном Афродитиным
к злачным берегам Италии.
Не желаю в мифологии
черпать дивных, странных вымыслов.
Мы не греки и не римляне;
мы не верим их преданиям;
мы не верим, чтобы бог Сатурн
мог любезного родителя
превратить в урода жалкого;
чтобы Леды были — курицы
и несли весною яица;

---

[1] Вот начало безделки, которая занимала нынешним летом уединенные часы мои. Продолжение остается до другого времени; конца еще нет,— может быть, и не будет. В рассуждении меры скажу, что она совершенно русская. Почти все наши старинные песни сочинены такими стихами.

[2] Говорят, человечество старо; я этому верю; и все же его приходится развлекать, как ребенка. *Лафонтен.— Ред.*

чтобы Поллуксы с Еленами
родились от белых лебедей.
Нам другие сказки надобны;
мы другие сказки слышали
от своих покойных мамушек.
Я намерен слогом древности
рассказать теперь одну из них
вам, любезные читатели,
если вы в часы свободные
удовольствие находите
в русских баснях, в русских повестях,
в смеси былей с небылицами,
в сих игрушках мирной праздности,
в сих мечтах воображения.
Ах! не всё нам горькой истиной
мучить томные сердца свои!
ах! не всё нам реки слезные
лить о бедствиях существенных!
На минуту позабудемся
в чародействе красных вымыслов!

Не хочу я на Парнас идти;
нет! Парнас гора высокая,
и дорога к ней не гладкая.
Я видал, как наши витязи,
наши стихо-рифмо-детели,
упиваясь одопением,
лезут на вершину Пиндову,
обступаются и вниз летят,
не с венцами и не с лаврами,
но с ушами (ах!) ослиными,
для позорища насмешникам!
Нет, любезные читатели!
я прошу вас не туда с собой.
Близ моей смиренной хижины,
на брегу реки прозрачныя,
роща древняя, дубовая
нас укроет от лучей дневных.
Там мой дедушка на старости
в жаркий полдень отдыхал всегда

на коленях милой бабушки;
там висит его пернатый шлем;
там висит его булатный меч,
коим он врагов отечества
за гордыню их наказывал
(кровь турецкая и шведская
и теперь еще видна на нем).
Там я сяду на брегу реки
и под тенью древ развесистых
буду повесть вам рассказывать.
Там вы можете тихохонько,
если скучно вам покажется,
раза два зевнув, сомкнуть глаза.

Ты, которая в подсолнечной
всюду видима и слышима;
ты, которая, как бог Протей,
всякий образ на себя берешь,
всяким голосом умеешь петь,
удивляешь, забавляешь нас,—
все вещаешь, кроме... истины;
объявляешь с газетирами
сокровенности политики;
сочиняешь с стихотворцами
знатным похвалы прекрасные;
величаешь Пантомороса[1]
славным, беспримерным автором;
с алхимистом открываешь нам
тайну камня философского;
изъясняешь с систематиком
связь души с телесной сущностью
и свободы человеческой
с непременными законами;
ты, которая с Людмилою
нежным и дрожащим голосом
мне сказала: *я люблю тебя!*
о богиня света белого —
Ложь, Неправда, призрак истины!
будь теперь моей богинею

[1] То есть обер-дурака.

и цветами луга русского
убери героя древности,
величайшего из витязей,
чудодея *Илью Муромца!*
Я об нем хочу беседовать,—
об его бессмертных подвигах.
Ложь! с тобою не учиться мне
небылицы выдавать за быль.

Солнце красное явилося
на лазури неба чистого
и лучами злата яркого
осветило рощу тихую,
холм зеленый и цветущий дол.
Улыбнулось все творение;
воды с блеском заструилися;
травки, ночью освеженные,
и цветочки благовонные
растворили воздух утренний
сладким духом, ароматами.
Все кусточки оживилися,
и пернатые малюточки,
коноплянoчка с малиновкой,
в нежных песнях славить начали
день, беспечность и спокойствие.
Никогда в Российской области
не бывало утро летнее
веселее и прекраснее.

Кто ж сим утром наслаждается?
Кто на статном соловом коне,
черный щит держа в одной руке,
а в другой копье булатное,
едет по лугу, как грозный царь?
На главе его пернатый шлем
с золотою, светлой бляхою;
на бедре его тяжелый меч;
латы, солнцем освещенные,
сыплют искры и огнем горят.
Кто сей витязь, богатырь младой?
Он подобен маю красному:
розы алые с лилеями

расцветают на лице его.
Он подобен мирту нежному:
тонок, прям и величав собой.
Взор его быстрей орлиного
и светлее ясна месяца.
Кто сей рыцарь? — Илья Муромец.
Он проехал дикий темный лес,
и глазам его является
поле гладкое, обширное,
где природою рассыпаны
в изобилии дары земли.
Витязь Геснера не читывал;
но имея сердце нежное,
любовался красотою дня;
тихим шагом ехал по лугу
и в душе своей чувствительной
жертву утреннюю, чистую,
приносил царю небесному.
«Ты, который украшаешь все,
русский бог и бог вселенныя!
Ты, который наделяешь нас
всеми благами щедрот своих!
будь всегда моим помощником!
Я клянуся вечно следовать
богатырским предписаниям
и уставам добродетели,
быть защитником невинности,
бедных, сирых и несчастных вдов,
и наказывать мечом своим
злых тиранов и волшебников,
устрашающих сердца людей!»
Так герой наш размышлял в себе
и, повсюду обращая взор,
за кустами впереди себя,
над струями речки быстрыя,
видит светлоголубой шатер,
видит ставку богатырскую
с золотою круглой маковкой.
Он к кусточкам приближается
и стучит копьем в железный щит;
но ответу богатырского
нет на стук его оружия.

Белый конь гуляет по лугу,
неоседланный, невзнузданный,
щиплет травку ароматную
и следы подков серебряных
оставляет на росе цветов.
Не выходит витязь к витязю
поклониться, ознакомиться.

Удивляется наш Муромец;
смотрит на небо и думает:
«Солнце выше гор лазоревых,
а российский богатырь в шатре
неужель еще покоится?»
Он пускает на зеленый луг
своего коня надежного
и вступает смелой поступью
в ставку с золотою маковкой.

Для чего природа дивная
не дала мне дара чудного
нежной кистию прельщать глаза
и писать живыми красками
с Тицианом и Корреджием?
Ах! тогда бы я представил вам,
что увидел витязь Муромец
в ставке с золотою маковкой.
Вы бы вместе с ним увидели —
беспримерную красавицу,
всех любезностей собрание,
редкость милых женских прелестей;
вы бы вместе с ним увидели,
как она приятным, тихим сном
наслаждалась в голубом шатре,
разметавшись на цветной траве:
как ее густые волосы,
светлорусые, волнистые,
осеняли белизну лица,
шеи, груди алебастровой
и, свиваясь, развиваяся,
упадали на колена к ней;
как ее рука лилейная,
где все жилки васильковые

были с нежностью означены,
ее голову покоила;
как одежда снего-белая,
полотняная, тончайшая,
от дыханья груди полныя
трепетала тихим трепетом.
Но не можно в сказке выразить
и не можно написать пером,
чем глаза героя нашего
услаждались на ее челе,
на ее устах малиновых,
на ее бровях возвышенных
и на всем лице красавицы.
Латы с золотой насечкою,
шлем с пером заморской *жар-птицы,*
меч с топазной рукояткою,
копие с булатным острием,
щит из стали вороненыя
и седло с блестящей осыпью
на траве лежали вкруг ее.

Сердце твердое, геройское
твердо в битвах и сражениях
со врагами добродетели —
твердо в бедствиях, опасностях;
но нетвердо против женских стрел,
мягче воску белоярого
против нежных, милых прелестей.
Витязь знал красавиц множество
в беспредельной Русской области,
но такой еще не видывал.
Взор его не отвращается
от румяного лица ее.
Он боится разбудить ее;
он досадует, что сердце в нем
бьется с частым, сильным трепетом;
он дыхание в груди своей
останавливать старается,
чтобы долее красавицу
беспрепятственно рассматривать.
Но ему опять желается,

чтоб красавица очнулась вдруг;
ему хочется глаза ее —
верно, светлые, любезные —
видеть под бровями черными;
ему хочется внимать ее
гласу тихому, приятному;
ему хочется узнать ее
любопытную историю,
и откуда, и куда она,
и зачем, девица красная
(витязь думал и угадывал,
что она была девицею),
ездит по свету геройствовать,
подвергается опасностям
жизни трудной, жизни рыцарской,
не щадя весенних прелестей,
не боясь жара, холода.
«Руки слабой, тленной женщины
могут шить сребром и золотом
в красном и покойном тереме,—
не мечом и не копьем владеть;
могут друга, сердцу милого,
жать с любовью к сердцу нежному,—
не гигантов на полях разить.
Если кто из злых волшебников
в плен возьмет девицу юную,
ах! чего злодей бесчувственный
с нею в ярости не сделает?» —
Так Илья с собой беседует
и взирает на прекрасную.

Время быстрою стрелой летит;
час проходит за минутами,
и за утром полдень следует —
незнакомка спит глубоким сном.

Солнце к западу склоняется,
и с эфирною прохладою
вечер сходит с неба ясного
на луга и поле чистое —
незнакомка спит глубоким сном.

Ночь на облаке спускается
и густыя тьмы покровами
одевает землю тихую;
слышно ручейков журчание,
слышно эхо отдаленное,
и в кусточках соловей поет —
незнакомка спит глубоким сном.

Тщетно витязь дожидается,
чтобы грудь ее высокая
вздохом нежным всколебалася;
чтоб она рукою белою
хотя раз тихонько тронулась
и открыла очи ясные!
Незнакомка спит попрежнему.

Он садится в голубом шатре
и, взирая на прекрасную,
видит в самой темноте ночной
красоту ее небесную,
видит — в тронутой душе своей
и в своем воображении;
чувствует ее дыхание
и не мыслит успокоиться
в час глубокия полуночи.

Ночь проходит, наступает день;
день проходит, наступает ночь —
незнакомка спит попрежнему.

Рыцарь наш сидит как вкопаный;
забывает пищу, нужный сон.
Всякий час, минуту каждую
он находит нечто новое
в милых прелестях красавицы;
и — недели целой нет в году!

Здесь, любезные читатели,
должно будет изъясниться нам,
уничтожить возражения
строгих, бледнолицых критиков:
«как Илья, хотя и Муромец,

хоть и витязь Руси древния,
мог сидеть неделю целую,
не вставая, на одном месте;
мог ни маковыя росинки
в рот не брать, дремы не чувствовать?»
Вы слыхали, как монах святой,
наслаждаясь дивным пением
райской пестрой коноплянoчки,
мог без пищи и без сна пробыть
не неделю, но столетие.
Разве прелести красавицы
не имеют чародейства
райской пестрой коноплянoчки?
О друзья мои любезные!
если б знали вы, что́ женщины
могут делать с нами, бедными!..
Ах! спросите стариков седых;
ах! спросите самого меня...
и, краснея, вам признаюся,
что волшебный вид прелестницы —
не хочу теперь назвать ее! —
был мне пищею небесною,
олимпийскою амброзией;
что я рад был целый век не спать,
лишь бы видеть мог жестокую!..
Но боюся говорить об ней,
и к герою возвращаюся.

«Что за чудо! — рыцарь думает,—
я слыхал о богатырском сне;
иногда он продолжается
три дни с часом, но не более;
а красавица любезная...»
Тут он видит муху черную
на ее устах малиновых;
забывает рассуждения
и рукою богатырскою
гонит злого насекомого;
машет пальцем указательным
(где сиял большой златой перстень
с талисманом Велеславиным) —
машет, тихо прикасается

к алым розам белолицыя —
и красавица любезная
растворяет очи ясные!

Кто опишет милый взор ее,
кто улыбку пробуждения,
ту любезность несказанную,
с коей, встав, она приветствует
незнакомого ей рыцаря?
«Долго б спать мне непрерывным сном,
юный рыцарь! (говорит она)
если б ты не разбудил меня.
Сон мой был очарованием
злого, хитрого волшебника,
Черномора-ненавистника.
Вижу перстень на руке твоей,
перстень добрыя волшебницы,
Велеславы благодетельной:
он своею тайной силою,
прикоснувшись к моему лицу,
уничтожил заклинание
Черномора-ненавистника».
Витязь снял с себя пернатый шлем:
чернобархатные волосы
по плечам его рассыпались.
Как заря алеет на небе,
разливаясь в море розовом
пред восходом солнца красного,
так румянец на щеках его
разливался в алом пламени.
Как роса сияет на поле,
осребренная светилом дня,
так сердечная чувствительность
в масле глаз его светилася.
Стоя с видом милой скромности
пред любезной незнакомкою,
тихим и дрожащим голосом
он красавице ответствует:
«Дар волшебницы любезныя
мил и дорог моему сердцу;
я ему обязан счастием
видеть ясный свет очей твоих».

Взором нежным, выразительным
он сказал гораздо более.

Тут красавица приметила,
что одежда полотняная
не темница для красот ее;
что любезный рыцарь-юноша
догадаться мог легохонько,
где под нею что таилося...
Так седый туман, волнуяся
над долиною зеленою,
не совсем скрывает холмики,
посреди ее цветущие;
глаз внимательного странника
сквозь волнение туманное
видит их вершинки круглые.

Незнакомка взор потупила —
закраснелася, как маков цвет,
и взялась рукою белою
за доспехи богатырские.
Рыцарь понял, что красавице
без свидетелей желается
нарядиться юным витязем.
Он из ставки вышел бережно,
посмотрел на небо синее,
прислонился к вязу гибкому,
бросил шлем пернатый на землю
и рукою подпер голову.
Что он думал, мы не скажем вдруг;
но в глазах его задумчивость
точно так изображалася,
как в ручье густое облако;
томный вздох из сердца вылетел.
Конь его, товарищ верный друг,
видя рыцаря, бежит к нему;
ржет и прыгает вокруг Ильи,
поднимая гриву белую,
извивая хвост изгибистый.
Но герой наш нечувствителен
к ласкам, к радости товарища,
своего коня надежного;

он стоит, молчит и думает.
Долго ль, долго ль думать Муромцу?
Нет, не долго: раскрываются
полы светлоголубой ставки,
и глазам его является
незнакомка в виде рыцаря.
Шлем пернатый развевается
над ее челом возвышенным.
Героиня подпирается
копием с булатным острием;
меч блистает на бедре ее.
В ту минуту солнце красное
воссияло ярче прежнего,
и лучи его с любовию
пролилися на красавицу.

С кроткой, нежною улыбкою
смотрит милая на витязя
и движеньем глаз лазоревых
говорит ему: «Мы можем сесть
на траве благоухающей,
под сенистыми кусточками».
Рыцарь скоро приближается
и садится с героинею
на траве благоухающей,
под сенистыми кусточками.
Две минуты продолжается
их глубокое молчание;
в третью чудо совершается. . .

(Продолжение впредь)

1794

К САМОМУ СЕБЕ

Прости, надежда!.. и навек!..
Исчезло все, что сердцу льстило,
Душе моей казалось мило;
Исчезло! Слабый человек!
Что хочешь делать? обливаться
Рекою горьких, тщетных слез?
Стенать во прахе и терзаться?..
Что пользы? Рока и небес
Не тронешь ты своей тоскою
И будешь жалок лишь себе!
Нет, лучше докажи судьбе,
Что можешь быть велик душою,
Спокоен вопреки всему.
Чего робеть? ты сам с собою!
Прибегни к сердцу своему:
Оно твой друг, твоя отрада,
За все несчастия награда —
Еще ты в свете не один!
Еще ты мира гражданин!..
Смотри, как солнце над тобою
Сияет славой, красотою;
Как ясен, чист небесный свод;
Как мирно, тихо все в природе!
Зефир струит зерцало вод,
И птички в радостной свободе
Поют: «будь весел, улыбнись!»
Поют тебе согласным хором.
А ты стоишь с унылым взором,
С душою мрачной?.. Ободрись
И вспомни, что бывал ты прежде,

Как мудрым в чувствах подражал,
Сократа сердцем обожал,
С Катоном смерть любил, в надежде
Носить бессмертия венец.
Житейских радостей конец
Да будет для тебя началом
Геройской твердости в душе!
Язвимый лютых бедствий жалом,
Забвенный в темном шалаше
Всем светом, ложными друзьями,
Умей спокойными очами
На мир обманчивый взирать,
Несчастье с счастьем презирать!

Я столько лет мечтой пленялся,
Хотел блаженства, восхищался!..
В минуту все покрылось тьмой,
И я остался лишь с тоской!

Так некий зодчий, созидая
Огромный, велелепный храм
На диво будущим векам,
Гордился духом, помышляя
О славе дела своего;
Но вдруг огромный храм трясется,
Падет... упал... и нет его!..
Что ж бедный зодчий? он клянется
Не строить впредь, беспечно жить...
А я клянуся... не любить!

1795

ПЕСНЯ

Нет, полно, полно! впредь не буду
Себя пустой надеждой льстить
И вас, красавицы, забуду.
Нет, нет! что прибыли любить?

Любил я резвую Плениру,
Любил веселую Темиру,
Любил и сердцем и душой.
Они шутили, улыбались,
Моею страстью забавлялись;
А я — я слезы лил рекой!

Нет, полно, полно! впредь не буду
Себя пустой надеждой льстить
И вас, красавицы, забуду.
Нет, нет! что прибыли любить?

Мне горы золота сулили;
«Надейся!» — взором говорили.
Пришло к развязке наконец...
И что ж? мне двери указали!
«Учись знать шутку, друг!» — сказали.
Они смеются!.. я глупец!

Нет, полно, полно! впредь не буду
Себя пустой надеждой льстить
И вас, красавицы, забуду.
Нет, нет! что прибыли любить?

Тот ввек несчастлив будет с вами,
Кто любит прямо, не словами.

Вам мило головы кружить,
Играть невинными сердцами,
Дарить нас рабством и цепями
И только для тщеславья жить.

Нет, полно, полно! впредь не буду
Себя пустой надеждой льстить
И вас, красавицы, забуду.
Нет, нет! что прибыли любить?

Ах! лучше по лесам скитаться,
С лапландцами в снегу валяться
И плавать в лодке по морям,
Чем быть плаксивым Селадоном,
Твердить *увы* печальным тоном
И ввек служить потехой вам!

Нет, полно, полно! впредь не буду
Себя пустой надеждой льстить
И вас, красавицы, забуду.
Нет, нет! что прибыли любить?

1795

К МЕЛОДОРУ

В ОТВЕТ НА ЕГО ПЕСНЬ ЛЮБВИ

Когда бледнеет все в подлунном мрачном мире
И жертвы плавают в дымящейся крови,[1]
Тогда, о Мелодор! на кроткой, нежной лире
Играя, ты поешь о сладостях любви?
Умолкни, милый друг! .. Кто будет наслаждаться
Гармонией твоей? кто ею восхищаться? ..
Но нет! играй и пой, любезнейший Орфей!
Поет и в страшный гром на миртах соловей! [2]

1795

ХЛОЯ

Пусть свет злословный утверждает,
Что в Хлое постоянства нет;
Что Хлоя всякий день меняет
    Любви своей предмет!
Неправда: Хлоя обожает
    Всегда один предмет;
Его всему предпочитает.
«Кого же? верно, не тебя?»
    Ах, нет! .. себя!

1795

---

[1] Тогда была война.

[2] Сии стихи писаны во время грому — и в самую ту минуту пел соловей.

ПОСЛАНИЕ К ЖЕНЩИНАМ

The gen'rous god, who wit and gold refines,[1]
And ripens spirits as he ripens minds,
To you gave sense, good humour and... a Poet.
Pope[2]

О вы, которых мне любезна благосклонность,
Любезнее всего! которым с юных лет
Я в жертву приносил, чего дороже нет:
Спокойствие и вольность;
Которых милые глаза,
Улыбка и слеза
Закон в душе моей писали
И мною так играли,
Как резвый ветерок пером,
Тогда еще, как я гонялся
За пестрым мотыльком,
Считал себя богатырем,
Когда на дерево взбирался
За пташкиным гнездом...
(И все лишь для того, чтоб милой, нежной *Розе,*
Красотке нашего села,
Подобной в самом деле розе,
Подарком угодить; чтоб *Роза* мне была
Обязана своей забавой)...
О вы, для коих я хотел врагов разить,[3]

---

[1] То есть Феб или Аполлон.

[2] Всеблагий бог, пекущийся о нас,
Шлифующий наш разум, как алмаз,
Вам кротость дал, рассудок и... Поэта.
Поп <«Эпистола к женщине»>.— Ред.

[3] Автор, будучи семнадцати лет, думал ехать в армию.

Не сделавших мне зла! хотел воинской славой
Почтение людей, отличность заслужить,
Чтоб с лавром на главе пред вашими очами
Явиться и сказать: «Для вас, для вас и вами!
Возьмите лавр, а мне в награду... поцелуй!»
Для коих после я, в войне добра не видя,
В чиновных гордецах чины возненавидя,
Вложил свой меч в ножны («Россия, торжествуй,—
Сказал я,— без меня!»)... и, вместо острой шпаги,
Взял в руки лист бумаги,
Чернильницу с пером,
Чтоб быть писателем, творцом,
Для вас, красавицы, приятным;
Чтоб слогом чистым, сердцу внятным,
Оттенки вам изображать
Страстей счастливых и несчастных,
То кротких, то ужасных;
Чтоб вы могли сказать:
«Он, право, мил и верно переводит
Все темное в сердцах на ясный нам язык;
Слова для тонких чувств находит!» —
О вы, в которых я привык
Любить себя, природу
И все, что смертных роду
В предмет любви дано!
Я к вам хочу писать послание стихами.
Дам волю сердцу: пусть оно
С своими милыми друзьями
Что хочет говорит!
Не нужно думать мне: слова текут рекою
В беседе с тем, кого мы любим всей душою.
Любовь стихи животворит
И старому дает вид новой.
Скажу вам, милые,— и чем другим начать? —
Что вы родитесь свет подлунный украшать,
Который бы без вас в угрюмости суровой
Был самый *мрачный свет*.
Несчастный Мизогин[1] в Сибири ввек живет:
Напрасно Феб над ним в величии сияет —
Душа его от хлада умирает.

---

[1] То есть ненавистник женского пола.

К сердцам и к счастию судьбой вам отдан ключ;
У вас в очах блестит небесный, тихий луч,
Который показать нам должен путь к блаженству,
Добру и совершенству;
Другим путем к тому вовеки не дойдем.

Три страсти правят светом:
Одна имеет *честь* предметом,
Другая *золото,* а третьею живем
Для ваших милых глаз. Ах! первая доводит
Людей до страшных бед, злодеев производит,
Жестоких, мрачных Силл
И яростных Аттил.
Там льется кровь рекой, здесь град в огне пылает —
На что? .. Герой [1] желает
Сказать: *«я победил*
И честь бессмертия геройством заслужил!»
Но дни победами считая,
Пусть скажет, много ли минут блаженных счел
Он в жизни для себя? и, лавром *осеняя*
Надменное чело, не часто ли хотел
Укрыться в *сень* лесов, чтоб жертв, его рукою
Сраженных, не видать,
Их вопля не слыхать?
Путь славы не ведет к сердечному покою;
Мы зрим на нем довольно роз,
Но больше терний, больше слез.
Ах! счастье любит мир, от шума убегает:
Таков небес устав!

Кто ж в злате душу полагает,
Тот, все сокровища собрав,
Еще души не обретает
Ни в злате, ни... в самом себе!
Всегда, как червь, ползет во прахе;
Всегда живет в ужасном страхе,
Чтоб вдруг не вздумалось судьбе
Лишить его сокровищ милых;
Таится, как сова, в тени ночей унылых,

[1] То есть ложный герой, Аттила и подобные ему. Истинные герои сражаются для пользы своего отечества. Здесь автор представляет *честолюбие* только с худой стороны; о хорошей — молчит.

Боясь, чтобы Феб его не осветил
И золота в мешках лучом не растопил.
Трепещет лист, и сердце в нем трепещет...
«Конечно, вор ко мне идет!..»
Где искра в воздухе сверкнет,
Там, кажется ему, кинжал убийцы блещет —
И сей безумный человек
С тоскою на часах проводит весь свой век.

Но кто пленится вами,
Любезные мои, как мил бывает тот,
Как нежен сердцем, добр делами!
Природа для него есть зрелище красот.
Не ищет рая он в пределах, нам безвестных,—
Вверху, за солнцем, выше звезд;
Он рай нашел в глазах прелестных
Любовницы своей; и тех священных мест,
Где милая гуляет,
Где, сидя над ручьем, о друге помышляет,
Не променяет он на вечную весну
Полей блаженных, Елисейских.
Он умер — для сует житейских;
Живет — лишь для любви, и зрит любовь одну
Во всем творении обширном;
Бежит от скуки городской,
Чтоб в сельском крове мирном
Питать в груди своей чувствительность, покой.
Где тихо горлицы воркуют,
Друг друга с нежностью милуют
И гнездышко себе на юных миртах вьют;
Где две малиновки поют;
Где все богатства Флоры
Сияют на лугах,
Как пурпур, золото Авроры
В час утренний блестят на тонких облаках,—
Там он, под сенью древ душистых,
Там он, под шумом вод сребристых,
С любезною своей в восторге дни ведет,
И только лишь от нежных чувств вздыхает,
И только лишь от счастья слезы льет.
Вкушая радости, он радость сообщает
Всему вокруг себя: приблизится ль к нему

Печальный во слезах — он слезы осушает;
Убогий ли придет? — он все дает ему,
Желая, чтоб весь мир с ним вместе наслаждался,
Любился, восхищался...
Велите мне избрать подсолнечной царя:
Кого я изберу, усердием горя
Ко счастию людей? Того, кто всех нежнее,
Того, кто всех страстнее
Умеет вас любить,— и свет бы счастлив был!
Ах! самый лютый воин,
Который ввек на ратном поле *жил*
(И *жизни* был едва ль достоин!),
Смягчается душой, восчувствовав любовь;
Услышав имя той, которою пылает,
Щадит врагов сраженных кровь
И меч подъятый... опускает.
Нередко и скупец, чтоб милой угодить,
Приятный взор ее, улыбку заслужить,
Бывает сирых друг и нищих благодетель.
Вот действие любви — вот ваша добродетель!

Пусть строгий муж Зенон в угрюмости своей
Кричит, что должно жить нам в свете без страстей,
Людьми лишь называться,
Но камнем в сердце быть,—
Учению сему в архивах оставаться,
В сердца ж вовеки не входить;
Природа, истина его не освятили
Печатию своей. Сей разум, коим нас
Судьбы благие одарили,
О коем мудрецы твердят нам всякий час,
Не есть ли тщетный дар без склонностей сердечных?
Они-то движут нас; без них и ум молчит.
Погибель ждет пловцов беспечных,
Когда их кормщик в бурю спит;
Но кормщику не можно
Без ветра морем плыть. Уму лишь править должно
Кормилом жизни сей:
Нас по морю несет шумящий ветр страстей...
Блажен, кто с веющим зефиром,
С любовью в сердце и в очах,

Летит на парусных крылах
К счастливой пристани, где с миром
Нас гений тихой смерти ждет!

«Но часто страсть любви нас к горестям ведет!»
Не часто — иногда: так тихая лампада,
Во тьме для мудрого отрада,
Бывает пагубна для резвых мотыльков:
Ужели для того во мраке вечеров
Сидеть нам без огня? О бабочке вздыхаю,
Но свечку снова зажигаю.
Злосчастный Вертер не закон;
Там гроб его: глаза рукою закрываю...
Но здесь цветами осыпаю
Тьму брачных алтарей, где резвый Купидон
И скромный Гименей навек соединяют
Любовников сердца
И чашу жизни их блаженством наполняют.

Но за одну ли страсть достойны вы венца?
Вам юная душа поручена судьбою;
Младенец с первою слезою
Вам, милые, себя в науку отдает;
С улыбкой, чувством оживленной,
От вас он первых мыслей ждет.
Сей цвет одушевленной
Лишь вашею рукой быть может возращен,
От хлада, бури сохранен.
С любовью матери он мило расцветает;
Из глаз ее в себя луч кротости впивает
И зреет нежною душой.

Ах! я не знал тебя!.. ты, дав мне жизнь, сокрылась!
Среди весенних ясных дней
В жилище мрака преселилась!
Я в первый жизни час наказан был судьбой!
Не мог тебя ласкать, ласкаем быть тобой!
Другие на коленях
Любезных матерей в веселии цвели,
А я в печальных тенях
Рекою слезы лил на мох сырой земли,
На мох твоей могилы!..

Но образ твой священный, милый
В груди моей напечатлен
И с чувством в ней соединен!
Твой тихий нрав остался мне в наследство;
Твой дух всегда со мной.
Невидимой рукой
Хранила ты мое безопытное детство;
Ты в летах юности меня к добру влекла
И совестью моей в час слабостей была.
Я часто тень твою с любовью обнимаю
И в вечности тебя узнаю!..

Простите мне, что я о мертвой вспомянул
И с горестью вздохнул!

Подобно как в саду, где роза с нежным крином,
Нарцис и анемон, аврикула с ясмином
И тысячи цветов
Пестреют на брегу кристальных ручейков,
Не знаешь, что хвалить, над чем остановиться,
На что смотреть, чему дивиться:
Так я теряюсь в красотах
Прелестных ваших душ. Хвалить ли в вас то чувство,
Которым истину находите в вещах [1]
Скорее всех мужчин? Нам надобно искусство,
Трудиться разумом, работать, размышлять,
Чтоб истину сыскать;
Для нас она живет в лесах, в вертепах темных
И в кладезях подземных:
Для вас же птичкою летает на лугах;
Махнете ей — и вдруг она у вас в руках...
Скажите, отчего мудрец Сократ милее
Всех прочих мудрецов? учение его
Приятнее других, приятнее, сильнее
Нас к мудрости влечет? Я знаю — оттого,
Что граций он любил, с Аспазией был дружен.
Философу совет ваш нужен,

---

[1] Я несколько раз имел случай удивляться *острому понятию* женщин, которое Лафатер называет *чувством истины*. Мужчина десять раз переменяет мысли свои; женщина остается при первом чувстве — и редко обманывается.

Чтоб *ум* людей пленить, подобно как *сердца*
Умеете пленять. Любезность мудреца
Должна быть истине приправой;
Иначе скучен нам и самый разум здравой —
Любезность же сия есть ваш бесценный дар.
Хвалить ли в вас тот жар,
С которым вы всегда добро творить готовы?
Вам милы бедных кровы;
Для вас они священный храм,
Где добродетели небесной
Рукою вашею прелестной
Курится фимиам.
У вас учиться должно нам,
Как ближнему служить. Я видел жен прекрасных,
Которых юный век тому лишь посвящен,
Чтоб муки утолять несчастных; [1]
Всечасно взор их устремлен
На то, что душу возмущает:
На скорбь, страдание и смерть!
С какою кротостью их голос увещает
Болящих не роптать на бога, но терпеть!
Колена преклонив, одна у неба просит
Им здравия или... спокойного конца;
Другая питие целебное разносит
И ласкою живит тоскующих сердца.
Своею красотою
Могли б они царей пленять;
Но им милее быть с болезнью, нищетою,
Чтоб бремя их сколь можно облегчать!
Я был тому свидетель
И слезной, пламенной рекой
Излил восторг души. Ах! благость, добродетель
Священнее всего являют образ свой
В лице красавицы любезной!

Хвалить ли вас, друзья мои, за дар полезной
Мужчин развеселять
Одним приятным взором?
Без вас что делать нам? Друг друга усыплять

---

[1] Орден так называемых *сестр милосердия*, soeurs grises, которых нежному человеколюбию удивлялся я в лионских больницах.

Холодным, скучным разговором?
Явитесь в обществе с усмешкой на устах,
И вдруг во всех очах
Веселья луч сверкнет; наш разум оживится;
Чтоб милым полюбиться,
Мужчина сам бывает мил...

Но кто б исчислил все, чем свету вы полезны,
Чем сердцу вы любезны,
Тот Эйлер бы другой в науке *числить* был.
Довольно, что вы нас во всем, во всем добрее,
Почти во всем умнее,
И будете всегда нам в нежности пример.
Пусть вас злословит лицемер,
Который для того красавиц порицает,
Что средства нравиться красавицам не знает!
Скажите, что *любезен он* —
И страшный Мизогин вдруг будет... Селадон!

Положим, что найти в вас слабости возможно;
Но разве от того луна уж не светла,
Что видим пятна в ней? Ах, нет! она мила,
И кроткий свет ее поэтам славить должно.
Луна есть образ ваш: ее сребристый луч
Тьму ночи озаряет,
А прелесть ваша нам отраду в грудь вливает
Среди печальных жизни туч.

Где только люди просветились,
Жить, мыслить научились,
Мужчины обожают вас.
Где разум, чувство в усыпленьи;
Где смертных род во тьме невежества погряз;
Где сан, права людей в презреньи,
Там презрены и вы. О Азия, раба
Насильств, предрассуждений!
Когда всемощная судьба
В тебе рассеет мрак несчастных заблуждений
И нежный пол от уз освободит?
Когда познаешь ты приятность вольной страсти?
Когда в тебе любовь сердца соединит,
Не тяжкая рука жестокой, лютой власти?

Когда не гнусный страж, не крепость мрачных стен,
Но верность красоте хранительницей будет?
Когда в любви тиран-мужчина позабудет,
Что больше женщины он силой наделен?
Когда? Когда? .. Уже дщерь неба, друг судьбины,
Воззрела на тебя — орлы Екатерины
К твоим странам летят
И человечества любезной половине
Там вольность возвестят! ..
Хор женщин загремит: *хвала и честь богине!*

Цвети, о нежный пол! и сыпь на нас цветы!
Исчезли для меня прелестные мечты —
Уже я не могу пленять вас красотою,
Ни юностью своей: весна моя прошла;
Зрю осень пред собою,
А осень, говорят, скучна и не мила!
Но все еще ваш взор бывает мне отрадой
И сладкою наградой
За то, что в жизни я от злых мужчин терплю;
Но все, но все еще люблю
В апреле рвать фиалки с вами,
В жар летний отдыхать в тени над ручейками,
В печальном октябре грустить и тосковать,
Зимой перед огнем романы сочинять,
Вас тешить и стращать!

Сказав любви: *прости!* я дружбою святою
Живу и жить хочу. Мне резвый Купидон
Отставку подписал — любовник с сединою
Не может счастлив быть: таков судьбы закон,—
Но истинных друзей я в вас же обретаю.
Нанина! десять лет тот день благословляю,
Когда тебя, мой друг, увидел в первый раз;
Гармония сердец соединила нас
В единый миг навек. Что был я? сиротою
В пространном мире сем: скучал самим собою,
Печальным бытием. Никто меня не знал,
Никто участия в судьбе моей не брал.
Чувствительность в груди питая,
В сердцах у всех людей я камень находил;
Среди цветущих дней душою увядая,

Не в свете, но в пустыне жил.
Ты дружбой, искренностью милой
Утешила мой дух унылой;
Святой любовию своей
Во мне цвет жизни обновила
И в горестной душе моей
Источник радостей открыла.
Теперь, когда я заслужил
Улыбку граций, муз прелестных,
И гордый свет меня улыбкою почтил,
Немало слышу я приветствий, сердцу лестных,
От добрых, нежных душ. Славнейшие творцы
И Фебовы друзья, бессмертные певцы,
Меня в любви своей, в приязни уверяют
И слабый мой талант к успехам ободряют.
Но знай, о верный друг! что дружбою твоей
Я более всего горжуся в жизни сей
И хижину с тобою,
Безвестность, нищету
Чертогам золотым и славе предпочту.
Что истина своей рукою
Напишет над моей могилой? *Он любил:*
Он нежной женщины нежнейшим другом был!

1795

ВЫБОР ЖЕНИХА

Лиза в городе жила,
Но невинною была;
Лиза, ангел красотою,
Ангел нравом и душою.
Время ей пришло любить...
Всем любиться в свете должно,
И в семнадцать лет не можно
Сердцу без другого жить.

Что же делать? где искать?
И кому *люблю* сказать?
Разве в свете появиться,
Всех пленить, *одним* плениться?
Так и сделала она.
Лизу люди окружили,
Лизе все одно твердили:
«Ты прельщать нас рождена!»

«Будь супругою моей! —
Говорит богатый ей,—
Всякий день тебе готовы
Драгоценные обновы;
Станешь в золоте ходить;
Ожерельями, серьгами,
Разноцветными парчами
Буду милую дарить».

Что ж красавица в ответ?
Что сказала? *да* иль *нет*?

Лиза только улыбнулась;
Прочь пошла, не оглянулась.
Гордый барин ей сказал:
«Будь супругою моею;
Будешь знатной госпожею:
Знай, я *полный* генерал!»

Что ж красавица в ответ?
Что сказала? *да* иль *нет*?
Генералу поклонилась,
Только чином не пленилась;
Лиза... далее идет;
Ищет, долго не находит...
«Так она и век проходит!..»
Ошибаетесь — найдет!

Лизе *суженый* сказал:
«Чином я не генерал
И богатства не имею,
Но любить тебя умею.
Лиза! будь навек моя!» —
Тут прекрасная вздохнула,
На любезного взглянула
И сказала: *«я твоя!»*

1795

НЕПОСТОЯНСТВО

Пусть счастье коловратно —
Нельзя не знать того;
Но мы еще стократно
Превратнее его.

Всё нового желаем,
От старого бежим
И счастье презираем,
Когда знакомы с ним.

Любя во всем измену,
Позволим же любить
И счастью перемену,
Чтоб нам, неверным, мстить!

1795

ЛИЛЕЯ

Я вижу там лилею.
Ах! как она бела,
Прекрасна и мила!
Душа моя пленилась ею.
Хочу ее сорвать,
Держать в руках и целовать;
Хочу — но рок меня с лилеей разлучает:
Ах! бездна между нас зияет! . .
Тоска терзает грудь мою;
Стою печально, слезы лью.

Взираю издали на нежную лилею —
Она сотворена быть, кажется, моею,
И тихий ветерок
Ко мне склоняет стебелек
Ее зеленый, изумрудный;
Ко мне же обращен и беленький цветок,
Головка снежная, ко мне. . . но рок
(Жестокий, безрассудный!)
Сказал: «Она не для тебя!
Увянет не с твоей слезою;
Другой сорвет ее холодною рукою;
А ты... смотри, терзай себя!»

О Лиза! я с тобою
Душой делиться сотворен,
Но бездной разлучен!

1796

К БЕДНОМУ ПОЭТУ

Престань, мой друг, поэт унылый,
Роптать на скудный жребий свой
И знай, что бедность и покой
Еще быть могут сердцу милы.
Фортуна-мачеха тебя,
За что-то очень не взлюбя,
Пустой сумою наградила
И в мир с клюкою отпустила;
Но истинно родная мать,
Природа, любит награждать
Несчастных пасынков Фортуны:
Дает им ум, сердечный жар,
Искусство петь, чудесный дар
Вливать огонь в златые струны,
Сердца гармонией пленять.
Ты сей бесценный дар имеешь;
Стихами чистыми умеешь
Любовь и дружбу прославлять;
Как птичка, в белом свете волен,
Не знаешь клетки, ни оков —
Чего же больше? будь доволен;
Вздыхать, роптать есть страсть глупцов.

Взгляни на солнце, свод небесный,
На свежий луг, для глаз прелестный;
Смотри на быструю реку,
Летящую с сребристой пеной
По светложелтому песку;
Смотри на лес густой, зеленой
И слушай песни соловья:

Поэт! Натура вся твоя.
В ее любезном сердцу лоне
Ты царь на велелепном троне.
Оставь другим носить венец:
Гордися, нежных чувств певец,
Венком, из нежных роз сплетенным,
Тобой от граций полученным!
Тебе никто не хочет льстить:
Что нужды? кто в душе спокоин,
Кто истинной хвалы достоин,
Тому не скучно век прожить
Без шума, без льстецов коварных.
Не можешь ты чинов давать,
Но можешь зернами питать
Семейство птичек благодарных;
Они хвалу тебе споют
Гораздо лучше стиходеев,
Тиранов слуха, лже-Орфеев,
Которых музы в одах лгут
Нескладно-пышными словами.
Мой друг! существенность бедна:
Играй в душе своей мечтами,
Иначе будет жизнь скучна.
Не Крез с мешками, сундуками
Здесь может веселее жить,
Но тот, кто в бедности умеет
Себя богатством веселить;
Кто дар воображать имеет
В кармане тысячу рублей,
Копейки в доме не имея.
Поэт есть хитрый чародей:
Его живая мысль, как фея,
Творит красавиц из цветка;
На сосне розы производит,
В крапиве нежный мирт находит
И строит замки из песка.
Лукуллы в неге утонченной
Напрасно вкус свой притупленной
Хотят чем новым усладить.
Сатрап с Лаисою зевает;
Платок ей бросив, засыпает.
Их жребий: дни считать, не жить;

Душа их в роскоши истлела,
Подобно камню онемела
Для чувства радостей земных.
Избыток благ и наслажденья
Есть хладный гроб воображенья;
В мечтах, в желаниях своих
Мы только счастливы бываем;
Надежда — золото для нас,
Призрак любезнейший для глаз,
В котором счастье лобызаем.

Не сытому хвалить обед,
За коим нимфы, Ганимед
Гостям амврозию разносят,
И не в объятиях Лизет
Певцы красавиц превозносят;
Все лучше кажется вдали.
Сухими фигами питаясь,
Но в мыслях царски наслаждаясь
Дарами моря и земли,
Зови к себе в стихах игривых
Друзей любезных и счастливых
На сладкий и роскошный пир;
Сбери красоток несравненных,
Веселым чувством оживленных;
Вели им с нежным звуком лир
Петь в громком и приятном хоре,
Летать подобно Терпсихоре
При плеске радостных гостей
И милой ласкою своей,
Умильным, сладострастным взором,
Немым, но внятным разговором
Сердца к тому приготовлять,
Чего... в стихах нельзя сказать.
Или, подобно Дон-Кишоту,
Имея к рыцарству охоту,
В шишак и панцырь нарядись,
На борзого коня садись,
Ищи опасных приключений,
Волшебных замков и сражений,
Чтоб добрым принцам помогать
Принцесс от уз освобождать.

Или, Платонов воскрешая
И с ними ум свой изощряя,
Закон республикам давай
И землю в небо превращай.
Или... но как все то исчислить,
Что может стихотворец мыслить
В укромной хижинке своей?

Мудрец, который знал людей,
Сказал, что мир стоит обманом;
Мы все, мой друг, лжецы:
Простые люди, мудрецы;
Непроницаемым туманом
Покрыта истина для нас.
Кто может вымышлять приятно,
Стихами, прозой,— в добрый час!
Лишь только б было вероятно.
Что есть поэт? искусный лжец:
Ему и слава и венец!

1796

ОТСТАВКА

Amour, né d'un soupir, est comme lui léger.[1]

Итак, в отставку ты уволен!..
Что делать, нежный пастушок?
Взять в руки шляпу, посошок;
Сказать: спасибо; я доволен!
Идти, и слезки не пролить.

Иду, желая милой Хлое
Приятно с новым другом жить.
Свобода — дело золотое,
Свобода в мыслях и в любви.
Минута чувства воспаляет,
Минута гасит огнь в крови.
Сердца любовников смыкает
Не цепь, но тонкий волосок:
Дохнет ли резвый ветерок,
Порхнет ли бабочка меж ими...
Всему конец, и связи нет!
Начто упреками пустыми
Терзать друг друга? белый свет
Своим порядком ввек идет.
Все любят, Хлоя, разлюбляют;
Клянутся, клятву преступают:
Где суд на ветреность сердец?
Что ныне взору, чувствам мило,
То завтра будет им постыло.

---

[1] Любовь, рожденная вздохом, как он недолговечна.— *Ред.*

Теперь вам нравится мудрец,
Чрез час понравится глупец,
И часто бога Аполлона
(Чему свидетель древний мир)
Сменял в любви лесной сатир.
Под скиптром душегубца Крона[1]
Какому постоянству быть?
Где время царь, там все конечно,
И разве в вечности вам вечно
Придется одного любить!

Итак, смотри в глаза мне смело;
Я, право, Хлоя, не сердит.
Шуметь мужей несносных дело;
Любовник видит — и молчит;
Укажут дверь — и он с поклоном
Ее затворит за собой;
Не ссорясь с новым Селадоном,
Пойдет... стихи писать домой.

Я жил в Аркадии с тобою
Не час, но целых сорок дней!
Довольно — лучший соловей
Поет не долее весною...
Я также, Хлоя, пел тебя!..
И ты с восторгом мне внимала;
Рукою... на песке писала:
Люблю — люблю — умру любя!

Но старый друг твой не забудет,
Что кто о старом помнить будет,
Лишится глаза, как Циклоп:[2]
Пусть, Хлоя, мой обширный лоб
Подчас украсится рогами;
Лишь только был бы я с глазами!

1796

---

[1] Сатурна.
[2] Русская пословица: «Кто старое помянет, тому глаз вон».

К НЕВЕРНОЙ

Рассудок говорит: «все в мире есть мечта!»
Увы! несчастлив тот, кому и сердце скажет:
        «Все в мире есть мечта!»,
Кому жестокий рок то опытом докажет.
        Тогда увянет жизни цвет;
        Тогда несносен свет;
        Тогда наш взор унылый
На горестной земле не ищет ничего:
        Он ищет лишь... могилы!..
Я слышал страшный глас, глас сердца моего,
И с прелестью души, с надеждою простился;
Надежда умерла: и так могу ли жить?

Когда любви твоей я, милая, лишился,
Могу ли что-нибудь, могу ль себя любить?..
Кто в жизни испытал всю сладость нежной страсти,
И нравился тебе, тот... *жил* и долго жил;
Мне должно умереть: так рок определил.
    Ах! если б было в нашей власти
    Вовеки пламенно любить,
    Вовеки в милом сердце жить,
Никто б не захотел расстаться с здешним светом;
Тогда бы человек был зависти предметом
Для жителей небес.— Упреками тебе
Скучать я не хочу: упреки бесполезны;
Насильно никогда не можем быть любезны.
Любви покорно все, любовь... одной судьбе.
    Когда от сердца сердце удалится,
Напрасно звать его: оно не возвратится.

Но странник в горестных местах,
В пустыне мертвой, на песках,
Приятности лугов, долин воображает,
Чрез кои некогда он шел:
«Там пели соловьи, там мирт душистый цвел!»
Сей мыслию себя страдалец лишь терзает,
Но все несчастные о счастьи говорят.
Им участь... вспоминать, счастливцу...
наслаждаться:
Я также вспомню рай, питая в сердце ад.

Ах! было время мне мечтать и заблуждаться:
Я прожил тридцать лет; с цветочка на цветок
С зефирами летал. Киприда свой венок
Мне часто подавала;
Как резвый ветерок, рука моя играла
Со флером на груди прелестнейших цирцей;
Армиды Тассовы, лаисы наших дней
Улыбкою любви меня к себе манили
И сердце юноши быть ветреным учили;
Но я влюблялся, не любя.
Когда ж узнал тебя,
Когда дрожащими руками
Обняв друг друга, все забыв,
Двумя горящими сердцами
Союз священный заключив,
Мы небо на земле вкусили
И вечность в миг один вместили,—
Тогда, тогда любовь я в первый раз узнал;
Ее восторгом изнуренной,
Лишился мыслей, чувств и смерти ожидал,
Прелестнейшей, блаженной!..
Но рок хотел меня для горя сохранить;
За счастье должно нам несчастием платить.

Какая смертная как ты была любима,
Как ты боготворима?
Какая смертная была
И столь любезна, столь мила?
Любовь в тебе пылала,
И подле сердца моего
Любовь, любовь в твоем так сильно трепетала!

С небесной сладостью дыханья твоего
Она лилась мне в грудь. Что слово, то блаженство;
Что взор, то новый дар. Я целый свет забыл,
Природу и друзей: природы совершенство,
Друзей, себя, творца в тебе одной любил.
Единый час разлуки
Был сердцу моему несносным годом муки;
Прощаяся с тобой,
Прощался я с самим собой...
И с чувством обновленным
К тебе в объятия спешил;
В душевной радости рекою слезы лил;
В блаженстве трепетал... не смертным, богом
был!..
И прах у ног твоих казался мне священным!
Я землю целовал,
На кою ты ступала;
Как нектар воздух пил, которым ты дышала...
Увы! от счастья здесь никто не умирал,
Когда не умер я!.. Оставить мир холодный,
Который враг чувствительным душам;
Обнявшись перейти в другой, где мы свободны
Жить с тем, что мило нам;
Где царствует любовь без всех предрассуждений,
Без всех несчастных заблуждений;
Где бог улыбкой встретит нас...
Ах! сколько, сколько раз
О том в восторге мы мечтали
И вместе слезы проливали!..
Я был, я был любим тобой!

Жестокая!.. увы! могло ли подозренье
Мне душу омрачить? Ужасною виной
Почел бы я тогда малейшее сомненье;
Оплакал бы его. Тебе неверной быть!
Скорее нас творец забудет,
Скорее изверг здесь покоен духом будет,
Чем милая души мне может изменить!
Так думал я... и что ж? на розе уст небесных,
На тайной красоте твоих грудей прелестных
Еще горел, пылал мой страстный поцелуй,
Когда сказала ты другому: *торжествуй* —

Люблю тебя!.. Еще ты рук не опускала,
Которыми меня, лаская, обнимала,
Другой, другой уж был в объятиях твоих...
Иль в сердце... все одно! Без тучи гром ужасный
Ударил надо мной. В волненьи чувств моих
Я верить не хотел глазам своим, несчастный!
И думал наяву, что вижу все во сне;
Сомнение тогда блаженством было мне —
Но ты, жестокая, холодною рукою
Завесу с истины сняла!..
Ни вздохом, ни одной слезою
Последней дани мне в любви не принесла!..

Как можно разлюбить, что нам казалось мило,
Кем мы дышали здесь, кем наше сердце жило?
Однажды чувства истощив,
Где новых взять для новой страсти?
Тобой оставлен я; но, ах! в моей ли власти
Неверную забыть? Однажды полюбив,
Я должен ввек любить; исчезну обожая.
Тебе судьба иная;
Иное сердце у тебя —
Блаженствуй! Самый гроб меня не утешает;
И в вечности я зрю пустыню для себя:
Я буду там один! Душа не умирает;
Душа моя и там все будет тосковать
И тени милыя искать!

1796

К ВЕРНОЙ

Ты мне верна! .. тебя я снова обнимаю! ..
И сердце милое твое
Опять, опять *мое!*
К твоим ногам в восторге упадаю...
Целую их! .. Ты плачешь, милый друг! ..
Сладчайшие слова: *души моей супруг,*
Опять из уст твоих я в сердце принимаю! ..
Ах! как благодарить творца! ..
Все горе, всю тоску навек позабываю! ..
. . . .
Ты бледность своего лица
Показываешь мне — прощаешь! Не дерзаю
Оправдывать себя:
Заставив мучиться тебя,
Преступником я был. Но мне казалось ясно
Несчастие мое. И ты сама... прости...
Воспоминание душе моей ужасно! ..
К сей тайне я тогда не мог ключа найти.[1]
Теперь, теперь стыжусь и впредь клянусь не верить
Ни слуху, ни глазам;
Не верить и твоим словам,
Когда бы ты сама хотела разуверить
Меня в любви своей. На сердце укажу,
Взгляну с улыбкою и с твердостью скажу:
«Оно, мой друг, спокойно;
Оно тебя достойно
Надежностью своей.

[1] Темно; можно только догадываться.

Испытывай меня!» — Пусть прелестью твоей
Другие также заразятся!
Для них надежды *цвет,* а мне — надежды *плод!*
Из них пусть каждый счастья ждет:
Я буду счастьем наслаждаться.
Их жребий: *милую любить;*
Мой жребий: *милой милым быть!*
Хотя при людях нам нельзя еще словами
Люблю друг другу говорить;
Но страстными сердцами
Мы будем всякий миг *люблю, люблю* твердить
(Другим язык сей непонятен;
Но голос сердца сердцу внятен),
И взор умильный то ж украдкой подтвердит.
Снесу жестокость принужденья
(Что делать? так судьба велит),
Снесу в блаженстве уверенья,
Что ты моя в душе своей.
Ах! истинная страсть питается собою;
Восторги чувств не нужны ей.
Я знаю, что меня с тобою
Жестокий рок готов надолго разлучить;
Скажу тебе... *прости!* и должен буду скрыть
Тоску в груди моей!.. Обильными слезами
Ее не облегчу в присутствии других;
И ангела души дрожащими устами
Не буду целовать в объятиях своих!..
Расстаться тяжело с сердечной половиной;
Но... *я любим тобой:* сей мыслию единой
Унылый мрак душевных чувств моих
Как солнцем озарится.
Разлука — опыт нам:
Кто опыта страшится,
Тот, верно, нелюбим, тот мало любит сам;
Прямую страсть всегда разлука умножает —
Так буря слабый огнь в минуту погашает,
Но больше сил огню сильнейшему дает.
Когда души единственный предмет
У нас перед глазами,
Мы знаем то одно, что весело любить;
Но чтоб узнать всю власть его над нами —
Узнать, что без него душе не можно жить...

Расстанься с ним! .. Любовь питается слезами,
От горести растет;
И чувство, что нельзя преодолеть нам страсти,
Еще ей более дает
Над сердцем сладкой власти.

Когда-нибудь, о милый друг,
Судьбы жестокие смягчатся:
Два сердца, две руки навек соединятся;
Любовник... будет твой супруг.
Ах! станем жить: с надеждой жизнь прекрасна;
Не нам, тому она ужасна,
Кто любит лишь один, не будучи любим.
Исчезнут для меня с отбытием твоим
Существенность и мир: в одном воображеньи
Я буду находить утехи для себя;
Далеко от людей, в лесу, в уединеньи,
Построю[1] *домик* для тебя,
Для нас двоих, над тихою *рекою*
Забвения всего, но только не любви;
Скажу тебе: «В сем *домике* живи
С любовью, счастьем и со мною:
Для прочего умрем. Прельщаяся тобою,
Я прелести ни в чем ином не нахожу.
Тебе все чувства посвящаю:
Взгляну ль на что, когда на милую гляжу?
Услышу ль что-нибудь, когда тебе внимаю?
Душа моя полна: я в ней тебя вмещаю!
Пусть бог вселенную в пустыню превратит;
Пусть будем в ней мы только двое!
Любовь ее для нас украсит, оживит.
Что сердцу надобно? найти, любить другое;
А я нашел, хочу с ним вечность провести
И свету говорю: *прости!*»

Прелестный *домик* сей вдали нас ожидает;
Теперь его судьба завесой покрывает,
Но он явится нам: в нем буду жить с тобой
Или мечту сию... возьму я в гроб с собой.

1796

[1] В мыслях.

ДОЛИНА ИОСАФАТОВА, ИЛИ ДОЛИНА СПОКОЙСТВИЯ

Долина, где судьбы рукою
Хранится таинство сердец;
Где странник, жаждущий покою,
Его встречает наконец;

Где взор бывает вечно светел,
И сердце дремлет в тишине;
Забот печальный вестник, петел,
Не будит счастливых во сне;

Молчат и громы и бореи,
Не слышен грозный рев зверей,
И мило-злобные цирцеи
Не ставят нежности сетей;

Где хитрый бог, любящий слезы,
Не мещет кипарисных стрел;
Где нет змеи под цветом розы —
Где счастья, истины предел!

Страна блаженная, святая!
Когда, когда тебя найду
И, мирный брег благословляя,
Корабль в пристанище введу?

К тебе нередко приближаясь,
Хочу ступить на брег... но вдруг,
С отливом в море удаляясь,
Бываю жертвой новых мук.

Ужель во мрачности тумана
Мне ввек игралищем служить
Шумящим ветрам океана,
Без цели по волнам кружить?

Довольно я терпел, крушился,
Гоняясь сердцем за мечтой;
Любил, надеялся, страшился:
Ах! время мне вкусить покой!

Навек в груди угасни пламень!
Пусть в ней живет единый хлад!
Пусть сердце превратится в камень!
Его чувствительность мне яд.

Страна блаженная, святая!
Когда, когда тебя найду
И, мирный брег благословляя,
Корабль в пристанище введу?

1796

АОНИДЫ,
ИЛИ
СОБРАНІЕ РАЗНЫХЪ,
НОВЫХЪ
СТИХОТВОРЕНИЙ.

Книжка I.
1796.

Chérissons le rival qui peut nous surpasser;
Montrez moi mon vainqueur, & je cours l'embrasser.



МОСКВА.
ВЪ Университетской Типографіи,
у *Ридигера и Клаудія.*

Титульный лист альманаха «Аониды», издававшегося Н. М. Карамзиным

ТРИОЛЕТ ЛИЗЕТЕ

«Лизета чудо в белом свете,—
Вздохнув, я сам себе сказал,—
Красой подобных нет Лизете;
Лизета чудо в белом свете;
Умом зрела в весеннем цвете».
Когда же злость ее узнал...
«Лизета чудо в белом свете!» —
Вздохнув, я сам себе сказал.

1796

К ЛИЛЕ

Ты плачешь, Лилета?
Ах! плакал и я.
Смеялась ты прежде,
Я ныне смеюсь.
Мы оба друг другу
Не должны ничем.
Есть очередь в свете,
Есть время всему;
Улыбка с слезами
В соседстве живет.
Ты прежде алела,
Как роза весной;
Зефиры пленялись
Твоей красотой.
Я также пленился,
Надежду имев;
Мечтал о блаженстве,
Страдая в душе!..
Болезнь миновалась,
И лета прошли
Любовных мечтаний;
Я Лилу забыл —
И вижу... о небо!
Что сделалось с ней?
Все алые розы
Мороз умертвил.
Где прежде зефиры
Шептали любовь,
Под сению миртов
Таился Эрот
И пальчиком нежным

С усмешкой грозил,—
Там ныне все пусто!
Твоя красота
Угасла, как свечка;
Вспорхнула любовь
И прочь улетела;
Любовники вслед
За нею исчезли.
Лилета одна,
И хочет от скуки
Меня заманить
В старинные сети!
Я в сказке читал,
Что некогда боги
Влюбились в одну
Прекрасную нимфу:
Юпигер и Марс,
Нептун и Меркурий,
И Бахус и Феб.
Красотке хотелось
Их всех обмануть,
Украсить рогами
Лбы вечных богов.
Так так и случилось:
Один за другим
Все были рогаты.
Но время прошло;
Красавица стала
Не так хороша,
И боги сослали
Ее под луну,
Где нимфа от грусти
Год слезы лила,
А после от грусти
Слюбилась — увы! —
С рогатым сатиром.
Он был небрезглив
И принял в подарок
Обноски богов.—
Ты можешь быть нимфой;
Но я не сатир!

1796

К ПОРТРЕТУ ЛОМОНОСОВА

«В отечестве Зимы, среди ее снегов,—
Сказал Парнасский бог,— к бессмертной славе Россов
Родись вновь Пиндар, царь певцов!»
Родился... Ломоносов.

<1797>

ЭПИТАФИЯ

Он жил в сем мире для того,
Чтоб жить — не зная для чего.

<1797>

ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА

Любовь тогда лишь нам полезна,
Как с милой дружбою сходна;
А дружба лишь тогда любезна,
Когда с любовию равна.

1797

IMPROMPTU ДВУМ МОЛОДЫМ ДАМАМ,

КОТОРЫЕ В МАСКАХ ПОДОШЛИ К АВТОРУ И ХОТЕЛИ УВЕРИТЬ ЕГО, ЧТО ОН ИХ НЕ УЗНАЕТ

Ничто, ничто сокрыть любезных не могло!
На вас и маска как стекло.
Прелестные глаза прелестных обличают:
Под маскою они не менее сияют.
Взглянул — и сердце мне
Сказало: вот оне!

1797

ДВА СРАВНЕНИЯ

1

Что наша жизнь? Роман.— Кто автор? Аноним.
Читаем по складам, смеемся, плачем... спим.

1797

2

Что есть жизнь наша? — сказка.
А что любовь? — ее завязка;
Конец печальный иль смешной.
Родись, люби — и бог с тобой!

1797(?)

ИСПРАВЛЕНИЕ[1]

Пора, друзья, за ум нам взяться,
Беспутство кинуть, жить путем.
Не век за бабочкой гоняться,
Не век быть резвым мотыльком.

Беспечной юности утеха
Есть в самом деле страшный грех.
Мы часто плакали от смеха —
Теперь оплачем прежний смех

И другу, недругу закажем
Кого-нибудь в соблазн вводить;
Прямым раскаяньем докажем,
Что можем праведными быть.

Простите, скромные диваны,
Свидетели нескромных сцен!
Простите хитрости, обманы,
Беда мужей, забава жен!

Отныне будет все иное:
Чтоб строгим людям угодить,
Мужей оставим мы в покое,
А жен начнем добру учить —

Не с тем, чтоб нравы их исправить —
Таких чудес нельзя желать, —

---

[1] Шутка над лицемерами и ханжами.

Но чтоб красавиц лишь заставить
От скуки и тоски зевать.

«Зевать?» Конечно; в наказанье
За наши общие дела.
Бывало... Прочь, воспоминанье,
Чтоб снова не наделать зла.

Искусство нравиться забудем
И с *постным* видом в *мясоед*
Среди собраний светских будем
Ругать, как можно злее, свет;

Бранить все то, что сердцу мило,
Но в чем сокрыт для сердца вред;
Хвалить, что грешникам постыло,
Но что к спасению ведет.

Memento mori![1] велегласно
На балах станем восклицать
И стоном смерти ежечасно
Любезных ветрениц пугать.—

Как друг ваш столь переменился,
Угодно ль вам, друзья, спросить?..
Сказать ли правду?.. Я лишился
(Увы!) способности грешить!

1797

[1] То есть: *помни смерть*.

ТАЦИТ

Тацит велик; но Рим, описанный Тацитом,
Достоин ли пера его?
В сем Риме, некогда геройством знаменитом,
Кроме убийц и жертв не вижу ничего.
Жалеть об нем не должно:
Он стоил лютых бед несчастья своего,
Терпя, чего терпеть без подлости не можно!

1797

К ШЕКСПИРОВУ ПОДРАЖАТЕЛЮ

Ты хочешь быть, Глупон, Шекспиров подражатель;
Выводишь для того на сцену мясников,
Башмачников, портных, чудовищ и духов.
Великий Александр, земли завоеватель,
Для современников был также образцом;
Но в чем они ему искусно подражали?
В геройстве ли души? в делах? ах, нет! не в том;
Но шею к левому плечу, как он, склоняли.[1]
Что делали они, то делаешь и ты:
Уродство видим мы: но где же красоты?

1797

---

[1] См. Квинта Курция.

СТРАСТИ И БЕССТРАСТИЕ

Как беден человек! нам страсти — горе, мука;
Без страсти жизнь не жизнь, а скука:
Люби — и слезы проливай;
Покоен будь — и век зевай!

1797

НАДПИСЬ К ДАМСКОЙ ТАБАКЕРКЕ,
НА КОТОРОЙ ИЗОБРАЖЕНЫ МРАМОРНЫЙ СТОЛП И ЦВЕТОК

Любезное глазам как цвет весенний тленно;
Любезное душе как мрамор неизменно.

1797

АЛИНА

О дар, достойнейший небес,
Источник радости и слез,
Чувствительность! сколь ты прекрасна,
Мила,— но в действиях несчастна! . .
Внимайте, нежные сердца!

В стране, украшенной дарами
Природы, щедрого творца,
Где Сона светлыми водами
Кропит зеленые брега,
Сады, цветущие луга,
Алина милая родилась;
Пленяла взоры красотой,
А души ангельской душой;
Пленяла — и сама пленилась.
Одна любовь в любви закон,
И сердце в выборе невластно:
Что мило, то всегда прекрасно;
Но нежный юноша, Милон,
Достоин был Алины нежной;
Как старец, в младости умен,
Любезен всем, от всех почтен.
С улыбкой гордой и надежной
Себе подруги он искал;
Увидел — вольности лишился:
Алине сердцем покорился;
Сказав: *люблю!* ответа ждал. . .
Еще Алина слов искала;
Боялась сердцу волю дать,
Но все молчанием сказала.—

Друг друга вечно обожать
Они клялись чистосердечно.
Но что в минутной жизни вечно?
Что клятва? — искренний обман!
Что сердце? — ветреный тиран!
Оно в желаньях своевольно
И самым счастьем — недовольно.

И самым счастьем! — Так Милон,
Осыпанный любви цветами,
Ее нежнейшими дарами,
Вдруг стал задумчив. Часто он,
Ласкаемый подругой милой,
Имел вид томный и унылой
И в землю потуплял глаза,
Когда блестящая слеза
Любви, чувствительности страстной
Катилась по лицу прекрасной;
Как в пламенных ее очах
Стыдливость с нежностью сражалась,
Грудь тихо, тайно волновалась,
И розы тлели на устах.
Чего ему недоставало?
Он милой был боготворим!
Прекрасная дышала им!
Но верх блаженства есть начало
Унылой томности в душах;
Любовь, восторг, холодность смежны.
Увы! почто ж сей пламень нежный
Не вместе гаснет в двух сердцах?

Любовь имеет взор орлиный:
Глаза чувствительной Алины
Могли ль премены не видать?
Могло ль ей сердце не сказать:
«Уже твой друг не любит страстно»?
Она надеется (напрасно!)
Любовь любовью обновить:
Ее легко найти исканьем,
Всегдашней ласкою, стараньем;
Но чем же можно возвратить?
Ничем! в немилом все немило.

Алина — то же, что была,
И всех других пленять могла,
Но чувство друга к ней простыло;
Когда он с нею — скука с ним.
Кто нами пламенно любим,
Кто прежде сам любил нас страстно,
Тому быть в тягость наконец
Для сердца нежного ужасно!
Милон не есть коварный льстец:
Не хочет больше притворяться,
Влюбленным без любви казаться —
И дни проводит розно с той,
Которая одна, без друга,
Проводит их с своей тоской.
Увы! несчастная супруга
В молчании страдать должна...
И скоро узнает она,
Что ветреный Милон другою
Любезной женщиной пленен;
Что он сражается с собою
И, сердцем в горесть погружен,
Винит жестокость злой судьбины! [1]
Удар последний для Алины!
Ах! сердце друга потерять
И счастию его мешать
В другом любимом им предмете —
Лютее всех мучений в свете!
Мир хладный, жизнь противны ей;
Она бежит от глаз людей...
Но горесть лишь себе находит
Во всем, везде, где б ни была!..
Алина в мрачный лес приходит
(Несчастным тень лесов мила!)
И видит храм уединенный,
Остаток древности священный;
Там ветр в развалинах свистит
И мрамор желтым мхом покрыт;
Там древность божеству молилась;

---

[1] Женщина, в которую Милон был влюблен, по словам госпожи Н., сама любила его, но имела твердость отказать ему от дому, для того, что он был женат.

Там после, в наши времена,
Кровь двух любовников струилась:
Известны свету имена
Фальдони, нежныя Терезы; [1]
Они жить вместе не могли
И смерть разлуке предпочли.
Алина, проливая слезы,
Равняет жребий их с своим
И мыслит: «Кто любя любим,
Тот должен быть судьбой доволен;
В темнице и в цепях он волен
Об друге сладостно мечтать —
В разлуке, в горестях питать
Себя надеждою счастливой.
Неблагодарные! зачем,
В жару любви нетерпеливой
И в исступлении своем,
Вы небо смертью оскорбили?
Ах! мне бы слезы ваши были
Столь милы, как... любовь моя!
Но счастьем полным насладиться,
Изменой вдруг его лишиться
И в тягость другу быть, как я...
В подобном бедствии нас должно
Лишь богу одному судить!..
Когда мне здесь уже не можно
Для счастия супруга жить,
Могу еще, назло судьбине,
Ему пожертвовать собой!»

Вдруг обнаружились в Алине
Все признаки болезни злой,
И смерть приближилась к несчастной.
Супруг у ног ее лежал;

---

[1] См. III часть «Писем русского путешественника». Церковь, в которой они застрелились, построена на развалинах древнего храма, как сказывают. Все, что здесь говорит или мыслит Алина, взято из ее журнала, в котором она почти с самого детства записывала свои мысли и который хотела сжечь, умирая, но не успела. За день до смерти несчастная ходила на то место, где Фальдони и Тереза умертвили себя.

Неверный слезы проливал
И снова, как любовник страстной,
Клялся ей в нежности, в любви;
(Но поздно!) говорил: «Живи,
Живи, о милая! для друга!
Я, может быть, виновен был!»
«Нет! — томным голосом супруга
Ему сказала,— ты любил,
Любил меня! и я сердечно,
Мой друг, благодарю тебя!
Но если здесь ничто не вечно,
То как тебе винить себя?
Цвет счастья, жизнь, ах! все неверно!
Любви блаженство столь безмерно,
Что смертный был бы самый бог,
Когда б продлить его он мог...
Ничто, ничто моей кончины
Уже не может отвратить!
Последний взор твоей Алины
Стремится нежность изъявить..
Но дай ей умереть счастливо;
Дай слово мне — спокойным быть,
Снести потерю терпеливо
И снова — для любови жить!
Ах! если ты с другою будешь
Дни в мирных радостях вести,
Хотя Алину и забудешь,
Довольно для меня!.. Прости!
Есть мир другой, где нет измены,
Нет скуки, в чувствах перемены:
Там ты увидишься со мной
И там, надеюсь, будешь мой!..»
Навек закрылся взор Алины.
Никто не мог понять причины
Сего внезапного конца;
Но вы, о нежные сердца,
Ее, конечно, угадали!
В несчастьи жизнь нам немила...
Спросили медиков: узнали,
Что яд Алина приняла...
Супруг, как громом пораженный,
Хотел идти за нею вслед;

Но гласом дружбы убежденный,
Остался жить. Он слезы льет;
И сею горестною жертвой
Суд неба и людей смягчил;
Живой Алине изменил,
Но хочет верным быть ей мертвой!

1797—1800(?)

НАДПИСИ [1]
НА СТАТУЮ КУПИДОНА

1

НА ГОЛОВУ

Где трудится голова,
Там труда для сердца мало;
Там любви и не бывало;
Там любовь — одни слова.

2

НА ГЛАЗНУЮ ПОВЯЗКУ

Любовь слепа для света
И, кроме своего
Бесценного предмета,
Не видит ничего.

3

НА СЕРДЦЕ

Любовь — анатомист: где сердце у тебя,
Узнаешь, полюбя.

4

НА ПАЛЕЦ, КОТОРЫМ КУПИДОН ГРОЗИТ

Награда скромности готова:
Будь счастлив — но ни слова!

---

[1] Сочинитель сих надписей увидел в одном доме мраморного Амура и с позволения хозяйки исписал его карандашом с головы до ног.

5

НА РУКУ

Не верь любовнику, когда его рука
Дерзка.

6

НА КРЫЛО

Амур летает для того,
Чтоб милую найти для сердца своего.
Нашедши, крылья оставляет —
Уже ему в них нужды нет,—
Летать позабывает
И с милою живет.

7

НА СТРЕЛУ, КОТОРУЮ АМУР БЕРЕТ В РУКУ

Страшитесь: прострелю!
Но вы от раны не умрете;
Лишь томно взглянете, вздохнете
И скажете: *люблю!*

8

НА НОГУ

Когда любовь без ног? Как надобно идти
От друга милого, сказав ему: *прости!*

9

НА СПИНУ

Стою всегда лицом к красавцам молодым,
Спиною к старикам седым.

1798

ПРОТЕЙ, ИЛИ НЕСОГЛАСИЯ СТИХОТВОРЦА

NB. Говорят, что поэты нередко сами себе противоречат и переменяют свои мысли о вещах. Сочинитель отвечает:

Ты хочешь, чтоб Поэт всегда одно лишь мыслил,
Всегда одно лишь пел: безумный человек!
Скажи, кто образы Протеевы исчислил?
Таков питомец муз, и был и будет ввек.
Чувствительной душе не сродно ль изменяться?
Она мягка как воск, как зеркало ясна,
И вся природа в ней с оттенками видна.
Нельзя ей для тебя *единою* казаться
В *разнообразии* естественных чудес.
Взгляни на светлый пруд, едва, едва струимый
Дыханьем ветерка: в сию минуту зримы
В нем яркий Фебов свет, чистейший свод небес
И дерзостный орел, горе один парящий;
Кудрявые верхи развесистых древес;
В сени их пастушок с овечкою стоящий;
На ветви голубок с подружкою своей
(Он дремлет, под крыло головку спрятав к ней) —
Еще минута... вдруг иное представленье:
Сокрыли облака в кристалле Фебов зрак;
Там стелется один волнистый, сизый мрак.
В душе любимца муз такое ж измененье
Бывает каждый час; что видит, то поет,
И, всем умея быть, всем быть перестает.
Когда в весенний день, среди лугов цветущих
Гуляя, видит он природы красоты,
Нимф сельских хоровод, играющих, поющих,

Тогда в душе его рождаются мечты
О веке золотом, в котором люди жили
Как братья и друзья, пасли свои стада,
Питались их млеком; не мысля никогда,
Что есть добро и зло, *по чувству* добры были,
А более всего... резвились и любили!
Тогда он с Геснером свирелию своей
Из шума городов зовет в поля людей.
«Оставьте,— говорит,— жилище скуки томной,
Где все веселие в притворстве состоит;
Где вы находите единый ложный вид
Утехи и забав. В сени природы скромной
Душевный сладкий мир с веселостью живет;
Там счастье на лугу с фиалками цветет
И смотрится в ручей с пастушкою прекрасной.
О счастьи в городах лишь только говорят,
Не чувствуя его; в селе об нем молчат,
Но с ним проводят век, как день весенний ясной,
В невинности златой, в сердечной простоте».
Когда ж глазам его явится блеск искусства
В чудесности своей и в полной красоте:
Великолепный град, картина многолюдства,
Разнообразное движение страстей,
Подобных бурному волнению морей,
Но действием ума премудро соглашенных
И к благу общества законом обращенных:
Театр, где, действуя лишь для себя самих,
Невольно действуем для выгоды других;
Машина хитрая, чудесное сцепленье
Бесчисленных колес; ума произведенье,
Но, несмотря на то, загадка для него!
Тогда певец села в восторге удивленья,
Забыв свирель, берет для гимна своего
Златую лиру, петь утехи просвещенья:
«Что был ты, человек, с природою один?
Ничтожный раб ее, живущий боязливо.
Лишь в обществе ты стал природы властелин
И в первый раз взглянул на небо горделиво,
Взглянул и прочитал там славный жребий свой:
Быть в мире сем царем, творения главой.
Лишь в обществе душа твоя *себе сказалась,*
И сердце начало с сердцами говорить;

За мыслию одной другая вслед рождалась,
Чтоб лествицей уму в познаниях служить.
В Аркадии своей ты был с зверями равен,
И мнимый век златой, век лени, детства, сна,
Бесславен для тебя, хотя в стихах и славен.
Для бедных разумом жизнь самая бедна:
Лишь в общежитии мы им обогатились;
Лишь там художества с науками родились —
И первый в мире град был первым торжеством
Даров, влиянных в нас премудрым божеством.
Не в поле, не в лесах святая Добродетель
Себе воздвигла храм: Сократ в Афинах жил,
И в Риме Нума царь, своих страстей владетель,
Своих законов раб, бессмертье заслужил.
Не тот *Герой добра,* кто скрылся от порока,
От искушения, измен, ударов рока
И прожил век один с полмертвою душей;
Но тот, кто был всегда примером для людей,
Среди бесчисленных опасных преткновений,
Как мраморный колосс, незыблемо стоял,
Стезею правды шел во мраке заблуждений,
Сражался с каждым злом, сражаясь, побеждал.
Так кормчий посреди морей необозримых
Без страха видит гроб *волнистый* пред собой
И слышит грозный рев пучин неизмеримых;
Там гибельная мель, здесь камни под водой:
Но с картою в руках, с магнитом пред очами
Пловец в душе своей смеется над волнами
И к пристани спешит, где ждет его покой».

В сей хижине живет питомец Эпиктета,
Который, истребив чувствительность в себе,
Надежду и боязнь, престал служить судьбе
И быть ее рабом. Сия царица света
Отнять, ни дать ему не может ничего:
Ничто не веселит, не трогает его;
Он ко всему готов. Представь конец вселенной:
Небесный свод трещит; огромные шары
Летят с своих осей; в развалинах миры. . .
Сим страшным зрелищем мудрец не устрашенной
Покойно бы сказал: «Мне время отдохнуть
И в гробе Естества сном вечности заснуть!»

Поэт пред ним свои колена преклоняет
И полубога в нем на лире прославляет.
«Великая душа! что мир сей пред тобой?
Горсть пыльныя земли. Кто повелитель твой?
Сам бог — или никто. Ты нужды не имеешь
В подпоре для себя: тверда сама собой.
Без счастья быть всегда счастливою умеешь,
Умея презирать ничтожный блеск его;
Оно без глаз, а ты без глаз и для него:
Смеется иль грозит, не видишь ничего.
Пусть карлы будут им велики или славны:
Обманчивый призрак! их слава звук пустой;
В величии своем они с землею равны;
А ты равна ли с чем? с единою собой!»
И тою ж кистию, с тем самым же искусством
Сей нравственный Апелл распишет *слабость* вам,
Для стоиков порок, но сродную сердцам
Зависимых существ, рожденных с нежным чувством...
Ах! *слабость жить мечтой*, от рока ожидать
Всего, что мыслям льстит,— *надеяться, бояться,*
От удовольствия и страха трепетать,
Слезами радости и скорби обливаться!..
«Хвалитесь, мудрецы, бесстрастием своим
И будьте камнями назло самой природе!
Чувствительность! люблю я быть рабом твоим;
Люблю предпочитать зависимость свободе,
Когда зависимость есть действие твое,
Свобода ж действие холодности беспечной!
Кому пойду открыть страдание мое
В час лютыя тоски и горести сердечной?
Тебе ль, Зенон? чтоб ты меня лишь осудил,
Сказав, что винен я, *не властвуя собою?*
Ах! кто несчастия в сей жизни не вкусил,
Кто не был никогда терзаем злой судьбою
И слабостей не знал, в том сожаленья нет;
И редко человек, который вечно тверд,
Бывает не жесток. Я к вам пойду с слезами,
О нежные сердца! вы плакали и сами;
По чувству, опыту известна горесть вам.
К страдавшим страждущий доверенность имеет:
Кто падал, тот других поддерживать умеет.
Мы вместе воскурим молений фимиам...

Молитва общая до вышнего доходна;
Молитва общая детей отцу угодна...
Он *исполнение* с любовью изречет;
Зефир с небес для нас весть сладкую снесет;
Отчаяния мрак надеждой озарится,
И мертвый кипарис чудесно расцветет;
Кто был несчастлив, вдруг от счастья
прослезится».

Богатство, сан и власть! не ищет вас Поэт;
Но быть хотя на час предметом удивленья
Милее для него земного поклоненья
Бесчисленных рабов. Ему венок простой
Дороже, чем венец блистательный, златой.
С какою ж ревностью он славу прославляет,
И тем, что любит сам, сердца других пленяет!
С какою ревностью он служит эхом ей,
Гремящий звук ее векам передавая!
Сын Фебов был всегда хранитель алтарей,
На коих, память душ великих обожая,
Потомство фимиам бессмертию курит.
«Все тленно в мире сем, жизнь смертных
скоротечна,
Минутны радости, но слава долговечна:
Живите для нее! — в восторге он гласит,—
Достойна жизни цель, достойна жертв награда.
Мудрец! ищи ее, трудясь во тьме ночей:
Да искрой истины возженная лампада
Осветит ряд веков и будет для людей
Источником отрад! Творец благих законов!
Трудись умом своим для счастья миллионов!
Отдай отечеству себя и жизнь, герой!
Для вас покоя нет; но есть потомство, слава:
История для вас подъемлет грифель свой.
Вы жертвой будете всемирного устава,
Низыдете во гроб, но только *для очей:*
Для благодарных *душ* дни ваши бесконечны;
Последствием своим дела и разум вечны:
Сатурн не может их подсечь косой своей.
Народы, коих вы рождения не зрели,
Которых нет еще теперь и колыбели,
Вас будут знать, любить, усердно прославлять,

Как гениев земли считать полубогами
И клясться вашими святыми именами!»

Так свойственно Певцу о славе воспевать;
Но часто видя, как сердца людей коварны,
Как души низкие всё любят унижать,
Как души слабые в добре неблагодарны,
Он в горести гласит: «О слава! ты мечта,
И лишь вдали твои призраки светозарны;
Теряется вблизи их блеск и красота.
Могу ли от того я быть благополучен,
Что скажет обо мне народная молва?
Счастливо ль сердце тем, что в лаврах голова?
Великий Александр себе был в славе скучен
И в чаше Вакховой забвения искал.[1]
Хвалы ораторов афинских он желал;
Но острые умы его пересмехали:
В Афинах храбреца безумцем называли.
Ах! люди таковы: в божественных душах
Лишь смотрят на порок, изящного не видят;
Великих любят все... в романах, на словах,
Но в свете часто их сердечно ненавидят.
Для счастия веков трудись умом своим:
В награду прослывешь мечтателем пустым;
Будь мудр, и жди себе одних насмешек злобных.
Глупцам приятнее хвалить себе подобных,
Чем умных величать; глупцов же полон свет.
Но справедливость нам потомство отдает!..
Несчастный! что тебе до мнения потомков?
Среди могил, костей и гробовых обломков
Не будешь чувствовать, что скажут о тебе.
Безумен славы раб! безумен, кто судьбе
За сей *кимвальный звон* отдаст из доброй воли
Спокойствие души, блаженство тихой доли!
Не знает счастия, не знает тот людей,
Кто ставит их хвалу предметом жизни всей!»
Но в чем сын Фебов так с собою несогласен,
Как в песнях о любви? то счастие она,
То в сердце нежное на муку вселена;
То мил ее закон, то гибелен, ужасен.

---

[1] Известно, что Александр излишне любил вино.

Любовь есть прелесть, жизнь чувствительных
сердец;
Она ж в Поэзии начало и конец.
Любви обязаны мы первыми стихами,
И Феба без нее не знал бы человек.
Прощаяся с ее эфирными мечтами,
Поэт и с музами прощается навек —
Или стихи его теряют цвет и сладость;
Златое время их есть только наша младость.
Внимай: Эротов друг с веселием поет
Счастливую любовь: «Как солнце красит свет
И мир физический огнем одушевляет,
Так мир чувствительный любовию живет,
Так нежный огнь ее в нем душу согревает.
Она и жизнь дает, она и жизни цель;
Училищем ее бывает колыбель,
И в самой старости, у самыя могилы
Ее бесценные воспоминанья милы.
Когда для тайных чувств своих предмет найдем,
Тогда лишь прямо жить для счастия начнем;
Тогда узнаем мы свое определенье.
Как *первый* человек, нечаянно вкусив
Плод сочный, вдруг и глад и жажду утолив,
Уверился, что есть *потребность, наслажденье,*
Узнал их связь, предмет [1] — так *юный* человек,
Любящий в первый раз, уверен в том душею,
Что создан он любить, жить с милою своею,
Составить с ней одно — или томиться ввек.
Блаженная чета! .. какая кисть опишет
Тот радостный восторг, когда любовник слышит
Слова: *люблю! твоя!* .. один сей райский миг
Завиднее ста лет, счастливо проведенных
Без горя и беды, в избытке благ земных!
Все мило для сердец, любовью упоенных;
Где терние другим, там розы им цветут.
В пустыне ль, в нищете ль любовники живут,
Для них равно; везде, во всем судьбой довольны.
Неволя самая им кажется легка,
Когда и в ней они любить друг друга вольны.
Ах! жертва всякая для нежности сладка.

[1] См. в Бюффоне чувства первого человека.

Любовь в терпении находит утешенье
И в верности своей за верность награжденье.
Над сердцем милым власть милее всех властей.
Вздыхает иногда и лучший из царей:
Всегда ли может он нам властию своею
Блаженство даровать? В любви ж всегда мы ею
И сами счастливы, и счастие даем,
Словами, взорами, слезой, улыбкой — всем.
Минута с милою есть вечность наслажденья,
И век покажется минутой восхищенья!»

Так он поет — и вдруг, унизив голос свой,
Из тихо-нежных струн дрожащею рукой
Иные звуки он для сердца извлекает...
Ах! звуки горести, тоски! Мой слух внимает:
«Я вижу юношу примерной красоты;
Любовь, сама любовь его образовала;
Она ему сей взор небесный даровала,
Сии прелестные любезности черты.
Для счастья создан он, конечно б вы сказали;
Но томен вид его, и черный креп печали
Темнит огонь в глазах. Он медленно идет
Искать, не алых роз среди лугов весенних —
И лето протекло, цветов нигде уж нет,—
Но горестных картин и ужасов осенних
В унылых рощах, где валится желтый лист
На желтую траву, где слышен ветров свист
Между сухих дерев; где летом птички пели,
Но где уже давно их гнезда охладели.
Там юноша стоит над шумною рекой
И, зря печальный гроб Натуры пред собой,
Так мыслит: *прежде все здесь жило, зеленело,*
Цвело для глаз; теперь уныло, помертвело!..
И я душою цвел, и я для счастья жил:
Теперь навек увял и с счастием простился!
На что ж мне жизнь? — сказал... в волнах реки
сокрылся..

О нежные сердца! сей юноша любил;
Но милый друг ему коварно изменил!..
Хотите ли змею под алой розой видеть,

Хотите ль жизнь и свет душой возненавидеть
И в сердце собственном найти себе врага —
Любите! .. скоро прах ваш будет под землею:
Ах! жизнь чувствительных не может быть долга!
Любовь для них есть яд: восторгом и тоскою
Она мертвит сердца; восторг есть миг — пройдет,
Но душу от других благ в мире отвращает:
Все будет скучно ей — тоска же в ней живет,
Как лютая змея; всегда, всегда терзает.
Измена, ветреность, коварство, злой обман. .
Кому исчислить все причины огорчений,
Все бедствия любви? их целый океан,
При капле, может быть, сердечных наслаждений.
Когда увидите страдания черты
И бледность томную цветущей красоты,
Ах! знайте, что любовь там душу изнуряет.
Кто ж счастливым себя любовью почитает,
Тот пением сирен на время усыплен,
Но тем несчастнее, проснувшись, будет он!»

Противоречий сих в порок не должно ставить
Любимцам нежных муз; их дело выражать
Оттенки разных чувств, не мысли соглашать;
Их дело не решить, но трогать и забавить.
Пусть ищет философ тех кладезей подземных,
Где истина живет без всех гаданий темных
И где хранится ключ природы для ума!
Здесь [1] сердце говорит, но истина нема;
Поэты делают язык его нам внятным —
И сердцу одному он должен быть приятным.
Оно полюбит вещь, не взлюбит через час,
И музы в сем ему охотно подражают;
То хвалят с живостью, то с жаром осуждают.
Предметы разный вид имеют здесь для нас:
С которой стороны они явятся взору,
И чувству таковы.— Поди в весенний сад,
Где ветреный Зефир, резвясь, целует Флору
В прелестных цветниках — там зрение пленят
И роза и ясмин, и ландыш и лилея:

[1] То есть в здешнем свете.

Сорви что выберешь по вкусу своему.
Так точно, нежный вкус к Поэзии имея,
Читай стихи — и верь единственно тому,
Что нравится тебе, что сказано прекрасно,
И что с потребностью души твоей согласно;
Читай, тверди, хвали: хвала стихам венец.
Поэзия — цветник чувствительных сердец.

1798

ПРОРОЧЕСТВО НА 1799 ГОД,
НАЙДЕННОЕ В БУМАГАХ НОСТРАДАМУСА

В сей год глупцы и ум не будут — антиподы,
Из глаз мадамы Шню [1] родится — василиск,
Немые с сиднями составят — хороводы,
Из Рима в Клин шагнет Траянов — обелиск,
Поэта Дмитрева разлюбят — Аониды,
Оставят злых людей в покое — эвмениды,
Амур явится вдруг с усами как — гусар,
Прекрасным девушкам в Москве наскучат — балы,
Скупые засветят без свеч одни — шандалы,
Чтоб все сие воспеть, родится вновь — Пиндар.

1798—1799

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Что есть любить?
Тужить.
А равнодушным быть?
Не жить.

<1798—1799>

---

[1] Содержательница кофейного дому, славная своим безобразием.

МЕЛАНХОЛИЯ

Подражание Делилю

Страсть нежных, кротких душ, судьбою
угнетенных,
Несчастных счастие и сладость огорченных!
О Меланхолия! ты им милее всех
Искусственных забав и ветреных утех.
Сравнится ль что-нибудь с твоею красотою,
С твоей улыбкою и с тихою слезою?
Ты первый скорби врач, ты первый сердца друг:
Тебе оно свои печали поверяет;
Но, утешаясь, их еще не забывает.
Когда, освободясь от ига тяжких мук,
Несчастный отдохнет в душе своей унылой,
С любовию ему ты руку подаешь
И лучше радости, для горестных немилой,
Ласкаешься к нему и в грудь отраду льешь
С печальной кротостью и с видом умиленья.
О Меланхолия! нежнейший перелив
От скорби и тоски к утехам наслажденья!
Веселья нет еще, и нет уже мученья;
Отчаянье прошло... Но слезы осушив,
Ты радостно на свет взглянуть еще не смеешь
И матери своей, Печали, вид имеешь.
Бежишь, скрываешься от блеска и людей,
И сумерки тебе милее ясных дней.
Безмолвие любя, ты слушаешь унылый
Шум листьев, горных вод, шум ветров и морей.
Тебе приятен лес, тебе пустыни милы;
В *уединении* ты *более с собой.*
Природа мрачная твой нежный взор пленяет:
Она как будто бы печалится с тобой.

Когда светило дня на небе угасает,
В задумчивости ты взираешь на него.
Не шумныя весны любезная веселость,
Не лета пышного роскошный блеск и зрелость
Для грусти твоея приятнее всего,
Но осень бледная, когда, изнемогая
И томною рукой венок свой обрывая,
Она кончины ждет. Пусть веселится свет
И счастье грубое в рассеянии новом
Старается найти: тебе в нем нужды нет;
Ты счастлива мечтой, одною мыслью — словом!
Там музыка гремит, в огнях пылает дом;
Блистают красотой, алмазами, умом:
Там пиршество. . . но ты не видишь, не внимаешь
И голову свою на руку опускаешь;
Веселие твое — задумавшись, молчать
И на прошедшее взор нежный обращать.

1800

КУПЛЕТЫ

ИЗ ОДНОЙ СЕЛЬСКОЙ КОМЕДИИ, ИГРАННОЙ БЛАГОРОДНЫМИ ЛЮБИТЕЛЯМИ ТЕАТРА

Хор земледельцев

Как не петь нам? Мы счастливы.
Славим барина-отца.
Наши речи не красивы,
Но чувствительны сердца.
Горожане нас умнее:
Их искусство — говорить.
Что ж умеем мы? Сильнее
Благодетелей любить.

Сельский любовник

Здесь сердца людей согласны
С их нельстивым языком,
Наши милые прекрасны
Не раскрашенным лицом,
А природными чертами;
Обмануть нас не хотят
Ни глазами, ни словами:
Лишь по чувству говорят.

Девушка

Как нам, девушкам, ни больно
Тайну сердца объявить,
Слово вылетит невольно:
Скажешь — поздно воротить!
Притворяться ввек не можно:
Все мы созданы любить;

Лишь держаться слова должно;
Стыдно, стыдно изменить.

Сельская любовница

Я с любовию играла
И с любовию росла;
С нею горе я узнала,
С нею счастие нашла;
И надеюсь без искусства
Сердце друга сохранить;
Верность, жар и нежность чувства
Мне помогут милой быть.

Городской житель

Если в городе имеют
Больше средств пленять мужчин,
Лучше здесь любить умеют.
Там любовь есть цвет один,
Здесь любовь есть цвет с плодами.
Время нравиться пройдет,
И кокетка с сединами
Есть завялый пустоцвет.

Горожанка

Тот живет благополучно,
Кто умеет жить в другом.
О себе лишь думать — скучно;
Счастье в двух, а не в одном.
Кто же бабочкой летает
С василька на василек,
Тот любви еще не знает;
Кто любил, тот любит ввек.

Горожанин

Если б было в нашей власти
Вечно бабочкой летать,
Не дивился бы я страсти
С тем любить, чтоб разлюблять.
Время крылья подсекает,
И придется сиднем быть.

Поздно ветреный узнает,
Каково на ветер жить!

Госпожа

Можно в самом шуме света
С тихим сердцем век прожить,
Святость брачного обета
И невинность сохранить.
Добродетель утешает,
Страсть к раскаянью ведет.
Пусть любовник нас пленяет —
Счастье лишь супруг дает.

Горожанка

Ах! во мраке заблужденья
Счастье — ложная мечта.
Нет для сердца наслажденья,
Если совесть нечиста.
Что жена без доброй славы?
Мужу, детям вечный стыд.
Как ни худы в свете нравы,
Всякий добродетель чтит.

Староста

Женихам, невестам должно
В песне правду объявить.
Ввек прельщаться невозможно:
Что же можно нам? любить.
С другом жить, не с красотою;
Будешь молод не всегда.
Кто же мил душе душою,
В том морщина не беда.

Бурмистр

Будем жить, друзья, с женами,
Как живали в старину.
Худо нам быть их рабами;
Воля портит лишь жену.
Дома им не посидится;
Все бы, все бы по гостям.

Это, право, не годится;
Приберите их к рукам.

Вахмистр

Наш бурмистр несет пустое;
Не указ нам старина.
Воля — дело золотое,
А закон — любовь одна.
Русский создан прославляться,
Государю верным быть,
Пули, смерти не бояться
И красавицам служить.

Горожанка

Может быть, не без причины,
Если правду говорить,
Вы браните нас, мужчины;
Но одни хотите ль жить?
Вам даны природой силы,
Нам — искусство вас ловить;
Мы друг другу, право, милы —
Будем спорить и любить!

1800

ГИМН ГЛУПЦАМ

Блажен не тот, кто всех умнее —
Ах, нет! он часто всех грустнее,—
Но тот, кто, будучи глупцом,
Себя считает мудрецом!
Хвалю его! блажен стократно,
Блажен в безумии своем!
К другим здесь счастие превратно —
К нему всегда стоит лицем.

Ему ли ссориться с судьбою,
Когда доволен он собою?
Ему ль чернить сей белый свет?
По маслу жизнь его течет.
Он ест приятно, дремлет сладко;
Ничем в душе не оскорблен.
Как ночью кажется все гладко,
Так мир для глупых совершен.

Когда другой с умом обширным,
Прослыв философом всемирным,
Вздыхает, чувствуя, сколь он
Еще от цели удален;
Какими узкими стезями
Нам должно мудрости искать;
Как трудно слабыми очами
Неправду с правдой различать;

Когда Сократ, мудрец славнейший,
Но в славе всех других скромнейший,
Всю жизнь наукам посвятив,

Для них и жизни не щадив,
За тайну людям объявляет,
Что все загадка для него
И мудрый разве то лишь знает,
Что он не знает ничего,—

Тогда глупец в мечте приятной
Нам хвалит ум свой необъятной:
«Ему подобных в мире нет!»
Хотите ль? звезды он сочтет
Вернее наших астрономов.
Хотите ль? он расскажет, как
Сияет солнце в царстве гномов,
И рад божиться вам, что *так!*

Боясь ступить неосторожно
И зная, как упасть возможно,
Смиренно смотрит вниз мудрец —
Глядит спесиво вверх глупец.
Споткнется ль, в яму упадая?
Нет нужды! встанет без стыда,
И, грязь с себя рукой стирая,
Он скажет: *это не беда!*

С умом в покое нет покоя.
Один для имени героя
Рад мир в могилу обратить,
Для крестика без носа быть;
Другой, желая громкой славы,
Весь век над рифмами корпит;
Глупец смеется: «вот забавы!»
И сам — за бабочкой бежит!

Ему нет дела до правлений,
До тонких, трудных умозрений,
Как страсти к благу обращать,
Людей учить и просвещать.
Царь кроткий или царь ужасный
Любезен, страшен для других —
Глупцы Нерону не опасны:

Нерон не страшен и для них.
Другим чувствительность — страданье,
Любовь не дар, а наказанье:
Кто ж век свой прожил, не любя?
Глупец! .. он любит лишь себя,
И следственно любим не ложно;
Не ведает измены злой!
Другим грустить в разлуке должно,—
Он весел: он всегда с собой!

Когда, узнав людей коварных,
Холодных и неблагодарных,
Душою нежный человек
Клянется их забыть навек
И хочет лучше жить с зверями,
Чем жертвой лицемеров быть,—
Глупец считает всех друзьями
И мнит: «меня ли не любить?»

Есть томная на свете мука,
Змея сердец; ей имя *скука:*
Она летает по земле
И плавает на корабле;
Она и с делом и с бездельем
Приходит к мудрым в кабинет;
Ни шумом светским, ни весельем
От скуки умный не уйдет.

Но счастливый глупец не знает,
Что скука в свете обитает.
Гремушку в руки — он блажен
Один среди безмолвных стен!
С умом все люди — Гераклиты
И не жалеют слез своих;
Глупцы же сердцем Демокриты:
Род смертных Арлекин для них!

Они судьбу благословляют
И быть умнее не желают.

Раскроем летопись времен:
Когда был человек блажен?
Тогда, как, думать не умея,
Без смысла он *желудком жил*.
Для глупых здесь всегда Астрея,
И век златой не проходил.

1802

ЭМИЛИИ

Подруга милая моей судьбы смиренной,
Которою меня бог щедро наградил!
Ты хочешь, чтобы я, спокойством усыпленной
Для света и для муз, талант мой пробудил
И людям о себе напомнил бы стихами.
О чем же мне писать? В душе моей одна,
Одна живая мысль; я разными словами
Могу сказать одно: душа моя полна
Любовию святой, блаженством и тобою,—
Другое кажется мне скучной суетою.
Сказав тебе: *люблю!* уже я все сказал.
Любовь и счастие в романах говорливы,
Но в истине своей и в сердце молчаливы.
Когда я счастие себе *воображал,*
Когда искал его под бурным небом света,
Тогда о прелестях *сокрытого* предмета
Я часто говорил; играл умом своим
И тени прибирать любил одне к другим,
В *отсутствии* себя портретом утешая;
Тогда я счастлив был, о счастии мечтая:
Мечта приятна нам, когда она жива.
Но ныне, милый друг, сильнейшие слова
Не могут выразить сердечных наслаждений,
Которые во всем с тобою нахожу.
Блаженство предо мной: я на тебя гляжу!
Считаю радости свои числом мгновений,
Не думая о том, как их изображать.
Любовник может ли любовницу писать?
Картина пишется для взора, а не чувства,
И сердцу угодить не станет век искусства.

Но если б я и мог, любовью вдохновен,
В стихах своих излить всю силу, нежность жара,
Которым твой супруг счастливый упоен,
И кистию живой и чародейством дара
Все счастие свое, как в зеркале, явить,
Не думай, чтобы тем я мог других пленить.
Ах, нет! сердечный звук столь тих, что он невнятен
В мятежных суетах и в хаосе страстей.
Кто истинно блажен, тот свету неприятен,
Служа сатирою почти на всех людей.
Столь редко счастие! и столь несправедливы
Понятия об нем! Иначе кто, в сребре,
В приманках гордости, в чинах и при дворе,
Искал бы здесь его? Умы самолюбивы:
Я спорить не хочу; но мне позволят быть
Довольным в хижине, любимым — и любить!
Так пастырь с берега взирает на волненья
Нептуновых пучин и видит корабли
Игралищем стихий; желает им спасенья,
Но рад, что он стоит надежно на земли.
Нет, нет, мой милый друг! сердечное блаженство
Желает тишины, а музы любят шум;
Не истина, но блеск в поэте совершенство,
И ложь красивая пленяет светский ум
Скорее, чем язык простой, нелицемерный,
Которым говорят правдивые сердца.
Сказав, что всякий день, с начала до конца,
Мы любим быть одни; что мы друг другу верны
Во всех движениях открытыя души;
Сказав, что все для нас минуты хороши,
В которые никто нам не мешает вольно
Друг с другом говорить, друг друга целовать,
Ласкаться взорами, задуматься, молчать;
Сказав, что малого всегда для нас довольно;
Что мы за все, за все творца благодарим,
Не просим чуждого, но счастливы своим,
Моля его, чтоб он без всяких прибавлений
Оставил все, как есть, в самих нас и вокруг,—
Я вкусу *знатоков* не угожу, мой друг!
Где тут поэзия? где вымысл украшений?
Я истину скажу; но кто поверит ей?
Когда пылающий любовник (часто мнимый)

Стихами говорит любовнице своей,
Что для него она предмет боготворимый;
Что он единственно к ней страстию живет,
За нежный взор ее короны не возьмет
И прочее,— тогда ему иной поверит:
«Любовник,— думают,— в любви не лицемерит;
Обманывает он себя, а не других».
Но чтоб супружество для сердца было раем;
Чтоб в мирной тишине приятностей своих
Оно казалося всегда цветущим маем,
Без хлада и грозы; чтоб нежный Гименей
Был страстен, и еще сильнее всех страстей,—
То люди назовут бессовестным обманом.
История любви там кажется романом,
Где все романами и дышит и живет.
Нет, милая! любовь супругов так священна,
Что быть должна от глаз нечистых сокровенна;
Ей сердце — храм святой, свидетель — бог, не свет;
Ей счастье — друг, не Феб, друг света и притворства:
Она по скромности не любит стихотворства.

1802

БЕРЕГ

После бури и волненья,
Всех опасностей пути,
Мореходцам нет сомненья
В пристань мирную войти.

Пусть она и неизвестна!
Пусть ее на карте нет!
Мысль, надежда им прелестна
Там избавиться от бед.

Если ж взором открывают
На брегу друзей, родных,
О блаженство! восклицают
И летят в объятья их.

Жизнь! ты море и волненье!
Смерть! ты пристань и покой!
Будет там соединенье
Разлученных здесь волной.

Вижу, вижу... вы маните
Нас к таинственным брегам!..
Тени милые! храните
Место подле вас друзьям!

<1802>

К ДОБРОДЕТЕЛИ

О ты, которая была
В глазах моих всегда прелестна,
Душе моей всегда мила
И сердцу с юности известна!
Вхожу в святилище твое;
Объемлю, чувством вдохновенный,
Твой жертвенник уединенный!
Одно усердие мое
Дает мне право не чуждаться
Твоих священных алтарей
И в пламенной душе моей
Твоим блаженством наслаждаться!

Нет дел моих перед тобой!
Не сыпал злата я на бедных:
Мне злата не дано судьбой;
Но глаз заплаканных, лиц бледных
Не мог без грусти замечать;
Дружился в сердце с угнетенным
И жалобам его священным
Любил с прискорбием внимать;
Любил суды правдивы рока,
Невинных, добрых торжество.
«Есть гроб, бессмертье, божество!» —
Я мыслил, видя трон порока.

Нет, нет! я не был ослеплен
Сим блеском, сколь он ни прекрасен!
Дракон на время усыплен,
Но самый сон его ужасен.

Злодей на Этне строит дом,
И пепел под его ногами;
Там лава устлана цветами
И в тишине таится гром.
Пусть он не знает угрызенья!
Он недостоин знать его.
Бесчувственность есть ад того,
Кто зло творит без сожаленья.

Нет, в мыслях я не унижал
Твоих страдальцев, Добродетель:
Жалеть об них я не дерзал!
В оковах раб, в венце владетель
Равно здесь счастливы тобой.
Твоею силой укрепленный,
На место казни возведенный,
Достоин зависти герой:
У ног его лежит вселенна!
Он нам оставит тленный прах,
Но дух его на небесах —
Душа сама собой блаженна.

Когда мир целый трепетал,[1]
Волнуемый страстями злыми,—
Мой взор знамен твоих искал:
Я сердцем следовал за ними!
Творил обеты... слезы лил
От радости и скорби тайной...
Кто в век чудесной, чрезвычайной
Призраком не обманут был?
Когда ж людей невинных кровью
Земля дымиться начала,
Мне свет казался адом зла...
Свободу я считал любовью!..

Я был игралищем страстей,
Родясь с чувствительной душою:
Их огнь пылал в груди моей;
Но сердце с милою мечтою
Всегда сливало образ твой:

[1] Во время революции.

Прости! .. Ах! лета заблуждений
Текут стезею огорчений;
Нам страшен в младости покой
И тернием любезны розы! ..
Я жертвой, не тираном был
И в нежных горестях любил
Свои, а не чужие слезы!

Не совестью, одной тоской
Я в жизни более терзался;
Виновный только пред собой,
Сквозь слезы часто улыбался!
Когда же, сердцем увлечен,
Не помнил я, в восторгах страсти,
Твоей, о Добродетель! власти
И, блеском счастья ослеплен,
Спешил за ним на путь неправый,—
Я был загадкой для себя:
Как можно столь любить тебя
И нарушать твои уставы!

Преплыв обширный океан
Чрез многие пучины, мели,
Собрав богатства дальних стран,
Пловец стремится к верной цели,
К своим отеческим брегам,
И взор его нетерпеливый
Уже открыл сей край счастливый;
Он мыслит радостно: «я там! ..»
Вдруг буря в ужас все приводит —
Корабль скрывается в волнах!
Пловец не гибнет — но в слезах
Он нищим на берег выходит!

Вот жребий мой! .. Ах! я мечтал
О тихой пристани, покое;
Но буря и свирепый вал
Сокрыли счастие златое!
Пристанища в сем мире нет,
И нас с последнею волною,
В земле под гробовой доскою,
К себе червь кровоглавый ждет! ..

Блажен, кто не был здесь свидетель
Погибели своих друзей,
Или в несчастьях жизни сей
Тобой утешен, Добродетель!..

Смотрю на небо: там цветы
В прелестных радугах играют;
Златые, яркие черты
Одна другую пресекают
И вдруг, в пространствах высоты,
Сливаются с ночным мерцаньем...
Не можно ль с *северным сияньем*
Сравнять сей жизни красоты?..
Оно угасло — но блистает
Еще Полярная звезда:
Так Добродетель никогда
Во мраке нас не оставляет!..

Остаток радостей земных,
Дочь милую, кропя слезами,
В восторге нежных чувств моих
К тебе дрожащими руками
Подъемлю и молю: будь ей
И горем здесь и утешеньем,
Без счастья верным наслажденьем!
В последний час судьбы моей
Ее ко груди прижимая,
Да обниму я в ней тебя!
Да гасну, вас равно любя,
И милой милую вручая!

1802

ПЕСНЬ ВОИНОВ

(сочинена в 1806 году)

Гремит, гремит священный глас
Отечества, Закона, Славы!
Сыны Российския державы!
Настал великодушных час:
Он наш! .. Друзья! вооружимся,
С врагом отечества сразимся;
Ударим мощною рукой,
Как дети грозного Борея,
И миру возвратим покой,
Низвергнув общего злодея!

Цари, народы слезы льют:
Державы, воинства их пали;
Европа есть юдоль печали.
Свершился ль неба страшный суд?
Нет, нет! у нас святое знамя,
В руках железо, в сердце пламя:
Еще судьба не решена!
Не торжествуй, о Галл надменный!
Твоя победа не верна:
Се Росс, тобой не одоленный!

Готов кровопролитный бой!
Отведай сил и счастья с нами;
Сломи грудь грудью, ряд рядами;
Ступай: увидим, кто герой!
Пощады нет: тебя накажем
Или мы все на месте ляжем.
Что жизнь для побежденных? — стыд!

Кто в плен дается? — боязливый!
Сей острый меч, сей медный щит
У нас в руках, пока мы живы.

Ты нам дерзаешь угрожать?
Но римлян страшных легионы
Могли ль дать Северу законы?
Полунощь есть героев мать:
Рим пал, их мышцей сокрушенный,
Колосс, веками утвержденный.
Ищи на Юге робких слуг:
Сын Севера в стране железной
Живет с свободою сам-друг,
И царь ему — отец любезной.

Но ты идешь: друзья! вперед!
Гремите звучными щитами,
Сверкайте светлыми мечами
И пойте древний гимн побед!
Герои в старости маститой,
Делами, саном знаменитой!
Ведите юнош славы в храм!
Достойный алтарей служитель!
Кури священный фимиам;
Молись... Росс будет победитель!

О тени древних сограждан!
В селеньях горних вы покойны:
Мы славы вашея достойны;
Обет сердечный нами дан
Служить примером для потомства;
Не знают Россы вероломства
И клятву чести сохранят:
Да будет мир тому свидетель!
За Галла весь ужасный ад —
За нас же бог и добродетель!

1806

СТИХИ К ПОРТРЕТУ И. И. ДМИТРИЕВА

1

Министр, поэт и друг: я все тремя словами
Об нем для похвалы и зависти сказал.
Прибавлю, что чинов и рифм он не искал,
Но рифмы и чины к нему летели сами!

1810(?)

2

Он с честью был министр, со славою поэт;
Теперь для дружества и счастия живет.

1815

ТЕНЬ И ПРЕДМЕТ

Мы видим счастья тень в мечтах земного света;
Есть счастье где-нибудь: нет тени без предмета.

1822

СТИХОТВОРЕНИЕ, ПРИПИСЫВАЕМОЕ Н. М. КАРАМЗИНУ

СИЛЬФИДА

Плавай, Сильфида, в весеннем эфире!
С розы на розу в веселье летай!
С нежного мирта в кристальный источник
На испещренный свой образ взирай!

Май твоей жизни да будет весь ясен!
Пчелка тебя никогда не пугай,
Там, где пиешь ты свой сладостный нектар,
Птица Цитерина мимо лети!

В Оркус низыдя, Сильфида, покойся
Кротко в Платоновом вечном венке!
Он возвещал утешение смертным,
Психе свободу, подобно тебе.

До 1791

И. И. ДМИТРИЕВ

И. И. ДМИТРИЕВ

Значительную роль в формировании русского дворянского сентиментализма сыграл ближайший соратник Карамзина Иван Иванович Дмитриев, выступивший в литературе в начале 90-х годов XVIII столетия. По его песням, посланиям, лирике в дворянских гостиных учились сентиментальному стилю жизни и сентиментальной морали, если верить современникам, еще более усердно, чем по лирике Карамзина.

Белинский дал меткую характеристику кругу чувствительных поклонников Дмитриева. Этот круг проливал слезы и вздыхал, «любовь <в этом кругу> заменила славу, миртовые венки вытеснили лавровые, горлицы своим *томным воркованием* заглушали громкий клект орлов. Права на любовь состояли в нежности, в одной нежности... Несчастный, от разлуки или от измены, кротко и умиленно говорил *милой* или *жестокой:*

Две горленки укажут
Тебе мой хладный прах...

...В этом *чувствительном* периоде русской литературы есть, конечно, своя смешная сторона, и над нею довольно посмеялись последовавшие за тем периоды».[1] Но Белинский не отказывал творчеству соратника Карамзина в известном историческом значении.

Дмитриев-поэт, несмотря на консервативность политических взглядов,[2] содействовал развитию русского литературного языка,

---

[1] В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений. Под редакцией и с примечаниями С. А. Венгерова. СПб, 1904, т. VII, стр. 468—469.

[2] Вигель в своих мемуарах отметил, что в «Дмитриеве старинный дворянин был еще чувствительнее, чем поэт и офицер» (см. Ф. Ф. Вигель. Записки. М., Изд. «Круг», 1928, т. I, стр. 301).

развитию русской басни и культуры стихотворного перевода в России. Неслучайно Жуковский, замечательный переводчик, создатель нового стиля в русском переводе, считал себя во многом обязанным Дмитриеву.

1

И. И. Дмитриев родился в 1760 году в имении отца под Симбирском. Здесь прошло его детство, отсюда с родителями он бежал от Пугачева в Москву. 14-ти лет Дмитриев поступил в гвардейский Семеновский полк. В годы военной службы, между строями и караулами, начал писать стихи. Тогда же завязалась его дружба с Карамзиным, и хотя Карамзин был моложе на шесть лет, он вскоре стал для Дмитриева судьей и руководителем в литературной работе. В «Московском журнале» и позже в других изданиях Карамзина появились почти все произведения Дмитриева. Вслед за «Моими безделками» Карамзина вышли «И мои безделки» Дмитриева (1795).

Быстро прославившись, с 1797 года член Российской академии, Дмитриев стал законодателем в кругу салонных поэтов сентиментального направления.

В 1796 году произошло событие, изменившее весь ход жизни и деятельности Дмитриева. В дни коронации Павла I он был ложно обвинен в покушении на императора и взят под стражу. Когда ошибка выяснилась, на Дмитриева, гвардейского офицера и к тому времени известного поэта, щедро посыпались царские милости и началась его феерическая карьера, одна из тех удивительных карьер, которыми так славилось павловское царствование: с гатчинского парада легко было попасть и в следующий чин и в Сибирь. Дмитриев, избежав виселицы или плахи, вышел из офицеров в сенаторы. «Он полетел в чины»,— писал в «Капище моего сердца» не без зависти князь Долгоруков, однополчанин Дмитриева и поэт.

В 1797 году Дмитриев был назначен товарищем министра уделов и вскоре обер-прокурором Сената. В 1799 году, после служебных неприятностей, он вышел в отставку, а в 1806 году Александр I вернул его в Сенат. Четыре года Дмитриев прослужил министром юстиции (1810—1814), после чего окончательно вышел в отставку и переселился в Москву.

Под старость, осторожный вельможа, представитель просвещенного екатерининского дворянства конца столетия, он постепенно отошел от живой литературы. В конце своего писательского пути знаменитый соратник Карамзина явился представителем ушедшей школы, генералом без войска, обломком литературной старины,

чужим для представителей передовой русской литературы. Но его творчество сохранило поэтическую прелесть и значение для консервативно настроенных кругов и для ближайших последователей, для Жуковского.

Все, что мог сказать Дмитриев-поэт, он сказал в 90-х годах XVIII столетия, и собрание его сочинений 1803—1805 годов было, по существу, уже итогом его деятельности. То немногое, что он написал позже, не уступало написанному в молодости, но не вносило в русскую литературу ничего нового. Книга его апологов, четырехстрочных басен, переводов по преимуществу из Мольво, вышедшая в 1826 году, в год следствия над декабристами, прошла почти незамеченной.

Уже в 1815 году, когда еще раздавались шумные похвалы собраниям стихотворений Дмитриева, лицеист Пушкин откровенно шутил над сентиментальными стихами в послании к Дельвигу:

Поэта окружают
С улыбкой остряки.
«Ах, сударь! — мне сказали,—
Вы пишете стишки?
Увидеть их нельзя ли?
Вы в них изображали,
Конечно, ручейки,
Конечно, василечек,
Иль тихий ветерочек,
И рощи, и цветки...

В 1824 году Пушкин писал Вяземскому: «Повторяю тебе перед евангелием и святым причастием — что Дмитриев, несмотря на все старое свое влияние, не имеет, не должен иметь более весу, чем Херасков или дядя В<асилий> Львович». Это письмо Пушкин писал по поводу восторженной статьи Вяземского к собранию стихотворений Дмитриева 1823 года. Для Вяземского, сторонника карамзинизма и аристократической поэзии, для Жуковского, издававшего стихи «Для немногих», дух салонной светской изысканности в поэзии Дмитриева был дорог. Для них Дмитриев являлся учителем, а его произведения — знаменем аристократической литературы.[1]

О литературных взглядах Дмитриева, особенно последних лет жизни, можно судить по его письму к Вяземскому от 6 ноября

[1] Жуковский в стихотворном послании «К Ив. Ив. Дмитриеву» 1831 года и позже в письме 1834 года писал об этом: «Вы всетаки останетесь для меня на всю мою жизнь второю ипостасью нашего незабвенного Николая Михайловича <Карамзина>» (Соч., 1878, т. VI, стр. 433).

1830 года,[1] в котором он писал: «Я разделяю словесность нашу на 4 периода: 1-й начинается от Кантемира; характер его: усилия приблизить книжный язык старинный к новому светскому; 2-й — от Ломоносова: то же стремление в начале, а с половины периода колебание в выборе слога, ложное понятие о высоком слоге... старание следовать правилам изящного вкуса, изобилие в оригинальных сочинениях и любовь к переводам иностранных отличных сочинений; 3-й — от Карамзина: счастливое усовершение языка, лучшие формы, строгая точность в словах и мыслях, ясность в изложении оных и благозвучие в слоге; 4-му, настоящему, нет имени: это анархия, рабское обезьянство новизнам иностранным, холопский язык, мечтание о мечтательности или бессильное стремление производить в читателях судороги, отрицание принятых правил и вкуса и наглое презрение к предшествовавшим авторам». В письме сказалось резко отрицательное отношение Дмитриева к прогрессивному романтизму, к демократизации литературы и языка. Оценивая значение литературы, Дмитриев исходил главным образом из влияния писателя и его творчества на язык, оставляя в тени все многообразные связи произведения с жизнью. Сказалась в письме и аристократическая, карамзинистская неприязнь к нарождавшейся литературе критического реализма, к появлению героя-разночинца с его чуждым и враждебным сентиментальной поэзии языком.

Дмитриев умер в декабре 1837 года, намного пережив литературную эпоху, к которой он принадлежал.

2

Дмитриев-поэт не соперничал с Карамзиным. Он шел своей дорогой, сохраняя верность дворянскому сентиментализму в карамзинском толковании. Но современники отдавали пальму первенства как поэту ему, а не Карамзину, и Белинский утвердил эту точку зрения в истории литературы.

Чем же отличался поэт Дмитриев от Карамзина-поэта?

До союза с Карамзиным Дмитриев воспитывался в традициях классицизма, и, по его словам, образцами в начале литературного пути ему служили Сумароков и Херасков. Став сентименталистом, он сохранил в своем творчестве многие черты предшествующего направления. Так, например, в своих собраниях сочинений Дмитриев строго придерживался традиционного для классицизма расположения стихотворений по жанрам. Из жанров в поэзии классицизма

[1] Письма И. И. Дмитриева к П. А. Вяземскому. СПб, 1898, стр. 45—46.

особенно высоко ценилась ода, и Дмитриев, в отличие от своего учителя, выступив с сатирой против сочинителей од и самого жанра оды, сам нет-нет да и грешил одой, и Карамзин осторожно выговаривал ему за это. 6 сентября 1794 года он писал: «Ода и «Глас патриота» хороши *поэзиею,* а не *предметом.* Оставь, мой друг, писать такие пьесы нашим стихокропателям. Не унижай муз и Аполлона.— Подражание Горацию, *сострадание* и *к свирелке* достойнее твоей лиры по своему содержанию».[1]

Карамзин был враждебен оде и обращался к ней только из деловых соображений. Дмитриев не испытывал этой вражды. Он написал оды: «Смерть князя Потемкина» (1791), «На мир с Оттоманскою портою» (1792), «Глас патриота...» (1794) и другие. Близки к оде некоторые его лирические стихотворения, например «Освобождение Москвы» (1795). Но под пером Дмитриева ода классицизма приобретала новые черты.

Дмитриев приблизил оду к лирическому стихотворению о героическом прошлом русского народа, отчасти сохранив энергичный одический стих, ораторский торжественный тон, сложный метафорический образ. Характерно в этом отношении стихотворение «Освобождение Москвы» о подвиге князя Пожарского. Дмитриев не включил стихотворение в рукопись для издания 1823 года, но оно все же появилось в нем, вероятно не столько по совету М. А. Дмитриева, сколько по настоянию П. А. Вяземского. Своему племяннику Дмитриев говорил: «Я хотел сделать нечто драматическое, но не сладил».[2] Драматический характер, отчасти присущий жанру оды, Дмитриев внес в свою маленькую лирико-драматическую поэму «Ермак». Высокий патриотический строй «Освобождения Москвы» привлек Пушкина, и к седьмой главе «Онегина», рядом с эпиграфами из Грибоедова и Баратынского, он поставил эпиграф из этой «полуоды»:

Москва, России дочь любима,
Где равную тебе сыскать?

К сатире Карамзин относился враждебно, и это понятно: она стояла поперек пути его стремлениям сгладить в литературе социальные противоречия. Дмитриев относился к сатире иначе, чем его учитель, и, создавая сатирические произведения в интересах дворянства, он опирался главным образом на сумароковскую традицию, придерживаясь ее нравоучительных начал.

---

[1] Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. СПб, 1866, стр. 50.

[2] М. А. Дмитриев. Мелочи из запаса моей памяти. М., 1869, стр. 119.

Свою поэтическую деятельность Дмитриев, повидимому, и начал с сатир. В его мемуарах о «первоначальных стихотворных опытах» сказано, что они были «большей частью сатирические» и «брошены в огонь». Однако кое-какие произведения из преданных огню ходили в рукописях и, быть может, сохранились. Во всяком случае, в части Державинского архива в Гос. Публичной библиотеке им. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде находятся два стихотворения сатирического характера, которые, судя по подписи «Дмитриев» рукою, повидимому, Державина, принадлежали автору «Чужого толка»[1] (одну из них мы публикуем). В отчете рукописного отделения Публичной библиотеки[2] они также описаны как дмитриевские. Но даже если это предположение ошибочно, оба произведения говорят о том, каким представляли себе творчество молодого Дмитриева Державин, а следовательно, и его современники. В них явно проглядывает нравоучительная сумароковская традиция, от которой вначале шел Дмитриев. Вот строки, характеризующие и стиль и социальные взгляды автора стихотворения «Камин»:

Мне нужды нет, что я не знатный господин,
Мне нужды нет, что я на балах не бываю
И говорить бонмо насчет других не знаю.
Бомонда правилы не чту я за закон,
И лишь по имени известен мне бостон.
Обедов не ищу, незнаем я; но волен.

Сатирическое дарование Дмитриева нашло выражение в его сказках и баснях. Через Дмитриева сатирическую традицию подхватили младшие карамзинисты и главным образом В. Л. Пушкин.

Из сатир на первое место следует поставить сатиру «Чужой толк», написанную в пору расцвета литературной деятельности Дмитриева, в отпуску от военной службы, на родине в Сызрани в 1794 году, особенно плодотворном для поэта.

«Чужой толк» привлек внимание читателей еще в рукописи. Белинский впоследствии называл его «превосходной сатирой». Она была настолько злободневна, что в первом издании («И мои безделки») к строке «Возьму ли, например, я оды на победы» Дмитриев поместил примечание: «Строгий критик имел в виду не все, а некоторые только оды; но читатели и без сего замечания должны быть уверены, что произведения Хераскова, Державина, Петрова не в числе оных».

---

[1] См. Державинский архив, шифр F XVII. 80.

[2] См. Отчет рукописного отделения ГПБ в Ленинграде за 1900—1901 гг. СПб, 1905, стр. 167, 170.

Сатира «Чужой толк», развившая ведущий жанр классицизма, оказалась сильнейшим оружием сентиментального направления. И дело заключалось не только в том, что Дмитриев высмеял в ней оды и незадачливых сочинителей од. В сатире были острые афористические строки, которые говорили о положении писателя в век «просвещенного» деспотизма, о судьбе поэта при дворе и поэта без чинов и званий, допускавшегося не дальше передней. Оды оказывались чужим, старомодным толком, ненужным и бесполезным для отечественной литературы.

Отразились в «Чужом толке» и взгляды сентиментального поэта. Дмитриев защищает в сатире легкость, близкую к дилетантизму, популярному тогда в дворянских гостиных, и высмеивает трудолюбие одописца. Однако и крайний дилетантизм — поэзия петиметра — вызывает его сатирическую отповедь.

Как в XIX столетии стали широко известны многие сатирические строки из «Горе от ума» Грибоедова, так в конце XVIII века повторяли стихи из «Чужого толка» — крылатые фразы и слова, найденные поэтом:

...Короче я скажу:
В стихах реляция! прекрасно!.. а зеваю!..

А наших многих цель — награда перстеньком,
Нередко сто рублей иль дружество с князьком,
Который отроду не читывал другова,
Кроме придворного подчас месяцеслова...

И оду уж его тисненью предают
И в оде уж его нам ваксу продают!

О склонности автора к сатире и его стремлении изобразить обыденную жизнь с некоторой грубоватой правдивостью, оставаясь в рамках сентиментализма, свидетельствуют несколько его стихотворений, развивающих «низкую», бытовую тему.

Наиболее интересно в этом отношении стихотворение «Карикатура» (1791), которое Карамзин считал «превосходною пьесою в своем роде». М. А. Дмитриев в «Мелочах из запаса моей памяти» рассказывает, что в ней «описано истинное происшествие, случившееся в Сызранском уезде в деревне Ивашевке». Известно даже имя героя — отставного вахмистра: Прохор Николаевич Патрикеев, а в бумагах Дмитриева хранился рисунок пером, изображающий Патрикеева подъезжающим на «старом рыжаке» к селу. Стихотворение особенно интересно для историка литературы как попытка поэта-сентименталиста в повествовательной лирической манере рассказать подлинную историю простых людей, передать в шутливых,

отчасти гротескных тонах трагическую судьбу героев этой, как говорили в те времена, «простонародной баллады». Оно написано в разговорных тонах, отсутствие рифмы усиливает ощущение естественности рассказа. Пушкин хорошо помнил «Карикатуру». В «Станционном смотрителе» (1830), выслушав печальную историю Дуни, автор говорит: «Таков был рассказ приятеля моего, старого смотрителя, рассказ, неоднократно прерываемый слезами, которые живописно отирал он своею полою, как усердный Терентьич в прекрасной балладе Дмитриева».

«Карикатура», признанная Карамзиным и не признанная Державиным (Державину, повидимому, не нравилась ее «простонародность»), была произведением сентиментальным по замыслу. Дмитриев стремился вызвать им сочувствие читателя к горю простых людей. Но стихи благодаря бытовой теме, подсказанной жизнью, отошли от условности и пасторальности дворянского сентиментализма. Позже автор ощутил «простоту» своей баллады как недостаток и в собрание стихотворений 1823 года ее не поместил.

К «Карикатуре» близко стихотворение «Будочник», увидевшее свет только после смерти поэта. Стихотворение — монолог ночного сторожа, обращенный к горожанам. Он написан с грубоватым юмором «Карикатуры». Оказавшееся благодаря своей сатирической и бытовой манере в противоречии с сентиментальной традицией, это стихотворение также было отвергнуто Дмитриевым.

Элементы сатиры и критического отношения к действительности в рамках, приемлемых для дворянского сентиментализма, можно найти и в некоторых стихах Дмитриева в «Московском журнале». Но очищая свои стихи от неудачных оборотов и слов, чуждых поэтическому словарю сентиментализма, Дмитриев последовательно освобождал их и от сатирической окраски, а что нельзя было «исправить», как, например, «Карикатуру», он перестал печатать.

Несмотря на это, Дмитриев еще долго воспринимался читателями как писатель-сатирик и связывался, согласно карамзинистской концепции Вяземского, с фонвизинской традицией.

К разделу сатирических произведений следует отнести и две так называемые сказки Дмитриева — «Модная жена» (1791) и «Картина» (1790). Оба произведения лишены сказочного колорита. Они скорее бытовые истории, примыкающие к ранним опытам Дмитриева в сатирическом жанре.

«Модная жена» — анекдот о хитрой жене, обманувшей старого кривоглазого мужа; в разных вариациях он был известен в XVIII веке и в Западной Европе и у нас. Встречается он в сбор-

никах анекдотов и в народных картинках, например «Повесть забавная о купцовой жене и о приказчике, в восьми картинках».[1]

Своеобразие обработки сюжетного народного мотива о женских хитростях и женских увертках в «Модной жене» Дмитриева прежде всего в том, что поступки, относимые обычно к пригожим поварихам и купеческим женам, перенесены в светскую среду, в высшее общество.

В «Модной жене» читатель находил те сатирические характеристики социальных пороков, с которыми он позже встретился в «Чужом толке»:

Пролаз в течение полвека
Все полз да полз, да бил челом,
И наконец таким невинным ремеслом
Дополз до степени известна человека.

Своеобразие «Модной жены» — и в бытовых чертах, в реалистических подробностях, в народных поговорках, включенных в стих («Но он лишь со двора, а гость к нему на двор», «А он, как в руку сон!»).

Большое значение для развития русской поэзии имела и разговорная легкость повествовательной манеры этой сатирической истории. Вольные, эротически окрашенные произведения В. Л. Пушкина и карамзинистов, связанные с поисками легкого разговорного языка, продолжали традицию «Модной жены». «Какой угрюмый дурак станет важно осуждать М о д н у ю ж е н у, сей прелестный образец легкого и шутливого рассказа?» — писал Пушкин в заметке 1830 года, оценивая значение непринужденности стиха Дмитриева. С похвалой отозвался о «Модной жене» и Белинский в седьмой статье о «Сочинениях Александра Пушкина».

Почему «Модную жену» называли сказкой? В произведении есть такие строки: «Так слушайте меня, я сказку вам начну про модную жену». Возможно, что приведенные строки поначалу дали повод называть «Модную жену» сказкой. Карамзин никогда ее сказкой не называл. Между тем Дмитриев во всех собраниях сочинений настойчиво помещал ее в разделе сказок. Видимо, им руководило желание смягчить сатирический характер произведения: не следует коротенькую бытовую историю слишком настойчиво примерять к жизни, связь и так очевидна, а в разделе стихотворных сказок она приобретает и характер обобщения жизни и защищающие ее черты условности.

---

[1] См. «Русские народные картинки». Собрал и описал Д. Ровинский. СПб, 1900, т. I, стр. 99.

Перевод басни Лафонтена «Воспитание Льва» осторожный поэт и царедворец Дмитриев также помещал в сказки. В данной басне речь идет о воспитании царей, и он решил, что спокойнее назвать ее сказкой. Так басня «Воспитание Льва» попала в раздел сказок в двух собраниях его сочинений.

Наиболее известной была сказка Дмитриева «Причудница», написанная на основе сказки Вольтера «La Bégueule», в которой, по мнению карамзинистов, Дмитриев «далеко превзошел Вольтера».[1]

«Причудница» — не перевод, а переделка, «переложение», как говорили в XVIII веке, отличающееся от источника и по содержанию и по форме. Такие переделки на национальный лад, широко распространенные в XVIII столетии, были связаны с общеевропейской традицией и долго пользовались популярностью и признанием.

Свобода обращения с текстом диктовалась представлением о праве переводчика усовершенствовать оригинал. Поэтому не случайно, что совершенно разные мотивы и отступления от оригинала появлялись в переложении одного и того же произведения у разных авторов.

Надо сказать, что самобытный характер русской литературы XVIII столетия утверждался в связи и с этой традицией переложений, создававшей каждый раз нечто новое, своеобразное, не равнявшееся источнику. Карамзин в статье о Богдановиче и его сочинениях по поводу «Душеньки» писал: «Она <сказка Лафонтена о Психее> служила образцом для русской Душеньки; но Богданович, не выпуская из глаз Лафонтена, идет своим путем и рвет на лугах цветы, которые укрылись от французского поэта».

В XIX столетии историки литературы упрекали Дмитриева в недостатке самобытности на том основании, что он обращался к французским источникам, что он больше поэт-переводчик. Характерно, что, например, Лафонтена, которого переводил Дмитриев, никто никогда не упрекал в заимствовании и не изучал его творчества главным образом с этой стороны, хотя сюжеты большинства его сказок заимствованы у Петрония, Апулея, Ариосто, Аретино, Маргариты Наварской, Рабле. Приведенный далеко не полный список авторов никогда не затенял национального значения сказок Лафонтена. Кроме Лафонтена, Дмитриев переводил Флориана, Гишара, Арно, Буасара, Ламота, Имбера. Его переводы имели общекультурное значение. Они знакомили русского читателя

---

[1] А. Ф. Воейков. Сочинения Дмитриева. «Цветник», 1810, № 10, стр. 120.

с французской поэзией классицизма, правда, не с лучшими образцами ее, а с элегическими пасторальными произведениями, которые ближе были к русскому дворянскому сентиментализму. Первый стихотворный перевод из Гете принадлежал Дмитриеву. Он был напечатан в журнале «Приятное и полезное препровождение времени» (1795, ч. VIII, стр. 209) под названием «На случай грома. Подражание германскому поэту г. Гете» (перевод стихотворения «Границы человечества», Grenzen der Menschheit). Об этом переводе Жуковский писал Дмитриеву в феврале 1823 года: «Ваши стихи «Размышление по случаю грома», переведенные из Гете, были первые выученные мною наизусть в русском классе, и первые же мною написанные стихи были их подражанием».[1]

Особенно высоко ценили Дмитриева как переводчика Лафонтена. Противник сентиментального направления Б. В. Голицын в предисловии к переводу Д. Пименова «Максимы де-ла-Рошфуко» (1809) отметил, что переводы Дмитриева из Лафонтена «истинно прекрасные творения». А. Е. Измайлов писал Дмитриеву в 1816 году, что он удивляется его искусству «столь хорошо и столь близко переводить Лафонтена».[2]

Работа Дмитриева как переводчика имела большое значение для развития культуры русского перевода. С его именем связана в конце XVIII столетия традиция точного, близкого к оригиналу стихотворного перевода. Он был одним из первых русских переводчиков, стремившихся передать дух стихотворного оригинала.

Но Дмитриев не только переводил сказки и басни Лафонтена, Имбера, Флориана и других, но, как было сказано, часто отказываясь от точного перевода, создавал на основе этих сказок нечто новое и несомненно национальное. В самом деле, достаточно бегло сравнить сказку Вольтера и «Причудницу», чтобы уяснить, как далеко Дмитриев уходил от оригинала. В сказке Вольтера 219 строк, у Дмитриева — 383. Это уже само по себе говорит о том, что «Причудница» не перевод, как об этом сказано в собрании сочинений 1893 года. Сказка «La Bégueule» («Дурочка») лишена бытового колорита, основное в ней — шутливая аргументация Вольтера, доказывающего, что молодая светская женщина, скучающая в Париже в домашнем кругу и сторонящаяся мужа и мужчин, не будет счастлива даже в раю. Скука заставляет дурочку Арсену бежать из волшебного края, куда ее поселила крестная-волшебница и где нет мужчин. В лесу Арсене приходится разделить постель с уголь-

---

[1] В. А. Жуковский. Сочинения. СПб, 1878, т. VI, стр. 430.
[2] «Русский архив», 1871, ст. 961.

щиком, после чего, вернувшись домой, она оценивает любовь мужа и для полноты светского счастья заводит любовника. Написанная с вольтеровским остроумием против лицемеров и святош, сказка была популярна в XVIII столетии.[1]

В «Причуднице» Дмитриев рассказывает о молодой женщине из старинного дворянского рода, живущей в Москве.

Основную идею, сатирически раскрытую в сказке Вольтера: обстоятельства воспитывают человека, Дмитриев преобразил в «Причуднице» на сентиментальный лад: человек должен довольствоваться тем, что имеет.

Дмитриев писал сказки, соединяя две линии русской повествовательной поэзии XVIII века: сказочную, волшебную «Душеньки» Богдановича, написанной стихом свободным от народного языка, но уже дававшей пример богатства интонаций и разговорности в стихотворном повествовании, и традицию Василия Майкова — его сатирических гротескных поэм. В поэмах Майкова, написанных, по словам Сумарокова, особым «шутливым складом», Дмитриев находил грубоватый, пересыпанный народными словечками язык и сатиру, которые, несомненно, привлекали его.

Соединение двух повествовательных стихий вело Дмитриева к свободному рассказу, к отступлениям с прямым обращением к читателю.

Весьма популярны были песни Дмитриева. Они начали появляться в печати с 1792 года. Первые три, в том числе песня «Сизый голубок», ставшая широко известной, опубликованы в «Московском журнале».[2]

В объяснении к своему стихотворению «Цыганская пляска»

---

[1] В 1775 году по сказке был поставлен балет, появлялась она на сцене и позже. В 1826 году театр Сен-Мартен переработал ее в двухактный водевиль под названием «La Bégueule ou la Princesse et le Charbonnier» («Дурочка, или Принцесса и угольщик»).

[2] 18 июля 1792 года Карамзин писал Дмитриеву: «Херасков Сизого голубка твоего называет прекраснейшею пьесою. Это уверяет меня, что он имеет хороший вкус». Ф. М. Дубянский написал к песне музыку.

На стихи и особенно песни Дмитриева неоднократно писалась музыка. В карманной книге для любителей музыки на 1795 год помещен «Сизый голубок» с музыкой Дица, скрипача и композитора на службе при русском дворе (1742—1798). На стихи Дмитриева писали музыку А. М. Верстовский («Музыкальный альбом на 1827 год»), Т. В. Жучковский («Лирический альбом на 1832 год»). «Горлицу и Прохожего» положил на музыку А. Рубинштейн, а в 1892 году музыку на «Сизого голубка» написал Направник. В XIX веке песни Дмитриева включались в десятки лубочных песенников.

(1805) Державин очень точно определил своеобразие песен Дмитриева, указав, что «Дмитриев упражнялся в песнях нежного рода».

К концу XVIII века литературная песня стала особенно популярным жанром в поэзии. Песни Сумарокова и Хераско́ва, сентиментальная песня Нелединского-Мелецкого предшествовали дмитриевской. Уже в песнях Нелединского заметно стремление использовать мотивы и формы народной песни. Издание сборников разных песен, в том числе и народных, М. Д. Чулкова (1770—1773), Н. И. Новикова (1780—1781) и, наконец, составленный Н. А. Львовым сборник народных песен с нотами в записи Прача (1790) указывают на то, как возрос в те годы интерес к народным песням.

В 1796 году Дмитриев выпустил «Карманный песенник, или Собрание лучших светских и простонародных песен». Начинается сборник «песнями нежными». Песни разделены по жанрам. В песнях «во вкусе простонародном» есть и былевые, и святочные, и свадебные, и темничные. Дмитриев отбирал их из вышедших ранее сборников, очень осторожно обращаясь с текстом и проявляя при этом не только взгляды сентименталиста, но и живое чувство народной песни. Возможно, что некоторые из них Дмитриев слышал и сам записал. Литературная песня в сборнике Дмитриева представлена произведениями почти всех русских поэтов XVIII века и особенно песнями, которые по характеру своему ближе к сентиментализму.

Любовная лирика классицизма с ее духом пасторали, с «томными вздохами», «токами слез», «голосом слезным», с кукольными пастушка́ми и пасту́шками, не имеющими ничего общего с крестьянской жизнью, нашла свое продолжение в сентиментальной песне-романсе. Исследовательница А. Якуб правильно подметила, что для «нежных» песен литературного происхождения в XVIII столетии была характерна расплывчатая тоска, вызванная ничтожными поводами: временная разлука, размолвка, расстроившееся свидание, сомнение в верности или взаимности — переживания, чуждые истинной народной песне, где всегда существовала реальная причина горя: смерть любимого человека, отъезд милого на войну, брак по принуждению,[1] — мотивы, рожденные самой жизнью. Песня, говорившая о тяжести народной доли, певшаяся в народе, в XVIII столетии почти не соприкасалась с литературной. Отдельные мотивы этих песен под пером поэтов преображались и по большей части облекались в пасторальные одежды. Характерно, что

---

[1] См. А. Якуб. Современные народные песенники. «Известия Отд. русск. яз. и слов. Акад. наук», 1914, кн. I.

в песнях Нелединского-Мелецкого, Капниста связь сентиментальных мотивов с народными иногда прямее, чем в песнях Дмитриева, более близких к лирическому стихотворному романсу. Дмитриевские песни «нежного рода» резче выражали тенденцию русского дворянского сентиментализма. Она сказывалась и в содержании и в форме песен. Так, в песне «Видел славный я дворец», вызвавшей, по словам издателя «Приятного и полезного препровождения времени», где она впервые была напечатана, множество подражаний, развита традиционная для карамзинского сентиментализма мысль о счастьи с любимым человеком в сельском уединении, вдали от двора и городской суетной жизни. Темы песен Дмитриева продолжали традицию пасторали, в них нет ни глубокого чувства, ни драматизма. Характерна для них и некоторая окрашенная элегичностью назидательность.

Песни Дмитриева в конце XVIII и начале XIX столетия пользовались в дворянских салонах огромной популярностью, вероятно потому, что, развив в сентиментальном духе традиционные мотивы и темы, одев любовную песню классицизма в сентиментальный наряд, Дмитриев как бы возродил ее, вдохнул в нее новую жизнь, приспособил ее для светского общества. Он вызвал множество подражаний и среди поэтов, непосредственно не примыкавших к сентиментальному направлению, содействовал широкому распространению песни, интересу к ней и ее дальнейшему развитию (Мерзляков, Дельвиг).

Послания, а также короткие лирические стихотворения и стихотворные мелочи Дмитриева, как и песни, особенно характерны для сентиментального направления. Дмитриев и Карамзин явились учителями в этом роде «легкой поэзии», породившими альбомную литературу и множество подражателей. Творчество В. Л. Пушкина, ближайшего ученика Дмитриева, показывает и бесперспективность увлечения светскими поэтическими мелочами. А произведения П. И. Шаликова (1768—1852), правоверного приверженца легкой поэзии салонных мелочей, в 10-х и 20-х годах воспринимались как явление внелитературное и послужили мишенью для множества насмешек и шуток.

Легкая поэзия была тесно связана с общеевропейской традицией, и особенно с французской. Эта связь поддерживалась и деятельностью Дмитриева-переводчика.

В шутливых стихотворениях Дмитриев был учителем и молодого Жуковского, что особенно заметно на так называемых долбинских стихотворениях последнего (1814—1815), и Батюшкова. В лицейских шуточных стихах и эпиграммах Пушкина возможны отго-

лоски шутливых безделок Дмитриева. Пушкин, преодолевая карамзинизм, его идеи, язык и формы, в 1822 году в письме к Гнедичу в полемической запальчивости почти совсем отвергал поэзию Дмитриева. Но в стихотворении «Городок» (1815) он поставил его на своей книжной полке рядом с Крыловым и, обращаясь к Лафонтену, писал:

Ты здесь — и Дмитрев нежный,
Твой вымысел любя,
Нашел приют надежный
С Крыловым близ тебя.

Следы воспоминаний о лирике Дмитриева можно найти в самом тексте стихов и у Жуковского и у Пушкина. Так, метрический и ритмический рисунок стансов Дмитриева «Я счастлив был во дни невинности беспечной» (1803) повторил Жуковский в стихотворении «Там небеса и воды ясны» (1816) и Пушкин в стихотворении «Певец» (1816).

Особое место в лирике Дмитриева занимает маленькая лирико-драматическая поэма «Ермак»; в свое время она принесла автору широкую известность в литературных кругах. В 1826 году, когда вышли в свет «Апологи» Дмитриева под инициалами «И. Д.», парижский журнал «Revue Encyclopédique» (1826, т. 31) отметил, что нетрудно под этими инициалами узнать Дмитриева, знаменитого певца «Ермака».

Почему именно «Ермак» привлек такое пристальное внимание читателей и критики?

«Ермак» был написан Дмитриевым в Сызрани. В поездках по Волге живо открывалось поэту прошлое края, его историческое значение, определившее путь русских за Урал, в Сибирь. И в стихотворении «К Волге», написанном в то же лето, слышатся отзвуки размышлений Дмитриева о русской истории.

Интерес к прошлому, стремление патриотически осмыслить историческую роль русского государства были характерны для конца XVIII столетия. Этот интерес, проявленный и русскими сентименталистами от Муравьева до Карамзина, нашел свое отражение в маленькой поэме Дмитриева.

Восторженный сторонник Дмитриева карамзинист Вяземский говорил, что «Ермак» исполнен любви к отечеству, но не грубой, которая охлаждает душу читателя, а возвышенной, что Дмитриев воплотил в своей поэме представления не официального, по словам Вяземского, «грубого патриотизма», а нечто более близкое к мыслям и чувствам дворянского сентименталиста, то есть к либеральному изданию по существу тех же монархических взглядов, благо-

даря чему его маленькая поэма вызвала широкий интерес в дворянских кругах. Белинский почувствовал смелость и романтический, отчасти оссиановский колорит маленькой поэмы. В первой статье о «Сочинениях Александра Пушкина» он писал, что поэт «решился вывести двух сибирских шаманов, из которых старый рассказывает молодому, при шуме волн Иртыша, о гибели своей отчизны. Стихи этой пьесы для нашего времени и грубы и шероховаты и непоэтичны; но для своего времени они были превосходны... Что же касается до манеры и тона пьесы,— это было решительное нововведение, и Дмитриев потому только не был прозван романтиком, что тогда не существовало еще этого слова».[1]

И действительно, нужна была решимость для того, чтобы об историческом событии, прославляющем предприимчивость и военные подвиги русских землепроходцев, рассказать словами шаманов, словами побежденного, а не победителя. Ни один поэт классицизма не решился бы на такой шаг.

Дмитриев попытался выйти из традиционной патриотической концепции военной оды классицизма. Гуманность сентименталиста требовала, чтобы победитель видел в побежденном человека.

Карамзин с одобрением отнесся к новому опыту Дмитриева: «Браво! Вот поэзия,— восхищался он в письме (6 сентября 1794 г.).— Пиши так всегда, мой друг».

В середине 90-х годов дмитриевский «Ермак» явился единственным опытом короткой историко-патриотической поэмы. Интерес к воплощению тем русской истории в поэзии оживился несколько позже, в годы идейного становления декабристов.

Продолжение традиции патриотической оды, обращение к темам героического прошлого («Освобождение Москвы», «Ермак»), а также сатирические краски вносили своеобразие в поэзию Дмитриева-карамзиниста и ставили ее рядом с литературным наследием Карамзина как самостоятельное явление. Эти особенности выделяли Дмитриева из всего круга салонных сентиментальных поэтов. Интересен в этой связи отзыв А. А. Бестужева в обзорной статье «Полярной звезды», где он писал, что «летучий рассказ его <Дмитриева> повестей пленителен, утонченность насмешки в сатирах примерна...»[2]

В русской литературе конца XVIII — начала XIX века басни

---

[1] В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений. П., 1917, т. XI, стр. 208.

[2] А. Бестужев. Взгляд на старую и новую словесность в России. «Полярная звезда», СПб, 1823, стр. 14.

Дмитриева были так же популярны, как и его лирика. Мерзляков, характеризуя развитие русской басни до Крылова, говорил: «Сумароков нашел их среди простого, низкого народа; Хемницер привел их в город; Дмитриев отворил им двери в просвещенные, образованные общества, отличающиеся вкусом и языком».

Дмитриев явился создателем сентиментальной басни. Ее особенности по сравнению с басней классицизма заключались в сентиментальном колорите повествования, в том, что в басне Дмитриева появились лирические отступления, легкое салонное остроумие, сглаженный светский язык, враждебный духу демократизма и сатиры. Иногда они граничили с пасторалью. Положительное значение для развития жанра имела дальнейшая драматизация басни под пером Дмитриева. Она гибче сумароковской, басенный диалог ее экспрессивнее, но она уходит от фольклора, от народной речи.

Дмитриев никогда не был теоретиком, но его последователь Александр Измайлов приложил к своим басням в издании 1826 года «Опыт о рассказе басни» — теоретическое осмысление сентиментальной практики в области басни, и, в частности, басни Дмитриева. Охарактеризовав забавное, приятное, естественность и простодушие, считавшиеся основными качествами басни, Измайлов утверждал: «Писать просто и с тем вместе приятно весьма трудно... Для сего потребно особенное искусство, которое приобретается не столько учением и чтением книг, сколько посредством обращения с людьми лучшего тона».[1]

Говоря о языке басни, Измайлов, по существу, излагал взгляды Дмитриева: «слова и выражения низкие, употребляемые чернью и принадлежащие к какому-нибудь областному наречию, ни в басне, ни в других сочинениях, которые должны быть писаны простым слогом, не могут иметь места».

Жанр басни, согласно поэтике классицизма, принадлежал к низкой литературе. В басне допускался народный язык, соответствовавший «низкому штилю», грубоватый народный юмор. Дмитриев стал писать басни языком, близким к «среднему штилю», на основе которого и формировался очищенный, богатый интонациями, но салонно-манерный язык русского сентиментализма.[2]

Дмитриев стремился сгладить в басне остроту народной речи. Он считал, что басня, «низкий жанр», в гостиной должна звучать

---

[1] А. Измайлов. Басни и сказки. СПб, 1826. О рассказе басни, стр. 45.

[2] См. В. В. Виноградов. Из наблюдений над языком и стилем И. И. Дмитриева. Материалы и исследования по истории русского литературного языка. М.—Л., Изд. АН СССР, 1949.

на облагороженном языке, а языку крестьян, языку народа не меств литературе. В этом он следовал совету Карамзина и карамзинской оценке слов «парень» и «пичужечка». Дмитриев писал в октябре 1803 года Д. И. Языкову о А. Х. Востокове: «видя в нем истинного поэта, желал бы я только, чтоб он убегал низких слов, как то: истомить вместо утомить, подмога и еще некоторые...» Об аристократической позиции Дмитриева свидетельствует его откровенное высказывание в статье о русских комедиях в «Вестнике Европы» (1802, № 7): «Какое же удовольствие найдет благовоспитанная девица, слушая ссору однодворца с его женою, брань дурака с дурою, которых каждое слово несносно для нежного слуха?.. Для нас несравненно приятнее и полезнее видеть на театре наших знакомцев, нежели тех, которых мы не знаем и не хотим знать». Дмитриеву-сентименталисту была чужда и враждебна неприглаженная, непокорная стихия народной речи и народного юмора. Вот почему Крылов, нашедший прямые пути к богатству народного языка и народной мудрости, к «веселому лукавству ума, насмешливости и живописному способу выражаться», по словам Пушкина, и стал в басне выразителем духа русского народа.

В 20-х годах ясно определилось народное значение басен Крылова. Спор между сторонниками Дмитриева и Крылова, между консервативно-умеренным и консервативным дворянским лагерем и декабристскими кругами с особенной силой разгорелся после выхода из печати последнего прижизненного собрания сочинений Дмитриева с восторженным предисловием П. А. Вяземского (1823). В основе спора лежала борьба за народность русской литературы. Вяземский явно отдавал предпочтение Дмитриеву. Ему казалось, что народный юмор и народный язык, лишенный светской гладкости, составляют главный недостаток басен Крылова.[1] Пушкин с присущей ему гениальной проницательностью оценил глубокое народное значение басен Крылова. По поводу журнальной полемики о басне он писал осенью 1825 года Вяземскому: «Ты уморительно критикуешь Крылова». Статья Пушкина в «Московском телеграфе» (1825, № XVII) «О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И. А. Крылова», умалчивающая о Дмитриеве, определяет позицию великого русского поэта в этом споре. Заканчивая статью, сравни-

[1] Особенно характерна в этом отношении критика в «Литературных листках» (1824, № 2) на предисловие Вяземского к стихотворениям Дмитриева в издании 1823 года и «Антикритика» Вяземского в «Сыне отечества» (1824, ч. 92, стр. 306), а также его письмо А. А. Бестужеву от 9 марта 1824 года («Русская старина», 1888, № 11, стр. 329).

вая Лафонтена и Крылова, Пушкин писал: «Лафонтен и Крылов представители духа обоих народов».

Пятнадцать лет спустя после журнальной войны по поводу народности в русской басне Белинский дал следующую характеристику басням сентиментального поэта: «В них блистает салонный ум XVIII века; в них язык наш сделал значительный шаг вперед. Конечно, мы уже не можем восхищаться баснями Дмитриева... но с ними связаны самые сладостные воспоминания о золотой поре нашего детства... Некоторые забавники и теперь еще сказки Дмитриева ставят выше «Онегина» Пушкина, и мы уверены, что многие старики от души соглашаются с этими забавниками... Однакож басня все-таки многим обязана Дмитриеву» («Басни Ивана Крылова», 1840).[1] В восьмой статье о «Сочинениях Александра Пушкина» Белинский вернулся к своей характеристике и уточнил ее. Он писал: «Басни Хемницера и Дмитриева относятся к басням Крылова, как просто талантливые произведения относятся к гениальным произведениям,— но тем не менее Крылов много обязан Хемницеру и Дмитриеву».[2]

Ученик Карамзина В. А. Жуковский в конспекте истории русской литературы, составленном в конце 1826 или в начале 1827 года, определил значение поэтической деятельности Дмитриева для развития языка русской поэзии. Жуковский утверждал, что Дмитриев совершил «переворот в поэтическом языке», и он довольно точно изложил, в чем заключается, по его мнению, этот переворот. «В своих стихотворениях он <Дмитриев> учил искусству поэтически и правильно выражаться. Как и Карамзин, он показал тайну употребления слова в прямом значении без ущерба для поэтической свободы выражения».[3]

Была ли эта «тайна» употребления слова в прямом значении в поэзии известна предшественникам русских сентименталистов? Для Ломоносова и отчасти даже для Державина достоинство поэтического языка связывалось с метафорической сложной структурой речи, которой была присуща и аллегория и славянизм. Поэтичность видели в усложненности языка. Сентиментализм освободил язык русской поэзии от усложненного языка классицизма. Он возвратил ему в некоторой мере лаконизм, строгость, смысловую точность. Дмитриев шел за Карамзиным по этому пути.

---

[1] В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений. СПб, 1901, т. V, стр. 262—263.

[2] Там же, т. XII, стр. 84.

[3] См. Труды Отдела новой русской литературы. М.—Л., 1948, вып. I, публикация Л. Б. Модзалевского, стр. 309.

Завоевания Дмитриева в области поэтического языка превращали его в учителя карамзинистов и молодых арзамасцев, в учителя Жуковского и Батюшкова. В 1810 году в стихах Жуковскому В. Л. Пушкин писал:

Я, признаюсь, люблю Карамзина читать,
И в слоге Дмитреву стараюсь подражать...

а в 1815 году Батюшков:

Как часто Дмитриев, расторгнув светски узы,
Водил нас по следам своей счастливой музы...

(Послание И. М. Муравьеву-Апостолу)

Работа Дмитриева над языком стиха полно и точно проанализирована в статье В. В. Виноградова «Из наблюдений над языком и стилем И. И. Дмитриева», в которой говорится: «Попытка И. И. Дмитриева, шедшего вслед за Карамзиным, выработать общенациональную норму русского литературного выражения, на основе реформированной системы среднего стиля, представляла собой необходимый этап на пути от русского литературного языка эпохи классицизма с его «тремя штилями» к новому русскому литературному языку первой трети XIX в.— к языку Жуковского, Крылова, Грибоедова и Пушкина».[1]

В восьмой статье о сочинениях Пушкина Белинский писал: «Стихотворения Дмитриева, запечатленные умом, вкусом, остротою и грациею, имели такой же успех и такое же влияние, как и проза Карамзина. Порожденные ими сентиментальность и мечтательность, несмотря на их смешную сторону, были великим шагом вперед для молодого общества».[2]

А. Кучеров

---

[1] Материалы и исследования по истории русского литературного языка. М.—Л., Изд. АН СССР, 1949, стр. 278.

[2] В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений. ГИЗ, 1926, т. XII, стр. 88.



И. И. Дмитриев в молодости.

Портрет (масло) работы Д. Г. Левицкого (?).
Гос. Третьяковская галерея.

СТИХОТВОРЕНИЯ

От автора

Почти все мои стихотворения писаны в продолжении моей гвардейской службы между строев и караулов или в короткой промежуток свободы между первою отставкою от гражданской службы и вступлением опять в оную.

Тогда еще не было таких благоприятных случаев к соревнованию, какими пользуются нынешние Поэты и прозаисты: сочинений наших не читывали в собраниях ученых обществ, в присутствии Вельмож, ученых многочисленных слушателей обоего пола. Я отсылал мои стихи, печатал их в журналах, и не знал, как об них судят и не был знаком ни с одним Поэтом пока не приобрел, уже в зрелой молодости, приязни незабвенного Державина и не утвердил дружбы с Карамзиным. С того только времени я почувствовал, что такое талант и Авторское искусство.

Приступая в старости лет к новому изданию стихов моих, я той думы, что оно будет последним при моей жизни. Эта мысль решила меня перечитать все мною изданное с возможным хладнокровием; потом многое выключил из нового издания, в том числе и десятью басен, из прочих же стихов старался наиболее, сколько умел, исправить — и таким образом прежние три тома приведены в два тома.

Автограф предисловия И. И. Дмитриева
к изданию стихотворений 1823 года.

САТИРЫ

КАРТИНА

Уж ночь на Петербург спустила свой покров;
Уже на чердаках у многих из творцов
Погасла свечка и курилась,
И их объятая восторгом голова
На рифмы и слова
Сама собой скатилась.
Козлова ученик
В своем уединеньи,
Сидевший с Гением в глубоком размышленьи,
Вдруг слышит стук и крик:
«Где, где он? Там? А! Здесь?» — и видит пред собою
Кого ж? — Князь Ветров шарк ногою! —
«Слуга покорнейший! а я, оставя бал,
Заехал на часок за собственным к вам делом.
Я слышал, в городе вас все зовут Апеллом:
Не можете ли вы мне кистию своей
Картину написать? да только поскорей!
Вот содержание: Гимен, то есть бог брака,
Не тот, что пишется у нас сапун, зевака,
Иль плакса, иль брюзга, но легкий, милый бог,
Который бы привлечь и труженика мог,—
Гимен и с ним Амур, всегда в восторге новом,
Веселый, миленький, и живчик одним словом,
Взяв за руки меня, подводят по цветам,
Разбросанным по всем местам,
К прекрасной девушке, боготворимой мною —
Я завтра привезу портрет ее с собою,—
Владычица моя, в пятнадцатой весне,
Вручает розу мне;

Вокруг нее толпой забавы, игры, смехи;
Вдали ж, под миртами, престол любви, утехи,
Усыпан розами и весь почти в тени
Дерев, где ветерок заснул среди листочков...
Да! не забыть притом и страстных голубочков —
Вот слабый вам эскиз! Чрез два, четыре дни
Картина, думаю, уж может быть готова;
О благодарности ж моей теперь ни слова:
Докажет опыт вам — прощайте!» И — исчез.
Проходит ночь; с зарей, разлившей свет с небес,
Художник наш за кисть — старается, трудится:
Что ко лбу перст, то мысль родится,
И что черта,
То нова красота.
Уже творец картины
Свершил свой труд до половины,
Как вдруг
Почувствовал недуг,
И животворна кисть из слабых рук упала.
Минута между тем желанная настала:
Князь Ветров женится, хотя картины нет.
Уже он райские плоды во браке жнет;
Что день, то новый дар в возлюбленной княгине;
Мила, божественна, при всех и наедине.
Уж месяц брака их протек
И Апеллесову болезнь с собой увлек.
Благодаря судьбину,
Искусник наш с постели встал,
С усердьем принялся дописывать картину
И в три дни дописал.
Божественный талант! изящное искусство!
Какой огонь! какое чувство!
Но полно, поспешим мы с нею к князю в дом.
Князь вышел в шлафроке, нахлучен колпаком,
И, сонными взглянув на живопись глазами:
«Я более,— сказал,— доволен был бы вами,
Когда бы выдумка была
Не столь игрива, весела.
Согласен я, она нежна, остра, прекрасна;
Но для женатого... уж слишком любострастна!
Не можно ли ее поправить как-нибудь?..
Какой мороз! моя ужасно терпит грудь:

Прощайте!» Апеллес, расставшись с сумасбродным,
Засел картину поправлять
С терпением, артисту сродным;
Иное в ней стирать, иное убавлять,
Соображаяся с последним князя вкусом.
Три месяца пробыв картина под искусом,
Представилась опять сиятельным глазам;
Но, ах! знать, было так угодно небесам:
Сиянье их совсем затмилось,
И уж почти ничто в картине не годилось.
«Возможно ль? .. Это я? —
Вскричал супруг почти со гневом,—
Вы сделали меня совсем уже *Хоревом,*[1]
Уж слишком пламенным... да и жена моя
Здесь сущая Венера!
Нет, не прогневайтесь, во всем должна быть
мера!»
Так о картине князь судил,
И каждый день он в ней пороки находил.
Чем более она висела,
Тем более пред ним погрешностей имела;
Тем строже перебор от князя был всему:
Уже не взмилились и грации ему,
Потом и одр любви, и миртовы кусточки;
Потом и нежные слетели голубочки;
Потом и смехи все велел закрасить он,
А наконец, увы! вспорхнул и Купидон.

1790

---

[1] Действующее лицо в трагедии г. Сумарокова.

МОДНАЯ ЖЕНА

Ах, сколько я в мой век бумаги исписал!
Той песню, той сонет, той лестный мадригал;
А вы, о нежные мужья под сединою!
Ни строчкой не были порадованы мною.
Простите в том меня; я молод, ветрен был,
Так диво ли, что вас забыл?
А ныне вяну сам; на лбу моем морщины
Велят уже и мне
Подобной вашей ждать судьбины
И о Цитерской стороне
Лишь в сказках вспоминать; а были, небылицы,
Я знаю, старикам разглаживают лицы:
Так слушайте меня, я сказку вам начну
Про модную жену.

Пролаз в течение полвека
Все полз да полз, да бил челом,
И наконец таким невинным ремеслом
Дополз до степени известна человека,
То есть стал с именем,— я говорю ведь так,
Как говорится в свете:
То есть стал ездить он шестеркою в карете;
Потом вступил он в брак
С пригожей девушкой, котора жить умела,
Была умна, ловка
И старика
Вертела как хотела;
А старикам такой закон,
Что если кто из них вскружит себя вертушкой,

То не она уже, а он
Быть должен наконец игрушкой;
Хоть рад, хотя не рад,
Но поступать с женою в лад
И рубль подчас считать полушкой.
Пролаз хотя пролаз, но муж, как и другой,
И так же, как и все, ценою дорогой
Платил жене за нежны ласки;
Узнал и он, что́ блонды, каски,
Что́ креп, лино-батист, тамбурна кисея.
Однажды быв жена — вот тут беда моя!
Как лучше изъяснить, не приберу я слова —
Не так чтобы больна, не так чтобы здорова,
А так... ни то ни се... как будто не своя,
Супругу говорит: «Послушай, жизнь моя,
Мне к празднику нужна обнова:
Пожалуй, у мадам Бобри купи тюрбан;
Да слушай, душенька: мне хочется экран
Для моего камина;
А от нее ведь три шага
До английского магазина;
Да если б там еще... нет, слишком дорога!
А *ужасть* как мила!» — «Да что, мой свет,
такое?» —
«Нет, папенька, так, так, пустое...
По чести, мне твоих расходов жаль».—
«Да что, скажи, откройся смело;
Расходы знать мое, а не твое уж дело».
«Меня... стыжусь... пленила *шаль;*
Послушай, ангел мой! она такая точно,
Какую, помнишь ты, выписывал нарочно
Князь для княгини, как у князя праздник был».
С последним словом прыг на шею
И чок два раза в лоб, примолвя: «Как ты мил!» —
«Изволь, изволь, я рад со всей моей душею
Услуживать тебе, мой свет! —
Был мужнин ей ответ.—
Карету!.. Только вряд поспеть уж мне к обеду!
Да я... в Дворянский клуб оттоле заверну».—
«Ах, мой жизненочек! как тешишь ты жену!
Ступай же, *Ваничка,* скорее».— «Еду, еду!»
И Ваничка седой,

Простясь с женою молодой,
В карету с помощью двух долгих слуг втащился,
Сел, крякнул, покатился.
Но он лишь со двора, а гость к нему на двор —
Угодник дамский, *Миловзор,*
Взлетел на лестницу и прямо порх к уборной.
«Ах! я лишь думала! как мил!» — «Слуга покорной».—
«А я одна».— «Одне? тем лучше! где же он?» —
«Кто? муж?» — «Ваш нежный Купидон».—
«Какой, по чести, ты ругатель!» —
«По крайней мере я всех *милых* обожатель.
Однако ж это ведь не ложь,
Что друг мой на него хоть несколько похож».—
«То есть он так же стар, хотя не так прекрасен».—
«Нет! Я вам докажу».— «О! этот труд напрасен».—
«Без шуток, слушайте: тот слеп, а этот крив;
Не сходны ли ж они?» — «Ах, как ты злоречив!» —
«Простите, перестану...
Да! покажите мне диванну:
Ведь я еще ее в отделке не видал;
Уж, верно, это храм! храм вкуса».— «Отгадал».—
«Конечно, и... любви?» — «Увы! еще не знаю.
Угодно поглядеть?» — «От всей души желаю».—
О бедный муж! спеши иль после не тужи
И от дивана ключ в кармане ты держи:
Диван для городской вострушки,
Когда на нем она сам-друг,
Опаснее, чем для пастушки
Средь рощицы зеленый луг.
И эта выдумка диванов,
По чести, месть нам от султанов!
Но как ни рассуждай, а Миловзор уж там,
Рассматривает все, любуется, дивится;
Амур же, прикорнув на столике к часам,
Приставил к стрелке перст, и стрелка не вертится,
Чтоб двум любовникам часов досадный бой
Не вспоминал того, что скоро возвратится
Вулкан домой.
А он, как *в руку сон!*.. Судьбы того хотели!
На тяжких вереях вороты заскрипели,
Бич хлопнул, и супруг с торжественным лицом
Явился на конях усталых пред крыльцом.

Уж он на лестнице, таща в руках покупку,
Торопится свою обрадовать голубку;
Уж он и в комнате, а верная жена
Сидит, не думая об нем, и не одна.
Но вы, красавицы, одной с *Премилой* масти,
Не ахайте об ней и успокойте дух!
Ее пенаты с ней, так ей ли ждать напасти?
Фиделька резвая, ее надежный друг,
Которая лежала,
Свернувшися клубком
На солнышке перед окном,
Вдруг встрепенулася, вскочила, побежала
К дверям и, как разумный зверь,
Приставила ушко, потом толк лапкой в дверь,
Ушла и возвратилась с лаем.
Тогда ж другой пенат, зовомый попугаем,
Три раза вестовой из клетки подал знак,
Вскричавши: *«Кто пришел? дурак!»*
Премила вздрогнула, и *Миловзор* подобно;
И тот и та — о время злобно!
О непредвиденна беда! —
Бросаяся туда, сюда,
Решились так, чтоб ей остаться,
А гостю спрятаться хотя позадь дверей,—
О женщины! могу признаться,
Что вы гораздо нас хитрей!
Кто мог бы отгадать, чем кончилась тревога?
Муж, в двери выставя расцветшие два рога,
Вошел в диванную и видит, что жена
Вполглаза на него глядит сквозь тонка сна;
Он ближе к ней — она проснулась,
Зевнула, потянулась;
Потом,
Простерши к мужу руки:
«Каким же,— говорит ему,— я крепким сном
Заснула без тебя от скуки!
И знаешь ли, что мне
Привиделось во сне?
Ах! и теперь еще в восторге утопаю!
Послушай, миленький! лишь только засыпаю,
Вдруг вижу, будто ты уж более не крив;
Ну, если этот сон не лжив?

Позволь мне испытать».— И вмиг, не дав супругу
Придти в себя, одной рукой
Закрыла глаз ему — здоровый, не кривой,—
Другою же на дверь указывая другу,
Пролазу говорит: «Что, видишь ли, мой свет?»
Муж отвечает: «Нет!» —
«Ни крошечки?» — «Нимало;
Так тёмно, как теперь, еще и не бывало».—
«Ты шутишь?» — «Право, нет; да дай ты мне взглянуть».
«Прелестная мечта! — Лукреция вскричала,—
Зачем польстила мне, чтоб после обмануть!
Ах! друг мой, как бы я желала,
Чтобы один твой глаз
Похож был на другой!» — *Пролаз,*
При нежности такой, не мог стоять болваном;
Он сам разнежился и в радости души
Супругу наградил и шалью и тюрбаном.
Пролаз! ты этот день во святцах запиши:
Пример согласия! Жена и муж с обновой!
Но что записывать? Пример такой не новой.

1791

ЧУЖОЙ ТОЛК

«Что за диковинка? лет двадцать уж прошло,
Как мы, напрягши ум, наморщивши чело,
Со всеусердием всё оды пишем, пишем,
А ни себе, ни им похвал нигде не слышим!
Ужели выдал Феб свой именной указ,
Чтоб не дерзал никто надеяться из нас
Быть Флакку, Рамлеру и их собратьи равным
И столько ж, как они, во песнопеньи славным?
Как думаешь? .. Вчера случилось мне сличать
И их и нашу песнь: в их... нечего читать!
Листочек, много три, а любо, как читаешь —
Не знаю, как-то сам как будто бы летаешь!
Судя по краткости, уверен, что они
Писали их резвясь, а не четыре дни;
То как бы нам не быть еще и их счастливей,
Когда мы вó сто раз прилежней, терпеливей?
Ведь наш начнет писать, то все забавы прочь!
Над парою стихов просиживает ночь,
Потеет, думает, чертит и жжет бумагу;
А иногда берет такую он отвагу,
Что целый год сидит над одою одной!
И подлинно уж весь приложит разум свой!
Уж прямо самая торжественная ода!
Я не могу сказать, какого это рода,
Но очень полная, иная в двести строф!
Судите ж, сколько тут хороших есть стишков!
К тому ж, и в правилах: сперва прочтешь вступленье,
Тут предложение, а там и заключенье —
Точь-в-точь как говорят учены по церквам!
Со всем тем нет читать охоты, вижу сам.

Возьму ли, например, я оды на победы,
Как покорили Крым, как в море гибли шведы:
Все тут подробности сраженья нахожу,
Где было, как, когда,— короче я скажу:
В стихах реляция! прекрасно! .. а зеваю!
Я, бросивши ее, другую раскрываю,
На праздник иль на что подобное тому:
Тут найдешь то, чего б нехитрому уму
Не выдумать и ввек: *зари багряны персты,*
И *райский крин,* и *Феб,* и *небеса отверсты!*
Так громко, высоко! .. а нет, не веселит,
И сердца, так сказать, ничуть не шевелит!»

Так дедовских времен с любезной простотою
Вчера один старик беседовал со мною.
Я, будучи и сам товарищ тех певцов,
Которых действию дивился он стихов,
Смутился и не знал, как отвечать мне должно;
Но, к счастью — ежели назвать то счастьем можно,
Чтоб слышать и себе ужасный приговор,—
Какой-то Аристарх с ним начал разговор.

«На это,— он сказал,— есть многие причины;
Не обещаюсь их открыть и половины,
А некоторы вам охотно объявлю.
Я сам язык богов, поэзию, люблю,
И нашей, как и вы, утешен так же мало;
Однако ж здесь, в Москве, толкался я бывало
Меж наших Пиндаров и всех их замечал:
Большая часть из них — лейб-гвардии капрал,
Асессор, офицер, какой-нибудь подьячий
Иль из кунсткамеры антик, в пыли ходячий,
Уродов страж,— народ все нужный, должностной;
Так часто я видал, что истинно иной
В два, в три дни рифму лишь прибрать едва успеет,
Затем что в хлопотах досуга не имеет.
Лишь только мысль к нему счастливая придет,
Вдруг било шесть часов! уже карета ждет;
Пора в театр, а там на бал, а там к Лиону,[1]

---

[1] Бывший содержатель в Петербурге вольных маскерадов.

А тут и ночь... Когда ж заехать к Аполлону?
Назавтра, лишь глаза откроет,— уж билет:
На пробу в пять часов... Куда же? В модный свет,
Где лирик наш и сам взял Арлекина ролю.
До оды ль тут? Тверди, скачи два раза к Кролю;[1]
Потом опять домой: здесь холься да рядись;
А там в спектакль, и так со днем опять простись!

К тому ж, у древних цель была, у нас другая:
Гораций, например, восторгом грудь питая,
Чего желал? О! он — он брал не с высока,
В веках бессмертия, а в Риме лишь венка
Из лавров иль из мирт, чтоб Делия сказала:
«Он славен, чрез него и я бессмертна стала!»
А наших многих цель — награда перстеньком,
Нередко сто рублей иль дружество с князьком,
Который отроду не читывал другова,
Кроме придворного подчас месяцеслова,
Иль похвала своих приятелей; а им
Печатный всякий лист быть кажется святым.
Судя ж, сколь разные и тех и наших виды,
На верно льзя сказать, не делая обиды
Ретивым господам, питомцам русских муз,
Что должен быть у них и особливый вкус
И в сочинении лирической поэмы
Другие способы, особые приемы;
Какие же они, сказать вам не могу,
А только объявлю — и, право, не солгу,—
Как думал о стихах один стихотворитель,
Которого трудов «Меркурий» наш, и «Зритель»,[2]
И книжный магазин, и лавочки полны.
«Мы с рифмами на свет,— он мыслил,— рождены;
Так не смешно ли нам, поэтам, согласиться
На взморье в хижину, как Демосфен, забиться,
Читать да думать все, и то, что вздумал сам,
Рассказывать одним шумящим лишь волнам?
Природа делает певца, а не ученье;
Он не учась учен, как придет в восхищенье;
Науки будут всё науки, а не дар;
Потребный же запас — отвага, рифмы, жар».

[1] Петербургский портной.
[2] Петербургские журналы.

И вот как писывал поэт природный оду:
Лишь пушек гром подаст приятну весть народу,
Что Рымникский Алкид поляков разгромил,
Иль Ферзен их вождя Костюшку полонил,
Он тотчас за перо и разом вывел: *Ода!*
Потом в один присест: *такого дня и года!*
«Тут как? .. *Пою!* .. Иль нет, уж это старина!
Не лучше ль: *Даждь мне, Феб!* .. Иль так: *Не ты одна*
Попала под пяту, о чалмоносна Порта!
Но что же мне прибрать к ней в рифму, кроме чорта?
Нет, нет! нехорошо; я лучше поброжу
И воздухом себя открытым освежу».
Пошел и на пути так в мыслях рассуждает:
«Начало никогда певцов не устрашает;
Что хочешь, то мели! Вот штука, как хвалить
Героя-то придет! Не знаю, с кем сравнить?
С Румянцевым его, иль с Грейгом, иль с Орловым?
Как жаль, что древних я не читывал! а с новым —
Неловко что-то все. Да просто напишу:
Ликуй, Герой! ликуй, Герой ты! возглашу.
Изрядно! Тут же что! Тут надобен восторг!
Скажу: *Кто завесу мне вечности расторг?*
Я вижу молний блеск! Я слышу с горня света
И то, и то... А там? .. известно: *многи лета!*
Брависсимо! и план и мысли, все уж есть!
Да здравствует поэт! осталося присесть,
Да только написать, да и печатать смело!»
Бежит на свой чердак, чертит, и в шляпе дело!
И оду уж его тисненью предают
И в оде уж его нам ваксу продают!
Вот как пиндарил он, и все ему подобны
Едва ли вывески надписывать способны!
Желал бы я, чтоб Феб хотя во сне им рек:
«Кто в громкий славою Екатеринин век
Хвалой ему сердец других не восхищает
И лиры сладкою слезой не орошает,
Тот брось ее, разбей, и знай: он не поэт!»

Да ведает же всяк по одам мой клеврет,
Как дерзостный язык бесславил нас, ничтожил,

Как лириков ценил! Воспрянем! Марсий ожил!
Товарищи! к столу, за перья! отомстим,
Надуемся, напрём, ударим, поразим!
Напишем на него предлинную сатиру
И оправдаем тем российску громку лиру.

1794

* * *

Обманывать и льстить —
Вот все на разум правы!
Ах! как не возопить:
«О времена! о нравы!»

Друг только что в глазах,
Любовницы лукавы
И верны на словах —
О времена! о нравы!

Сын и́дет в дом сирен
Вкушать любви отравы;
Там тятя, старый хрен! —
О времена! о нравы!

Вдовы́ от глада мрут,
А театральны павы
С вельможей дань берут —
О времена! о нравы!

За слово и за взгляд
Текут ручьи кровавы;
Друг друга все едят —
О времена! о нравы!

Не полно ли, друзья?
Вам шутки и забавы,
А ведь ответчик я —
О времена! о нравы!

<1796>

ПУТЕШЕСТВИЕ N. N. В ПАРИЖ И ЛОНДОН,
ПИСАННОЕ ЗА ТРИ ДНИ ДО ПУТЕШЕСТВИЯ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Друзья! сестрицы! я в Париже!
Я начал жить, а не дышать!
Садитесь вы друг к другу ближе
Мой маленький журнал читать:
Я был в Лицее, в Пантеоне,
У Бонапарта на поклоне;
Стоял близехонько к нему,
Не веря счастью моему.
Вчера меня князь Д<олгоруко>в
Представил милой Рекамье;
Я видел корпус мамелюков,
Сиеса, Вестриса, Мерсье,
Мадам Жанлис, Виже, Пикара,
Фонтана, Герля, Легуве,
Актрису Жорж и Фиеве;
Все тропки знаю булевара,
Все магазины новых мод;
В театре всякий день, оттоле
В Тиволи и Фраскати, в поле.
Как весело! какой народ!
Как счастлив я! — итак, простите!
Простите, милые! и ждите
Из области наук, искусств
Вы с первой почтой продолженья,
Истории без украшенья,
Идей моих и чувств.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Против окна в шестом жилье,
Откуда вывески, кареты,
Всё, всё, и в лучшие лорнеты
С утра до вечера во мгле,
Ваш друг сидит еще не чесан,
И на столе, где кофь стоит,
«Меркюр» и «Монитер» разбросан,
Афишей целый пук лежит:
Ваш друг в свою отчизну пишет;
А Журавлев уж не услышит!
Вздох сердца! долети к нему!
А вы, друзья, за то простите
Кое-что нраву моему;
Я сам готов, когда хотите,
Признаться в слабостях моих;
Я, например, люблю, конечно,
Читать мои куплеты вечно,
Хоть слушай, хоть не слушай их;
Люблю и странным я нарядом,
Лишь был бы в моде, щеголять;
Но словом, мыслью, даже взглядом
Хочу ль кого я оскорблять?
Я, право, добр! и всей душою
Готов обнять, любить весь свет!..
Я слышу стук!.. никак за мною?
Так точно, наш земляк зовет
На ужин к *нашей же* — прекрасно!
Сегюр у ней почти всечасно:
Я буду с ним, как счастлив я!
Пришла минута и моя!
Простите! время одеваться,
Чрез месяц, два — я, может статься,
У мачты буду поверять
Виргилиеву грозну бурю;
А если правду вам сказать,
Так я глаза мои защурю
И промыслу себя вручу.
Как весело! лечу! лечу!

Валы вздувалися горами,
Сливалось море с небесами,
Ревели ветры, гром гремел,
Зияла смерть, а N. N. цел!
А N. N. ваш в коротком фрачке,
В Вестминстере свернувшись в ком,
Пред урной Попа бьет челом;
В ладоши хлопает на скачке,
Спокойно смотрит сквозь очков
На стычку Питта с Шериданом,
На бой задорных петухов
Иль дога с яростным кабаном:
Я в Лондоне, друзья, и к вам
Уже объятья простираю —
Как всех увидеть вас желаю!
Сегодня на корабль отдам
Все, все мои приобретенья
В двух знаменитейших странах!
Я вне себя от восхищенья!
В каких явлюсь к вам сапогах!
Какие фраки! панталоны!
Всему новейшие фасоны!
Какой прекрасный выбор книг!
Считайте — я скажу вам вмиг:
Бюффон, Руссо, Мабли, Корнилий,
Гомер, Плутарх, Тацит, Виргилий,
Весь Шакеспир, весь Поп и Гюм;
Журналы Аддисона, Стиля...
И всё Дидота, Баскервиля!
Европы целой собрал ум!
Ах, милые, с каким весельем
Всё это будем разбирать!
А иногда я между дельем
Журнал мой стану вам читать:
Что видел, слышал за морями,
Как сладко жизнь моя текла,
И кончу тем, обнявшись с вами:
А родина... все нам мила!

Примечания <автора>

1) *Представил милой Рекамье.* Рекамье — жена парижского банкира, прославившаяся красотой своей.

2) *Сиеса, Вестриса, Мерсье.* Первый — сенатор, игравший в революцию важную ролю; второй — славный танцовщик, а третий — давно известный писатель.

3) *Мадам Жанлис, Виже, Пикара.* Первая — сочинительница романов и нескольких книг о воспитании; второй — приятный стихотворец; последний — лучший комический писатель нынешнего времени.

4) *Фонтана, Герля, Легуве.* Три известные стихотворца.

5) *Актрису Жорж и Фиеве.* Последний — сочинитель прекрасного романа и писем об Англии.

6) *В Тиволи и Фраскати, в поле.* Так называются два гульбища.

7) *А Журавлев уж не услышит.* Почтенный старик, который незадолго перед тем умер и дружен был с путешественником.

8) *В Вестминстере и проч.* Для некоторых напомню, что в этом аббатстве издавна погребаются короли и славные мужи.

9) *И всё Дидота, Баскервиля.* Также для некоторых: Дидот — славный французский типографщик, а Баскервиль — англинской.

1803

БУДОЧНИК

Слушай всякий, кто с ушами,
Чтоб недаром я кричал.
Ночь усеяна звездами;
Било час, второй настал.

Спи, кащей, одним ты глазом,
А другим гляди востро:
Вор уж в се́нях; он как разом
Все утащит серебро.

Вместе ль ты, сосед, с женою?
Не кладися на запор:
Лезет гость к тебе трубою;
Чорт на вымыслы провор.

Эй, рифмач! храпеть не дело
Над бумагой со свечой:
Долго ль вспыхнуть? Все сгорело!
Так и мне беда с тобой.

Частный! Слышишь ли, как вою,
Исполняя твой приказ?
Если нет, так я утрою
Для тебя в последний раз:

Слушай всякий, кто с ушами,
Чтоб недаром я кричал;
Темна ночь храпит над нами;
Било час, второй настал.

1806—1807

ПЛАН ТРАГЕДИИ С ХОРАМИ

Содержание

Лапландский князь, жених гренландския княжны,
В день свадьбы, простудясь, горячкой умирает.
Тревога, брачные свечи погашены,
Стон, слезы; наконец, любовник оживает.

ПРОЛОГ

Музыкант

(приближаясь к кулисам, дает актерам знак к выходу)

Внемли и выступи, народ,
Попарно свой устроя ход!

(К актерам)

Вы помнить роль свою старайтесь!

(К фигурантам)

А вы! — вы с такты не сбивайтесь!

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Князь и княжна

Княжна

О князь! итак, ты мой!

Князь

А ты моя, княжна!
Акт кончится, и ты со мной сопряжена!
О боги! о судьба! о счастие! о сладость!
Народ! пляши и пой! дели со мною радость!

Хор

Воспляшем, воспоем, докажем нашу радость!

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Княжна

Ты болен, милый князь?

Князь

Озноб во мне и жар!

Княжна

Увы!

Князь

Прости! .. прости!

(умирает)

Княжна

Несноснейший удар!
Завистливая смерть! о рок бесчеловечной!
Народ! пляши и пой в знак горести сердечной!

Хор

Воспляшем, воспоем в знак горести сердечной!

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Гений спускается с облаков посреди грома и молнии.

Гений

Супруг твой оживет: прерви, царевна, стон!
Невинною трех парк ошибкой умер он.
О царь! будь паки жив!

Князь

(встает)

Мои ли это ноги?
Княжну ль еще я зрю? .. О милосерды боги!

Княжна

Дражайший князь! пойдем, пойдем скорее в храм!
Народ! пляши и пой похвальну песнь богам!

Хор

Воспляшем, воспоем похвальну песнь богам!

<1810>

КАРМАННЫЙ

ПѢСЕННИКЪ,

или

СОБРАНІЕ

ЛУЧШИХЪ СВѢТСКИХЪ И ПРОСТОНАРОДНЫХЪ

ПѢСЕНЪ.

Les vers sont enfans de la lyre,
Il faut les chanter, non les lire.

Часть I. II. III.

МОСКВА,

ВЪ вольной Типографіи Пономарева 1796 года.

Титульный лист «Карманного песенника», составленного И. И. Дмитриевым.

ПЕСНИ

* * *

Стонет сизый голубочек,
Стонет он и день и ночь;
Миленький его дружочек
Отлетел надолго прочь.

Он уж боле не воркует
И пшенички не клюет;
Все тоскует, все тоскует
И тихонько слезы льет.

С нежной ветки на другую
Перепархивает он
И подружку дорогую
Ждет к себе со всех сторон.

Ждет ее... увы! но тщетно,
Знать, судил ему так рок!
Сохнет, сохнет неприметно
Страстный, верный голубок.

Он ко травке прилегает;
Носик в перья завернул;
Уж не стонет, не вздыхает;
Голубок... навек уснул!

Вдруг голубка прилетела,
Приуныв, издалека,

Над своим любезным села,
Будит, будит голубка;

Плачет, стонет, сердцем ноя,
Ходит милого вокруг —
Но... увы! прелестна Хлоя!
Не проснется милый друг!

<1792>

* * *

Ах! когда б я прежде знала,
Что любовь родит беды,
Веселясь бы не встречала
Полуночныя звезды!
Не лила б от всех украдкой
Золотого я кольца;
Не была б в надежде сладкой
Видеть милого льстеца!

К удалению удара
В лютой, злой моей судьбе,
Я слила б из воска яра [1]
Легки крылышки себе
И на родину вспорхнула
Мила друга моего;
Нежно, нежно бы взглянула
Хоть однажды на него.

А потом бы улетела
Со слезами и тоской;
Подгорюнившись бы села
На дороге я большой;
Возрыдала б, возопила:
Добры люди! как мне быть?
Я неверного любила...
Научите не любить.

<1792>

---

[1] Эта песня есть точное подражание старинной простонародной песне.

* * *

Тише, ласточка болтлива!
Тише, тише; полно петь!
Ты с зарею вновь счастлива,—
Ах! а мне пришло терпеть.
Я расстаться должен с милой
На заре, к моим слезам...
О луна! твой свет унылой
Краше солнышка был нам!

Тише, ласточка болтлива!
Тише, тише; полно петь!
Ты с зарею вновь счастлива,—
Ах! а мне пришло терпеть.
Знать, и сонная мечтала
О любови ты своей:
Ты к утехам рано встала,
А я к горести моей!

Тише, ласточка болтлива!
Тише, тише; полно петь!
Ты с зарею вновь счастлива,—
Ах! а мне пришло терпеть.
О, когда б и ты имела
Участь, равную со мной!
Ты б молчала, а не пела,
И встречала день с тоской.

<1792>

* * *

Без друга и без милой
Брожу я по лугам;
Брожу с душой унылой
Один по берегам.
Там те же всё встречаю
Кусточки и цветки,
Но, ах! не облегчаю
Ничем моей тоски!

Срываю я цветочек
И в мыслях говорю:
«Кому сплести веночек?
Кого им подарю?»
Со вздохом тут катится
Из сердца слезный ток,
И из руки валится
Увядший в ней цветок.

Во времена счастливы,
Бывало в жаркий день,
Развесистые ивы,
Иду я к вам под тень.
Пошлете ль днесь отраду
Вы сердцу моему?
Ах! сладко и прохладу
Вкушать не одному!

Все, все постыло в мире!
И персты уж мои
Не движутся на лире,

Лишь слез текут струи.
Престань же петь, несчастный!
И лиру ты разбей;
Не слышен голос страстный
Душе души твоей!

1793

* * *

Видел славный я дворец
Нашей матушки царицы;
Видел я ее венец
И златые колесницы.

«Все прекрасно!» — я сказал
И в шалаш мой путь направил:
Там меня мой ангел ждал,
Там я Лизаньку оставил.

Лиза, рай всех чувств моих!
Мы не знатны, не велики;
Но в объятиях твоих
Меньше ль счастлив я владыки?

Царь один веселий час
Миллионом покупает;
А природа их для нас
Вечно даром расточает.

Пусть певцы не будут плесть
Мне похвал кудрявым складом:
Ах! сравню ли я их лесть
Милой Лизы с нежным взглядом?

Эрмитаж мой — огород,
Скипетр — посох, а Лизета —
Моя слава, мой народ
И всего блаженство света!

<*1794*>

* * *

Пой, скачи, кружись, Параша!
Руки в боки подпирай!
Мчись в веселии, жизнь наша!
Ай, ай, ай, жги! [1] припевай.

Мил, любезен василечек —
Рви, доколе он цветет;
Солнце зайдет, и цветочек...
Ах! увянет, опадет!

Пой, скачи, кружись, Параша!
Руки в боки подпирай!
Мчись в веселии, жизнь наша!
Ай, ай, ай, жги! припевай.

Соловей не умолкает,
Свищет с утра до утра:
Другу милому, он знает,
Петь одна в году пора.

Пой, скачи, кружись, Параша!
Руки в боки подпирай!
Мчись в веселии, жизнь наша!
Ай, ай, ай, жги! припевай.

Кто, быв молод, не смеялся,
Не плясал и не певал,

[1] Известный припев одной из цыганских песен.

Тот ничем не наслаждался;
В жизни не жил, а дышал.

Пой, скачи, кружись, Параша!
Руки в боки подпирай!
Мчись в веселии, жизнь наша!
Ай, ай, ай, жги! припевай.

<1795>

* * *

Всех цветочков боле
   Розу я любил;
Ею только в поле
   Взор мой веселил.

С каждым днем милее
   Мне она была;
С каждым днем алее,
   Все, как вновь, цвела.

Но на счастье прочно
   Всяк надежду кинь:
К розе, как нарочно,
   Привилась полынь.

Роза не увяла —
   Тот же самый цвет;
Но не та уж стала:
   Аромата нет! ..

Хлоя! как ужасен
   Этот нам урок!
Сколь, увы! опасен
   Для красы порок!

<1795>

* * *

Други! время скоротечно,
И не видишь, как летит!
Молодыми быть не вечно;
Старость вмиг нас посетит.
Что же делать? так и быть,
В ожиданьи будем пить.

Пусть арак ума убавит
Между нас у остряков!
Он сердца зато заставит
Говорить без колких слов.
Лучший способ дружно жить —
Меньше врать, а больше пить.

Посмотрите, как уныла
Вся природа на земли:
Осень рощи обнажила;
Ах! и розы отцвели.
Как же грусть нам усладить?
Чаще пунш с араком пить.

О арак, арак чудесный!
Ты весну нам возвратил;
Ты согрел, как май прелестный,
Щеки розами покрыл.
Чем же нам тебя почтить?
Вдвое, втрое больше пить.

<1795>

* * *

Куда мне, сердце страстно,
Куда с тобой бежать?
Здесь должен я всечасно
Печаль мою скрывать.

Друзья мои пеняют,
Что я всегда уныл:
Увы! они не знают,
Таков ли прежде был.

Ах! некогда на лире
И я, резвясь, играл;
И я путь скромный в мире
Цветами устилал!

О, грустно вспоминанье!
Не медлим ни часа,
Пойдем сокрыть стенанье
В дремучие леса!

Там горестью глубокой
Никто не укорит;
Ни имени жестокой
При мне не повторит.

Пускай один с тобою
Я буду горевать;
И непрестанно Хлою
Винить — и обожать.

<1795>

* * *

Что с тобою, ангел, стало?
Не слыхать твоих речей;
Все вздыхаешь! а бывало
Ты поешь, как соловей.

«С милым пела, говорила,
А без милого грущу;
Поневоле приуныла:
Где я милого сыщу?»

Разве милого другого
Не найдешь из пастушков?
Выбирай себе любого,
Всяк тебя любить готов.

«Хоть царевич мной прельстится,
Все я буду горевать!
Сердце с сердцем подружится —
Уж не властно выбирать».

<1796>

* * *

Все ли, милая пастушка,
Все ли бабочкой порхать?
Узы сердца не игрушка:
Тяжело их разрывать!

Ах! по мне и вчуже больно
Видеть горесть пастушка!
Любишь милое невольно!
Любишь прямо — не слегка!

Будь в любовной ты науке
Ученицею моей:
Я с Филлидой и в разлуке,
А она мне всех милей.

<1805>

Москва, 2 марта, 1788 г.

Любезный друг Иван Иванович!

Радуюсь, что ты доволен своею [illegible], или перестал скучать. Надеюсь, что приближение весны имеет приятное влияние на твое здоровье. Все скоро оживится. Скоро птицы, соединясь в хоры, воспоют хвалебную песнь весне. Мой друг! не уже ли ты с тобою будешь ходить повеся голову? не уже ли не возьмешь участия в общей радости, и, наморщив лоб, скажешь:

Везде, где видишь радость,
Ведут веселие дни;
Но ты, печалью отягченный,
Уныло бродишь по лесам, —
В лугах покоя не находишь; —
Смотря в ручей, ты слезы льешь;
Слезами воду возмущаешь,
Волнуешь вздохами ее? —

Прости, мой друг, прости! я [illegible] по прежнему; [illegible] [illegible] переменить в [illegible] моих.

Покорнейший твой слуга
и искренний друг
Н. Карамзин

Автограф письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву от 2 марта 1788 года.

ответъ.

мой другъ! судьба определила
чтобъ я терзался всякой часъ
душа моя во мнѣ уныла
и жаръ ея почти погасъ
угрюмой весну я ль неизвѣстно
но только то скажу нелестно
что если щастливъ я от тебя:
любовию твоею меня природа
во всѣ четыре время года
и не знаю я судьбы.

Автограф ответа И. И. Дмитриева на обороте письма Н. М. Карамзина от 2 марта 1788 года.

ЛИРИЧЕСКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОСЛАНИЯ

ОТЪЕЗД

Простите, лары и пенаты!
Прости и ты, волшебный край,
В котором гении крылаты
Казали мне и в дебрях рай;
Где я мечтами забавлялся,
Где лютый всех знобил мороз;
А я лежал средь нежных роз
И ароматом их питался,
И где в замерзлом ручейке
Видался каждый день с наядой;
Где куст, береза вдалеке
Казались мне гамадриадой,
А дьяк или и сам судья
Какой-нибудь цирцеи жертвой.
Ах, как в тебе был счастлив я!
Бывало и живой и мертвой
Равно повиновались мне,
И я, не выходя из дому,
Чудесил так, что вряд другому
Увидеть даже и во сне.
Лишь месяц лик уставит в воду
И светлу твердь застелет мрак —
То есть как ночь на всю природу
Накинет флеровый колпак,—
С восторгом я в тебя вступаю
И, как могучий чародей,
Натурою повелеваю:
Хочу — и зрю толпу людей,
За *тридевять* земель лежавших
Два века в мать-сырой земле,

В их прежнем образе представших
Глазам моим в прозрачной мгле.
Вздохну — и вижу я Темиру,
В ее объятия лечу,
И в тот же миг, наладя лиру,
Что́ придет на сердце, бренчу.
Еще вздохну — и вмиг предстанет
Покрытый муравою луг;
С улыбкой нежной солнце взглянет,
Вспорхнет зефир, явится друг
С своею арфой сладкогласной
И маю возгласит на ней:
«Спеши, спеши, о май прекрасной,
Любезный вождь весенних дней!
Дохни к нам нежными устами,
И ландыш с розой расцветут;
Тебя с простертыми руками
Прелестны нимфы с неба ждут».

Но время, хоть никто не просит,
На быстрых крылиях своих
Мечты, утехи все уносит,
И я почти лишен моих!
Необходимою судьбою,
Ах! скоро, скоро я с тобою
Расстануся, волшебный мир!
Пройдет недели две, не боле,
И я уже на чистом поле
Лечу на тройке, как зефир.
Удалы мчат, заки́нув гривы,
Земля бежит, и пыль столбом!
Прощайте, дни мои счастливы!
Прощай, отеческий мой дом!
Прощайте, грации и музы!
Увы! невольно сладки узы
Я должен с вами перервать...
Прощай, прощай и ты, о Волга! —
О Марс! о честь! о святость долга!
Скачу, скачу... *маршировать.*

1788

СЧЕТ ПОЦЕЛУЕВ

Прелестна Лизанька! на этом самом поле,
Под этой липою, ты слово мне дала
Сто поцелуев дать; но только сто, не боле.
Ах, Лиза! видно, ты ввек страстной не была!
Дай сто, дай тысячу, дай тьму,— все будет мало
Для сердца, что к тебе любовью воспылало!
Послушай, Лизанька: который из богов
На расточение был скуп своих даров?
Благотворить, не знав пределов, вот их мера!
Считала ли Церера
Все класы, коими она
Чело природы украшает,
Когда ее обогащает?
И Флора милая, с которой ты сходна
Приятностью, красою,
Не щедрою ль, скажи, рукою
Кидает на землю душистые цветы?
Иль нежного возьми в пример Зефира ты:
Он вечно росписи не знает
Всем розам, кои здесь в кусточках лобызает.
По капле ль падает небесная вода
Для освежения полей, лугов от зною?
Не правда ли, что иногда
Юпитер льет ее рекою?
Жалела ль для цветов своих Аврора слез?
Нет! мир свидетель в том, что жители небес
И худо и добро — всё сыплют к нам без меры.
А ты, совместница Венеры,
Которой сын ее вручил такую власть,
Что взглядом можешь в нас рождать бессмертну страсть,

Ты, Лиза, ты теперь... ах! может ли то статься?
Ты хочешь хладной быть и с богом сим считаться!
Жестокая! скажи, считал ли я хоть раз,
Сколь много пролил слез отчаянья из глаз;
Сколь часто, посреди восторгов и желаний,
Я сердце надрывал от вздохов и стенаний?
Сочти все горести, стеснявшие мне грудь,
И после ты сама судьею нашим будь.
Но нет! смешаем все, и радости и муки;
Пади, любезная, пади в мои ты руки!
Позволь, чтоб я тебя без счета целовал
За столько, столько слез... которых не считал.

<1791>

Я

Умен ли я, никем еще в том не уверен;
Пороков не терплю, а в слабостях умерен;
Немножко мотоват, немножко я болтлив;
Немножко лгу, но лгу не ко вреду другого,
Немножко и колю, но не от сердца злого,
Немножко слаб в любви, немножко в ней стыдлив
И пред любовницей немножко боязлив.
Но кто без слабостей?.. Итак, надеюсь я,
Что вы, мои друзья,
Не будете меня за них судити строго.
Немножко дурен я, но вас люблю я много.

<1791>

ПРОХОЖИЙ И ГОРЛИЦА

Прохожий

Что так печально ты воркуешь на кусточке?

Горлица

Тоскую по моем дружочке.

Прохожий

Неужель он тебе, неверный, изменил?

Горлица

Ах, нет! стрелок его убил.

Прохожий

Несчастная! страшись и ты его руки!

Горлица

Что нужды! ведь умру ж с тоски.

<1791>

К А. Г. С<ЕВЕРИНО>Й

Какое зрелище для нежныя души!
О Грёз! дай кисть свою иль сам ты напиши!
В румяный майский день, при солнечном восходе,
Тогда, как все цветет и нежится в природе,
Все нектар пьет любви, весной своей гордясь,—
Климена скромная, на люльку опустясь,
Ни молвить, ни дышать не смея,
Любуется плодом бесценным Гименея,
Любуется его улыбкою сквозь сон,
И чуть не говорит: «Как мил... и точно он! ..»
Итак, Климена, ты теперь уже спокойна:
Ты счастлива, ты мать и ею быть достойна!
Уже любимых ты певцов,
Делиля, Колардо с Торкватом, забываешь
И в скромную свою диванну мудрецов,
Бюффона и Руссо и Локка, призываешь;
И даже в этот час, как Терпсихора всех
Зовет чрез Фауля [1] в свой храм забав, утех,
Как пудры облака покрыли туалеты,
Как всё в движении: флёр, шляпки и корсеты,
Картоны, ящики, мужья и сундуки,—
Сколь мысли у тебя от шума далеки!
Сидишь, облокотясь, над книгою смиренно,
Сидишь, и все твое понятие вперенно
В систему, в правила британского творца,
Который только сух для одного глупца.
Вся мысль и все твое желание, чтоб сына
Соделать звания достойным гражданина.

---

[1] Бывший тогда содержатель английских балов.

О, подвиг сладостный, священный искони!
Климена! увенчай ты им прекрасны дни.
Кто более тебя во способах обилен?
Не матери ль одной достоин сей предмет?
Глас матери всегда красноречив и силен.
Так, умница! храни, лелей ты нежный цвет
Под собственной рукою
И удобряй его учения росою.
Пекись, чтоб излиял он райский аромат,
Когда желанный день созрения настанет:
Да усладит твое и сердце он и взгляд
И в осень дней твоих весну твою вспомянет!
А ты, дитя, залог дражайший двух сердец!
Живи и усугубь их счастье наконец:
Будь честен, будь умен, чувствителен, незлобен,
Приятен, мил,— во всем будь маменьке подобен!

1791

КАРИКАТУРА

Сними с себя завесу,
Седая старина!
Да возвещу я внукам
Что́ ты откроешь мне.

Я вижу чисто поле;
Вдали ж передо мной
Чернеет колокольня
И вьется дым из труб.

Но кто вдоль по дороге,
Под шляпой в колпаке,
Трях, трях, а инде рысью,
На старом рыжаке,

В изодранном колете,
С котомкой в тороках?
Палаш его тяжелый,
Тащась, чертит песок.

Кто это? — Бывший вахмистр
Шешминского полку,
Отставку получивший
Чрез двадцать службы лет.

Уж он в версте, не боле,
От родины своей;
Все жилки в нем взыграли
И сердце расцвело!

Как будто в мир волшебный
Он ведьмой занесен;
Все, все его прельщает,
В восторг приводит дух.

И воздух будто чище,
И травка зеленей,
И солнышко светлее
На родине его.

«Узнает ли Груняша? —
Ворчал он про себя,—
Когда мы расставались,
Я был еще румян!

Ступай, рыжак, проворней!» —
И шпорою кольнул;
Ретивый конь пустился,
Как из лука стрела.

Уж витязь наш проехал
Околицу с гумном —
И вот уж он въезжает
На свой господский двор.

Но что он в нем находит?
Его ль жилище то?
Весь двор заглох в крапиве!
Не видно никого!

Лубки прибиты к окнам,
И на дверях запор;
Все тихо! лишь на кровле
Мяучит тощий кот.

Он с лошади слезает,
Идет и в дверь стучит —
Никто не отвечает!
Лишь в щелку ветр свистит.

Заныло веще сердце,
И дрожь его взяла;

Побрел он, как сиротка,
Нахохляся, назад.

Но робкими ногами
Спустился лишь с крыльца,
Холоп его усердный
Представился ему.

Друг друга вмиг узнали —
И тот и тот завыл.
«Терентьич! где хозяйка?» —
Помещик вопросил.

«Охти, охти, боярин! —
Ответствовал старик,—
Охти!» — и, скорчась, слезы
Утер своей полой.

«Конечно, в доме худо! —
Мой витязь возопил.—
Скажи, не дай томиться:
Жива иль нет жена?»

Терентьич продолжает:
«Хозяюшка твоя
Жива иль нет, бог знает!
Да здесь ее уж нет!

Пришло тебе, боярин,
Всю правду объявить:
Попутал грех лукавый
Хозяюшку твою.

Она держала пристань
Недобрым молодцам;
Один из них поиман
И на нее донес.

Тотчас ее схватили
И в город увезли;
Что ж с нею учинили,
Узнать мы не могли.

Вот пятый год в исходе —
Охти нам! — как об ней
Ни слуха нет, ни духа,
Как канула на дно».

Что делать? как ни больно...
Но вечно ли тужить?
Несчастный муж поплакал,
Женился на другой.

Сей витязь и поныне,
Друзья, еще живет;
Три года, как в округе
Он земским был судьей.

1791

НАСЛАЖДЕНИЕ

Всяк в своих желаньях волен —
Лавры! вас я не ищу;
Я и мирточкой доволен,
Коль от милой получу.

Будь мудрец светилом мира,
Будь герой вселенной страх,—
Рано ль, поздно ли, Темира,
Всяк истлеет, будет прах!

Розы ль дышат над могилой
Иль полынь на ней растет,—
Все равно, о друг мой милой!
В прахе чувствия уж нет.

Прочь же, скука! прочь, забота!
Вспламеняй, любовь, ты нас!
Дни текут без поворота;
Дорог, дорог каждый час!

Может быть, в сию минуту,
Милый друг, всесильный рок
Посылает парку люту
Дней моих прервати ток.

Ах! почто же медлить боле
И с тоскою ждать конца?
Насладимся мы, доколе
Бьются в нас еще сердца!

1792

К ХЛОЕ

Дрожащею рукою
За лиру я берусь,
Хочу, хочу петь Хлою,
Но в сердце я мятусь.

Какой мне ждать награды
За мой, о Хлоя! стих?
Но, ах! быть другом правды
Есть должность лет моих.

В сей день тебе свершилась
Тридцатая весна —
Увы! еще затмилась
Зараза с ней одна!

Еще одна морщина
Прибавилась к другим —
О, прелестей кончина!
В тебе-то смерть мы зрим.

Ах! кстати вы, морозы
Декабрьские, пришли:
Уже поблекли розы,
Что на щеках цвели.

И лилия желтеет
У Хлои на грудях,
Хотя зефир и веет
Еще в ее кудрях.

Амуры, утирая
Ручонкою глаза,
Уж вьются, воздыхая,
Под светлы небеса.

А грации, гордяся
Бессмертной красотой,
В насмешку ей, резвяся,
Кричат: «О время! стой!»

Но ты... зевнула, Хлоя?
И мне уже невмочь,—
Так скажем же мы двое
Друг другу: *добра ночь!*

<1792>

СТАНСЫ К Н. М. КАРАМЗИНУ

«Прочь от нас, Катон, Сенека,
Прочь, угрюмый Эпиктет!
Без утех для человека
Пуст, несносен был бы свет.

Младость дважды не бывает.
Счастлив тот, который в ней
Путь цветами устилает,
Не предвидя грозных дней».

Так мою настроя лиру
И призвав одну из муз,
Дружбу, сердце и Темиру,
С ними пел я мой союз.

Пел, не думая о славе,
Не искав ничьих похвал:
Лишь друзей моих к забаве
Лиру я с стены снимал.

Все в глазах моих играло,
Я в волшебной был стране:
Солнце ярче луч бросало
И казалось Фебом мне.

В роще ль голос разольется
Сладкопевца соловья —
Сердце вмиг во мне забьется:
Филомелу вспомню я.

С нею вместе унываю,
И доволен, что грущу!..
Но почто я вспоминаю
То, чего уж не сыщу?

Утро дней моих затмилось
И опять не расцветет;
Сердце с счастием простилось
И мечтой весенних лет.

Резвый нежных муз питомец,
Друг и смехов и утех,
Ныне им как незнакомец
И собой пугает всех.

Осужден, к несносной скуке,
Грусть в самом себе таить —
Ах! и с другом быть в разлуке,
И от дружбы слезы лить!..

О любимый сын природы,
Нежный, милый наш певец!
Скоро ль отческие воды
Нас увидят наконец?

Скоро ль мы на Волгу кинем
Радостный, сыновний взор,
Всех родных своих обнимем
И составим братский хор?

С нами то же, что со цветом:
Был — и нет его чрез день.
Ах, уклонимся ж хоть летом [1]
Древ домашних мы под тень.

Скажем им: «Древа! примите
Вы усталых пришлецов,

---

[1] Т. е. в лето жизни нашей.

И с приязнью обнимите
В них друзей и земляков!

Было время, что играли
Здесь под тенью мы густой,—
Вы цветете... мы увяли!
Дайте старости покой».

1793

К Ф. М. ДУБЯНСКОМУ,
СОЧИНИВШЕМУ МУЗЫКУ НА ПЕСНЮ «ГОЛУБОК»

Нежный ученик Орфея!
Сколь меня ты одолжил!
Ты, смычком его владея,
Голубка мне возвратил.

Бедный сизый Голубочек
Долго всеми был забвен;
Лишь друзей моих веночек
Голубку был посвящен.

Вдруг навеяли зефиры,
Где лежал он, на лужок,
Глас твоей волшебной лиры —
И воскреснул Голубок!

Он вспорхнул и очутился
Милой Грации в руках:
На клавир ее спустился
И запрыгал на струнах.

Я глядел и сомневался,
Точно ль он передо мной:
Мне пригожей показался
И милей Голубчик мой!

1793

К ВОЛГЕ

Конец благополучну бегу!
Спускайте, други, паруса!
А ты, принесшая ко брегу,
О Волга! рек, озер краса,
Глава, царица, честь и слава,
О Волга пышна, величава!
Прости! .. Но прежде удостой
Склонить свое вниманье к лире
Певца, незнаемого в мире,
Но воспоенного тобой!

Исполнены мои обеты;
Свершилось то, чего желал
Еще в младенческие леты,
Когда я руки простирал
К тебе из отческия кущи,
Взирая на суда, бегущи
На быстрых белых парусах!
Свершилось, и блажу судьбину:
Великолепну зрел картину!
И я был на твоих волнах!

То нежным ветерком лобзаем,
То ревом бури и валов
Под черной тучей оглушаем
И отзывом твоих брегов,
Я плыл, скакал, летел стрелою —
Там видел горы над собою
И спрашивал: который век
Застал их в молодости сущих?

Здесь мимо городов цветущих
И диких пустыней я тек.

Там веси, нивы благодатны,
Стада и кущи рыбарей,
Цветы и травы ароматны,
Растущи средь твоих зыбей,
Влекли попеременно взоры;
А там сирен пернатых хоры,
Под тень кусточков уклонясь,
Пространство пеньем оглашали —
И два сайгака им внимали
С крутых стремнин, не шевелясь.

Там кормчий, руку простирая
Чрез лес дремучий на курган,
Вещал, сопутников сзывая:
«Здесь Разинов был, други, стан!»
Вещал, и в думу погрузился;
Холодный пот по нем разлился,
И перст на воздухе дрожал.
А твой певец в сии мгновенья,
На крылиях воображенья,
В протекших временах летал.

Летал, и будто сквозь тумана
Я видел твой веселый ток
Под ратью грозна Иоанна;
И видел Астрахани рок.
Вотще ордынцы безотрадны
Бегут на холмы виноградны
И сыплют стрелы по судам:
Бессмертный Росс на брег ступает,
И гордо царство упадает
Со трепетом к его стопам.

Я слышал Каспия седого
Пророческий, громовый глас:
«Страшитесь, персы, рока злого!
Идет, идет царь сил на вас!
Его и Юг и Норд трепещет;
Он тысящьми перуны мещет,

Затмил Луну и Льва сразил!..
Внемлите шум: се волжски волны
Несут его, гордыни полны!
Увы, Дербент!.. идет царь сил!»

Пророк, и хлынули реками
У бога воды из очес;
Вдруг море вздулося буграми,
И влажный Каспий в них исчез.
О, как ты, Волга, ликовала!
С каким восторгом поднимала
Победоносного царя!
В сию минуту пред тобою
Казались малою рекою
И Бельт и Каспий, все моря!

Но страннику ль тебя прославить?
Он только в искренних стихах
Смиренну дань хотел оставить
На счастливых твоих брегах.
О, если б я внушен был Фебом,
Ты первою б рекой под небом,
Знатнейшей Гангеса была!
Ты б славою своей затмила
Величие Евфрата, Нила,
И всю вселенну протекла.

1794

К <А. Г. СЕВЕРИНОЙ>
НА ВЫЗОВ ЕЕ НАПИСАТЬ СТИХИ

Ах, когда бы в древни веки
Я с тобой, Филлида, жил!
Например, мы были б греки;
Как бы я тебя хвалил!

Под румяным, ясным небом
В благовонии цветов,
Оживленных кротким Фебом,
Между миртовых кустов —

Посреди тебя с супругом
Сел бы твой Анакреон
И, своим упрошен другом,
Стал бы лиру строить он.

Вы б и гости замолчали,
Чтоб идеи мне скопить,
И малютки б перестали
Пестру бабочку ловить.

Как в саду твоем порхала
В мае пчелка по цветам,
Так рука б моя летала
Резвой лиры по струнам.

Там бы каждый мне цветочек
К пенью мысли подавал:
Милый, скромный василечек
Твой бы нрав изображал.

Я твою бы миловидность
И стыдливость применил
К нежной розе; а невинность
С белой лилией сравнил.

Ты б растрогалась, вскочила —
Я уверен точно в том —
И певца бы наградила
Поцелуем и венком.

Но, увы! мой ум мечтает;
Сколь далек я от Афин!
Здесь не Флора обитает,
А Мороз, Бореев сын!

<1794>

ЭЛЕГИЯ

Подражание Тибуллу

Пускай кто многими землями обладает,
В день копит золото, а в ночь недосыпает,
Страшася и во сне военныя трубы:
Тибулл унизился б, желав его судьбы;
Тибулл в убожестве, незнатен... но доволен,
Когда он в хижинке своей спокоен, волен,
Живет с надеждою, с любовию втроем
И полный властелин в владении своем.
Хочу — и делаю: то в скромном огороде
Душисты рву цветы и гимн пою природе;
То тропки по снуру прямые провожу,
То за прививками младых дерев хожу;
То гряды, не стыдясь, сам заступом копаю;
А иногда волов ленивых загоняю;
Иль весело бегу с барашком на руках,
Который позабыт был матерью в лугах.

Богам усердный жрец, я первенцы земные
Всегодно приношу на алтари святые:
Палесе жертвую домашним молоком,
Помоне каждым вновь родившимся плодом;
А пред тобой всегда, Церера златовласа,
Я вешаю венок, сплетенный мной из класа.
О Лары! некогда я в жертву приносил
Прекрасных вам тельцов: тогда... богат я был!
А ныне и овна считаю важным даром.
Но я и в бедности благодаренья с жаром
Любимого из них закланию предам;
Да воскурится пар от жертвы к небесам

При песнях юности беспечной и веселой,
Просящей от небес вина и жатвы зрелой!
Услышьте, боги, наш сердечный, кроткий глас
И скудные дары не презрите от нас!
Первоначальный дар, вам, боги, посвященный,
Простейший был сосуд, из глины сотворенный.

Я о родительском богатстве не тужу;
Беспечно дней моих остаток провожу;
Работаю, смеюсь иль с музами играю
Или под тению древесной отдыхаю,
Которая меня прохладою дарит.
Сквозь солнца иногда дождь мелкий чуть шумит:
Я, слушая его, помалу погружаюсь
В забвение и сном приятным наслаждаюсь;
Иль в мрачну, бурну ночь, в объятиях драгой,
Не слышу и грозы, гремящей надо мной.
Вот сердца моего желанья и утехи!
Пускай Мессале льстят оружия успехи,
Одержанные им победы на войне!
Пускай под лаврами, на гордом он коне,
С полками пленников, при плесках в Рим вступает
И славы своея лучами поражает;
А я... пускай от всех остануся забвен!
Пусть скажут обо мне, что робким я рожден,
Но Делии вовек не огорчу разлукой;
Одна ее слеза была б мне тяжкой мукой.
Прочь, слава! не хочу жить в будущих веках;
Пребудь лишь ты в моих, о Делия, глазах:
С тобой и дика степь Тибуллу будет раем;
С тобою он готов быть зноем пожигаем
И ночи на сырой земле препровождать.
Ах! может ли покой и одр богатый дать
Тому, кто одинок и с пламенной душою?
О Делия! я жизнь лишь чувствую с тобою;
Один твой на меня умильный, страстный взгляд
Бесценней всех честей, триумфов и наград!

Но все пройдет... увы! и Делии не станет!
Быть может... нет! пускай твой прежде друг увянет;
Пускай, когда чреда отжить ему придет,
Еще он на тебя взор томный возведет;

Еще, готовяся на вечную разлуку,
Дрожащею рукой сожмет твою он руку,
Вздохнет... и на твоей груди испустит дух.
О Делия! душа души моей и друг!
Ужель на мой костер ни слезки не уронишь?
Нет! сердце у тебя не каменно: ты стонешь,
Рыдаешь, Делия! — и нежные сердца
Желают моему подобного конца!

Исчезни, грустна мысль! Что будет, не минует:
Почто ж душа моя до времени тоскует?
Еще Сатурн моих не осребрил власов;
Еще я крепок, здрав, по благости богов;
Не унывай, Тибулл, и пользуйся годами!
Укрась чело свое ты свежими венками
И посвяти любви сей быстрый жизни час,
В который жаркий спор утехою для нас
И смелый, дерзкий шаг есть подвигом геройства:
Отважность и любовь — то молодости свойства.
Начальствую ль как вождь иль сам я предводим
Равно я в сей войне велик, неутомим.
Сверни же предо мной знамена, Марс кровавой!
И не прельщай меня бессмертной в мире славой;
Готовь трофеи ты с увечьем для других:
Пред ними все венцы! я счастлив и без них;
Богатства не хочу, а нужное имею,
И что всего милей — я Делией владею!

1795

ПОСЛАНИЕ К Н. М. КАРАМЗИНУ

Нескоро ты, мой друг, дождешься песней новых
От Музы моея! Ни фавны рощ дубовых,
Ни нимфы диких гор и бархатных лугов;
Ни боги светлых рек и тихих ручейков
Не слышали еще им незнакомой лиры.
Под мраком грозных туч играют ли зефиры?
Поет ли зяблица, как бури заревут
И с гибкого куста гнездо ее сорвут?
До песней ли и мне под гнетом рока злова?
Еще дымится пепл отеческого крова,
Еще смущенна мысль все бродит в тех местах,
Недавно где земле навеки предан прах,
Прах старца,[1] для меня толико драгоценна!

Каких же песней ждать от сердца огорченна?
Печальных. Но почто мне грациям скучать,
Когда твой нежный глас их будет *услаждать?*
Пускай они твое Послание[2] читают
И розовый венок любимцу соплетают;
Пускай Херасков, муж, от детства чтимый мной,
То в мир фантазии путь кажет за собой,
То к райским красотам на небо восхищает,
То на цветущий брег Пенея провождает
И, даже в зиму дней умом еще цветя,
Манит на лирный глас крылатое дитя
И с кротостью влечет, нежнейших чувств владетель,
Любить поэзию, себя и добродетель.

---

[1] Автор лишился тогда родного своего дяди, П. А. Б<екетова>.
[2] Послание к женщинам.

Пускай Державин всех в восторг приводит дух;
Пускай младый герой, к нему склоняя слух,
Пылает и дрожит, и ищет алчным взглядом
Копья, чтобы лететь потрясть землей и адом.

Притворства и в стихах казать я не хочу:
Поется мне — пою; невесело — молчу
И слушаю других, иль, взявши посох в руку,
В полях и по горам рассеиваю скуку;
Разнообразности природы там дивлюсь
И сколки слабые с нее снимать учусь.
Как волжанин, люблю близ вод искать прохлады;
Люблю с угрюмых скал гремящи водопады;
Люблю и озера спокойный, гладкий вид,
Когда его стекло вечерний луч златит.
А временем идя — куда, и сам не зная —
Чрез холмы, чрез леса, не видя сеням края
Под сводом зелени, вдруг на свет выхожу
И новую для глаз картину нахожу:
Открытые поля под золотою нивой!
Везде блестят серпы в руке трудолюбивой!
Какой приятный шум! какая пестрота!
Здесь взрослый, тут старик, с ним рядом красота;
Кто жнет, кто вяжет сноп, кто подбирает класы;
А дети между тем, амуры светловласы,
Украдкой по снопу, играючи, берут,
Кряхтят под ношею, друг друга ею прут,
Валяются, встают и, усмотря цветочек,
Все врознь к нему летят, как майский ветерочек.
Ах! я и сам готов за ними вслед лететь!
Уже недолго мне и на цветы смотреть:
Уже я с каждым днем чего-нибудь лишаюсь.
Иду под тень кустов — ступлю и возвращаюсь
С поникшей головой: там нет уж соловья!
Сегодня у пруда остановился я:
И ласточки над ним кружилися, вилися,
И серы облака по небесам неслися.
Ах! скоро, милый друг, неистовый Эол
Помчится на крылах шумящих с гор на дол,
Завоет, закрутит, кусты к земле приклонит,

Свинцовые валы на озеро нагонит,
В пещерах заревет и засвистит в дуплах
И с воздухом смесит и листвия и прах:
День, два — и, может быть, цветочка не застану;
День, два — и, может быть... как знать?.. и сам увяну!

1795

К ПРИЯТЕЛЮ

(с дачи)

Льстивый друг моей цевницы!
Вот стихи тебе — прочти:
Недалеко от столицы,
К Петергофу на пути,
Есть китайская лачуга,
Иль, учтивее,— *пагод;*
Там без милой и без друга
Не китайский *бог — урод,*
А к жрецу его подходит. . .
Добрый друг своих друзей
Дни смирнехонько проводит,
Не боясь лихих людей.
Он тебя с любезным братом
На обед к себе зовет;
Ни фарфором он, ни златом
Перед вами не блеснет,
Но Усердие вас примет,
Дружба скажет: *в добрый час!*
Смела Искренность обнимет
И за стол посадит вас,
А Веселость по стакану
Поднесет чего-нибудь. . .
Ах! не худо быть и пьяну;
Все вздыхать — устанет грудь

<1795>

К Ю. А. Н<ЕЛЕДИНСКОМУ->М<ЕЛЕЦКОМУ>

Заведен в лесок тоскою
На свободе погрустить,
Вспомянуть прелестну Хлою
И слезу из глаз пролить,—
Я твою услышал лиру,
Милый наш Анакреон!
Ты бесстрастну пел Темиру
И пускал из сердца стон.

«Дайте, боги,— я воскликнул,—
Мне Н<елединского> дар!
Верно б Хлои грудь проникнул
Мой, увы, несчастный жар!»
Кто с тобою не восстонет,
Нежный, пламенный певец?
Ах, твой глас и камень тронет,
У тебя лишь ключ сердец!

<1795>

МАДРИГАЛЫ

1

По чести, от тебя не можно глаз отвесть;
Но что к тебе влечет? .. загадка непонятна!
Ты не красавица, я вижу... а приятна!
Ты б лучше быть могла; но лучше так, как есть.

<1795>

2

Задумчива ли ты, смеешься иль поешь,
О Хлоя милая! ты всем меня прельщаешь:
Часам ты крылья придаешь,
А у любви их похищаешь.

<1795>

А. Г. С<ЕВЕРИНОЙ> В ДЕНЬ ЕЕ РОЖДЕНИЯ

Вступая в новый год, любезная Климена,
Не бойся, чтоб в судьбе твоей произошла
Какая перемена;
Ты будешь завсегда приятна и мила,
И лет твоих считать друзья твои не станут:
Душой прекрасные не вянут.

1798

ПОСЛАНИЕ
К АРКАДИЮ ИВАНОВИЧУ ТОЛБУГИНУ

Друг изящного в природе
И судья а ла козак,
Поперек идущий моде,
Неприятель всяких врак;
Муз и музыки любитель,
Голубков, дроздов гонитель,
Грубый скиф по бороде,
Нежный Орозман душою,
Не по светскому покрою,
Одинаковый везде;
Не ханжа и не ласкатель,
О любезный созерцатель
В банях бабьей красоты!
Плюнь на светски суеты,
О поклонниче Заиры!
И склонись на голос лиры,
Почитающей тебя.
Дай увидеть мне себя
На свободе, в чистом поле;
Сделай честь ты хлебу-соле
Нового в лесу жильца.
Покажись — и хоры птичек,
Соловьев, дроздов, синичек,
Все, увидя мудреца,
Встрепенувшися крылами,
Громко-звонко запоют
И мне весточку дадут,
Что Аркадий милый с нами!

1795—1800(?)

К ДРУЗЬЯМ МОИМ

ПО СЛУЧАЮ ПЕРВОГО СВИДАНИЯ С НИМИ ПОСЛЕ МОЕЙ ОТСТАВКИ ИЗ ОБЕР-ПРОКУРОРОВ ПР. СЕНАТА

В Москве ль я наконец? со мною ли друзья?
О, радость и печаль! различных чувств смешенье!
Итак, еще имел я в жизни утешенье
Внимать журчанию домашнего ручья,
Вкусить покойный сон под кровом, где родился,
И быть в объятиях родителей моих!
Не сон ли был и то? .. Увидел и простился
И, может быть, уже в последний видел их!
Но полно, этот день не помрачим тоскою.
Где вы, мои друзья? Сберитесь предо мною;
Дай каждый мне себя сто раз поцеловать!
Прочь посох! не хочу вас боле покидать,
И вот моя рука, что буду ваш отныне.

Сколь часто я в шуму веселий воздыхал,
И вздохи бедного терялись, как в пустыне,
И тайной грусти в нем никто не замечал!
Но ежели ваш друг, во дни разлуки слезной,
Хотя однажды мог подать совет полезной,
Спокойствие души вдовице возвратить,
Наследье сироты от хищных защитить,
Спасти невинного, то все позабывает —
Довольно: друг ваш здесь и вас он обнимает

Но буду ли, друзья, попрежнему вам мил?
Увы! уже во мне жар к пению простыл;
Уж в мыслях нет игры, исчезла прежня живость!

Простите ль... иногда мою вы молчаливость,
Мое уныние? — Терпите, о друзья!
Терпите хоть за то, что к вам привязан я;
Что сердце приношу чувствительно, незлобно
И более еще ко дружеству способно.
Теперь его ничто не отвратит от вас,
Ни честолюбие, ни блеск прелестных глаз...
И самая любовь навеки отлетела!
Итак, владейте впредь вы мною без раздела;
Питайте страсть во мне к изящному всему
И дайте вновь полет таланту моему.
Означим остальной наш путь еще цветами!
Где нет коварных ласк с притворными словами,
Где сердце на руке,[1] где разум не язвит,
Там друг ваш и поднесь веселья не бежит.
Так, братья, данные природой мне и Фебом!
Я с вами рад еще в саду, под ясным небом,
На зелени в кустах душистых пировать;
Вы станете своих любезных воспевать,
А я... хоть вашими дарами восхищаться.
О други! я вперед уж весел! может статься,
Пример ваш воскресит и мой погибший дар.
О, если б воспылал во мне пермесский жар,
С какою б радостью схватил мою я лиру
И благ моих творца всему поведал миру!
Да будет счастие и слава вечно с ним!
Ему я одолжен пристанищем моим,
Где солнце дней моих в безмолвьи закатится
И мой последний взор на друга устремится.

1800

---

[1] Древние представляли дружбу в образе женщины, держащей на ладони сердце.

СУПРУЖНЯЯ МОЛИТВА

Один предобрый муж имел обыкновенье,
Вставая ото сна и отходя ко сну,
Такое приносить моленье:
«Хранитель ангел мой! спаси мою жену!
Не дай упасть ей в искушенье!
А ежели уж я... не дай про то мне знать!
А если знаю я, то дай мне не видать!
А если вижу я, даруй ты мне терпенье!»

<1803>

ПУТЕШЕСТВИЕ

Начать до света путь и ощупью идти,
На каждом шаге спотыкаться;
К полдням уже за треть дороги перебраться;
Тут с бурей и грозой бороться на пути,
Но льстить себя вдали какою-то мечтою;
Опомнясь, под вечер вздохнуть,
Искать пристанища к покою,
Найти его, прилечь и наконец уснуть...
Читатели! загадки в моде;
Хотите ль ключ к моей иметь?
Все это значит в переводе:
Родиться, жить и умереть.

<1803>

К МАШЕ

Я не архангел Гавриил,
Но, воспоен пермесским током,
От Аполлона быть пророком
Сыздетства право получил.
Итак, внимай, новорожденна,
К чему ты здесь определенна:
Ты будешь маменьке с отцом
Отрадой, счастьем, утешеньем,
Любезна пола украшеньем
И в добронравьи образцом;
Ты будешь без красы приятна,
Без блеска острых слов умна,
Без педантизма учена,
Почтенна и без рода знатна,
И без кокетства всем мила,
Какою маменька была,—
Вот мой урок и похвала,
Едва ли не впоследни пета!..

Когда ты, Маша, расцветешь,
Вступая в юношески лета,
Быть может, что стихи найдешь
Конечно, спрятанны ошибкой,—
Прочтешь их с милою улыбкой
И спросишь: «Где же мой поэт?
В нем дарования приметны».
Услышишь, милая, в ответ:
«Несчастные недолголетны;
Его уж нет!»

<1803>

СТАНСЫ

Я счастлив был во дни невинности беспечной,
Когда мне бог любви и в мысль не приходил;
О возраст детских лет! почто ты был не вечной?
Я счастлив был.

Я счастлив был во дни волшебств, очарований,
Когда любовью свет и красен лишь и мил;
Дождуся ли опять толь сладостных мечтаний?
Я счастлив был.

Я счастлив был во дни надежды, уверенья,
Когда Кларисы взгляд меня животворил;
Одни желания уж были наслажденья!
Я счастлив был.

Я счастлив был во дни восторгов непрерывных
И сердцу милых бурь! Как я тогда любил!
Увы! тогда не пел я в песнях заунывных:
Я счастлив был.

1803(?)

ЛЮДМИЛА

Идиллия

Старик

Кого мне бог послал среди уединенья?

Пастушка

Я, дедушка, со стороны;
Иду до ближнего селенья
На праздник красныя весны.

Старик

Чего же ищешь ты под тению кусточков?

Пастушка

Богатой ленты нет, так я ищу цветочков,
Чтоб свить себе венок и скрасить мой наряд:
Там есть красавица Людмила, говорят.

Старик

Но знаешь ли, где ты, соперница Людмилы?

Пастушка

Не ведаю...

Старик

Ты рвешь цветы с ее могилы.

<1805>

НА СЛУЧАЙ ПОДАРКА ОТ НЕИЗВЕСТНОЙ

Нечаянный мне дар целую с нежным чувством!
Лестнее сердцу он лаврового венца.
Кто ж та, которая руки своей искусством
Почтила... в старости счастливого певца?
Не знаю, остаюсь среди недоумений!
Так будь же от меня ей имя: *добрый Гений*.

<1805>

К Г. Р. ДЕРЖАВИНУ[1]

Бард безымянный! тебя ль не узнаю?
Орлий издавна знаком мне полет.
Я не в отчизне, в Москве обитаю,
В жилище сует.

Тщетно поэту искать вдохновений
Тамо, где враны глушат соловьев;
Тщетно в дубравах здесь бродит мой гений
Близ светлых ручьев.

Тамо встречает на каждом он шаге
Рдяных сатиров и вакховых жриц,[2]
Скачущих с воплем и плеском в отваге
Вкруг древних гробниц.

Гул их *эвое*[3] несется вдоль рощи,
Гонит пернатых скрываться в кустах;
Даже далече наводит средь нощи
На путника страх.

---

[1] Это был ответ на стихи, присланные в «Вестник Европы». Почтенный автор их, не подписавший своего имени, думал, что я в деревне, и пенял мне за мою леность.

[2] Здесь описаны цыгане и цыганки, которые во все лето промышляют в Марьиной роще песнями и пляскою.

[3] Эвое, или эван, был употребительный припев вакханок при отправлении их оргий. Это примечание для детей, не знающих еще мифологии.

О Песнопевец! один ты способен
Петь и под шумом сердитых валов,
Как и при ниве,— себе лишь подобен —
Языком богов!

1805

СТАРИННАЯ ЛЮБОВЬ

Баллада

Как мило жили в старину!
Бывало в теремах высоких,
В кругу красавиц черноокиx,
Певцы поют любовь, войну,
Любви и храбрости победы!
Но мы не так живем, как деды!
И пенье смолкло в теремах.

Дай для красавиц я спою,
Как в старину певцы любили.
Бывало и меня хвалили!
Напомним молодость свою.
Жил-был когда-то вождь великой
С своею дочкой Миловикой
Во белокаменной Москве.

Бояры, витязи, князья
Вкруг Милолики увивались;
Но тщетно счастием ласкались:
Никто не мог тронуть ея,
Никто, кроме певца младова!
Она таилась, он ни слова;
Но у любви есть свой язык.

Певец лишь только по ночам
Под старой липой, близ светлицы,
Пел прелести своей царицы,
Бряцая лиры по струнам;

Душа его из уст летела!
Он пел, а Милолика млела
И воздыхала у окна.

Узнал о страсти их отец,
И гордость в нем вострепетала!
«Позор ты мой, не дочь мне стала!
О стыд! кто мил тебе?.. певец!»
Сказал — и в терем запирает.
Дочь только в мыслях отвечает:
«Что знатность! сердцу все равны!»

Она под стражей, а певец
И день и ночь на томной лире
Брящает: «Нет мне счастья в мире!
Настал отрадам всем конец!
Увижусь ли еще я с милой?
Внемли, о небо, вопль унылой:
Отдай ее иль смерть пошли!»

Поет он день, поет другой,
На третий — утренне светило
Несчастну жертву озарило:
Отец низводит дочь с собой;
Она.. едва на труп взглянула,
Увы!.. в последний раз вздохнула.
Красавицы! песнь эта — быль.

<1805>

ЛЮБЛЮ И ЛЮБИЛ

Люблю — есть жизнью наслаждаться,
Возможным счастьем упиваться,
Всех чувств в обвороженьи быть.
Любил же — значит: *полно жить!*
Яснее: испытать собою,
Что клятвы — слов каких-то звон;
Что нежность — хитрости игрою;
Невинность — маска; счастье — сон!

<1805>

СТИХИ В АЛЬБОМ Е. С. О<ГАРЕВОЙ>

Поэту ль своего таланта не любить?
Как смертный, осужден к премене повсечасной,
Он старится, но все принадлежит прекрасной:
Не в сердце, так в ее альбоме будет жить.

<1810>

В. В. И<ЗМАЙЛОВУ>

Чего ты требуешь, Измайлов, от меня?
Как! мне, лишенному поэзии огня,
В глубокой старости забытому Парнасом,
Пугать и вкус и слух своим нестройным гласом!
Увы! всему пора: и я был молод, пел;
С восторгом на венок Карамзина смотрел
И состязался с ним, как с другом, в песнопеньи...
Его уж нет! Теперь душа моя в томленьи
Глядит на кипарис, глядит на небеса
И ждет в безмолвии свидания часа.

<1827>

НА КОНЧИНУ ВЕНЕВИТИНОВА

Природа вновь цветет, и роза негой дышит!
Где ж юный наш певец? — увы! под сей доской;
А старость дряхлая дрожащею рукой
Ему надгробье пишет!

1827

В АЛЬБОМ Г-ЖИ ИВАНЧИНОЙ-ПИСАРЕВОЙ

Счастливый Писарев! Мне ль, старцу, близ могилы,
В альбоме грации страницу занимать
Между младых певцов? .. Но грации так милы!
Любимец их так добр! .. Не смею отказать.

1836

ЕРМАК

Какое зрелище пред очи
Представила ты, Древность, мне?
Под ризою угрюмой ночи,
При бледной в облаках луне,
Я зрю Иртыш: крутит, сверкает,
Шумит и пеной подмывает
Высокий берег и крутой;
На нем два мужа изнуренны,
Как тени, в аде заключенны,
Сидят, склонясь на длань главой;
Единый млад, другий с брадой
Седою и до чресл висящей;
На каждом вижу я наряд,
Во ужас сердце приводящий!
С булатных шлемов их висят
Со всех сторон хвосты змеины,
И веют крылия совины;
Одежда из звериных кож;
Вся грудь обвешена ремнями,
Железом ржавым и кремнями;
На поясе широкий нож;
А при стопах их два тимпана
И два повержены копья:
То два сибирские шамана,
И их словам внимаю я.

Старец

Шуми, Иртыш, реви ты с нами
И вторь плачевным голосам!

Навек отвержены богами!
О, горе нам!

Младый

О, горе нам!
О, страшная для нас невзгода!

Старец

О ты, которыя венец
Поддерживали три народа,[1]
Гремевши мира по конец —
О сильна, древняя держава!
О матерь нескольких племен!
Прошла твоя, исчезла слава!
Сибирь! и ты познала плен!

Младый

Твои народы расточенны,
Как вихрем возмятенный прах,
И сам Кучум,[2] гроза вселенны,
Твой царь, погиб в чужих песках!

Старец

Священные твои шаманы
Скитаются в глуши лесов.
На то ль судили вы, шайтаны,[3]
Достигнуть белых мне власов,
Чтоб я, столетний ваш служитель,
Стенал и в прахе, бывши зритель
Паденья тысяч ваших чад?

Младый

И от кого ж, о боги! пали?

Старец

От горсти русских!.. Мор и глад!
Почто Сибирь вы не пожрали?

---

[1] Татары, остяки и вогуличи.
[2] Кучум из царства своего ушел к калмыкам и убит ими.
[3] Сибирские кумиры.

Ах, лучше б трус, потоп иль гром
Всемощны на нее послали,
Чем быть попранной Ермаком!

Младый

Бичом и ужасом природы! ..
Кляните вы его всяк час,
Сибирски горы, холмы, воды:
Он вечный мрак простер на вас!

Старец

Он шел, как столп, огнем палящий,
Как лютый мраз, все вкруг мертвящий!
Куда стрелу ни посылал —
Повсюду жизнь пред ней бледнела
И страшна смерть вослед летела!

Младый

И царский брат пред ним упал.

Старец

Я зрел с ним бой Мегмета-Кула,[1]
Сибирских стран богатыря:
Рассыпав стрелы все из тула
И вящим жаром возгоря,
Извлек он саблю смертоносну.
«Дай лучше смерть, чем жизнь поносну
Влачить мне в плене!» — он сказал —
И вмиг на Ермака напал.
Ужасный вид! они сразились!
Их сабли молнией блестят,
Удары тяжкие творят,
И обе разом сокрушились.
Они в ручной вступили бой:
Грудь с грудью и рука с рукой;
От вопля их дубравы воют;
Они стопами землю роют;

---

[1] Царский брат, которого Ермак пленил и отослал к царю Иоанну Васильевичу; от него произошли князья Сибирские.

Уже с них сыплет пот, как град;
Уже в них сердце страшно бьется,
И ребра обоих трещат:
То сей, то оный на бок гнется;
Крутятся, и — Ермак сломил!
«Ты мой теперь! — он возопил, —
И все отныне мне подвластно!»

Младый

Сбылось пророчество ужасно!
Пленил, попрал Сибирь Ермак!..
Но что? ужели стон сердечный
Гонимых будет...

Старец

Вечный! вечный!
Внемли, мой сын: вчера во мрак
Глухих лесов я углубился
И тамо с пламенной душой
Над жертвою богам молился.
Вдруг ветр восстал и поднял вой;
С деревьев листья полетели;
Столетни кедры заскрыпели,
И вихрь закланных серн унес!
Я пал и слышу глас с небес:
«Неукротим, ужасен *Рача,*[1]
Когда казнит вселенну он.
Сибирь, отвергша мой закон!
Пребудь вовек, стоная, плача,
Рабыней *белого царя!*
Да светлая тебя заря
И черна ночь в цепях застанет;
А слава грозна Ермака
И чад его вовек не вянет
И будет под луной громка!» —
Умолкнул глас, и гром трикратно
Протек по бурным небесам...

[1] Главный остяцкий идол. Кучум, родившийся в магометанской вере, частию уговорил, частию принудил большую половину Сибири верить Алкорану.

Увы! погибли невозвратно!
О, горе нам!

Младый

О, горе нам! —

Потом, с глубоким сердца вздохом,
Восстав с камней, обросших мохом,
И сняв орудия с земли,
Они вдоль брега потекли
И вскоре скрылися в тумане.

Мир праху твоему, Ермак!
Да увенчают россияне
Из злата вылитый твой зрак,
Из ребр Сибири источенна
Твоим булатным копием!
Но что я рек, о тень забвенна!
Что рек в усердии моем?
Где обелиск твой? — Мы не знаем,
Где даже прах твой был зарыт.
Увы! он вепрем попираем,
Или остяк по нем бежит
За ланью быстрой и рогатой,
Прицелясь к ней стрелой пернатой.
Но будь утешен ты, герой!
Парящий стихотворства Гений
Всяк день, с Авророю златой,
В часы божественных явлений,
Над прахом плавает твоим
И сладку песнь гласит над ним:

«Великий! Где б ты ни родился,
Хотя бы в варварских веках
Твой подвиг жизни совершился;
Хотя б исчез твой самый прах;
Хотя б сыны твои, потомки,
Забыв деянья предка громки,
Скитались в дебрях и лесах
И жили с алчными волками,—
Но ты, великий человек,

Пойдешь в ряду с полубогами
Из рода в род, из века в век;
И славы луч твоей затмится,
Когда померкнет солнца свет,
Со треском небо развалится
И время на косу падет!»

1794

СКАЗКИ

ПРИЧУДНИЦА

В Москве, которая и в древни времена
Прелестными была обильна и славна,—
Не знаю подлинно, при коем государе,
А только слышал я, что русские бояре
Тогда уж бросили запоры и замки,
Не запирали жен в высоки чердаки,
Но следуя немецкой моде,
Уж позволяли им в приятной жить свободе;
И светская тогда жена
Могла без опасенья
С домашним другом, иль одна,
И на качелях быть в день светла воскресенья,
И в кукольный театр от скуки завернуть,
И в роще Марьиной под тенью отдохнуть,—
В Москве, я говорю, *Ветрана* процветала.
Она пригожеством лица,
Здоровьем и умом блистала;
Имела мать, отца;
Имела лестну власть щелчки давать супругу;
Имела, словом, все: большой тесовый дом,
С берлинами сарай, изрядную услугу,
Гуслиста, карлицу, шутов и дур содом
И даже двух сорок, которые болтали
Так точно, как она,— однако ж меньше знали.
Ветрана куколкой всегда разряжена
И каждый день окружена
Знакомыми, родней и нежными сердцами;
Но все они при ней казались быть льстецами,
Затем что всяк из них завидовал то ей,
То цугу вороных коней,
То парчево́му ее платью,

И всяк хотел бы жить с такою благодатью.
Одна *Ветрана* лишь не ведала цены
Всех благ, какие ей фортуною даны;
Ни блеск, ни дружество, ни пляски, ни забавы,
Ни самая любовь — ведь есть же на свету
Такие чудны нравы! —
Не трогали мою надменну красоту.
Ей царствующий град казался пуст и скучен,
И всяк, кто ни был ей знаком,
С каким-нибудь да был пятном:
«Тот глуп, другой урод; тот *ужасть* [1] неразлучен;
Сердечкин ноет все, вздыханьем гонит вон;
Такой-то все молчит и погружает в сон;
Та все чинится, та болтлива;
А эта слишком зла, горда, самолюбива».
Такой отзыв ее знакомых всех отбил!
Родня и друг ее забыл;
Любовник разлюбил;
Приезд к пригоженькой невеже
Час от часу стал реже, реже —
Осталась наконец лишь с гордостью одной:
Утешно ли кому с подругой жить такой,
Надутой, но пустой?
Она лишь пучит в нас, а не питает душу!
Пожалуй, я в глаза сказать ей то не струшу.
Итак, *Ветрана* с ней сначала ну зевать,
Потом уж и грустить, потом и тосковать,
И плакать, и гонцов повсюду рассылать
За крестной матерью; а та, извольте знать,
Чудесной силою неведомой науки
Творила на Руси неслыханные штуки! —
О, если бы восстал из гроба ты в сей час,
Драгунский витязь мой, о ротмистр Брамербас,
Ты, бывший столько лет в Малороссийском крае
Игралищем злых ведьм! .. Я помню как во сне,
Что ты рассказывал еще ребенку мне,
Как ведьма некая в сарае,
Оборотя тебя в драгунского коня,
Гуляла на хребте твоем до полуночи,
Доколе ты уже не выбился из мочи;

---

[1] Слово, употребительное и поныне в губерниях.

Каким ты ужасом разил тогда меня!
С какой бывало ты рассказывал размашкой,
В колете палевом и в длинных сапогах,
За круглым столиком, дрожащим с чайной чашкой!
Какой огонь тогда пылал в твоих глазах!
Как волосы твои, седые с желтиною,
В природной простоте взвевали по плечам!
С каким безмолвием ты был внимаем мною!
В подобном твоему я страхе был и сам,
Стоял как вкопанный, тебя глазами мерил
И что уж ты не конь... еще тому не верил!
О, если бы теперь ты, витязь мой, воскрес,
Я б смелый был певец неслыханных чудес!
Не стал бы истину я закрывать под маску,—
Но, ах, тебя уж нет, и быль идет за сказку.
Простите! виноват! немного отступил;
Но, истинно, не я, восторг причиной был;
Однако я клянусь моим Пермесским богом,
Что буду продолжать обыкновенным слогом;
Итак, дослушайте ж. Однажды, вечерком,
Сидит, облокотясь, *Ветрана* под окном
И, возведя свои уныло-ясны очи
К задумчивой луне, сестрице смуглой ночи,
Грустит и думает: «Прекрасная луна!
Скажи, не ты ли та счастливая страна,
Где матушка моя ликует?
Увы! Неужель ей, которой небеса
Вручили власть творить различны чудеса,
Неведомо теперь, что дочь ее тоскует,
Что крестница ее оставлена от всех
И в жизни никаких не чувствует утех?
Ах, если бы она хоть глазки показала!»
И с этой мыслью вдруг *Всеведа* ей предстала.
«Здорово, дитятко! — *Ветране* говорит.—
Как поживаешь ты? .. Но что твой кажет вид?
Ты так стара! так похудела!
И бывши розою, как лилия бледна!
Скажи мне, отчего так скоро ты созрела?
Откройся...» — «Матушка! — ответствует она,—
Я жизнь мою во скуке трачу;
Настанет день — тоскую, плачу;

Покроет ночь — опять грущу
И все чего-то я ищу».—
«Чего же, светик мой? или ты нездорова?» —
«О нет, грешно сказать».— «Иль дом ваш небогат?» —
«Поверьте, не хочу ни мраморных палат».—
«Иль муж обычая лихого?» —
«Напротив, вряд найти другого,
Который бы жену столь горячо любил».—
«Иль он не нравится?» — «Нет, он довольно мил».—
«Так разве от своих знакомых неспокойна?» —
«Я более от них любима, чем достойна».—
«Чего же, глупенька, тебе недостает?» —
«Признаться, матушка, мне так наскучил свет
И так я все в нем ненавижу,
Что то одно и сплю и вижу,
Чтоб как-нибудь попасть отсель
Хотя за *тридевять* земель;
Да только, чтобы все в глазах моих блистало,
Все новостию поражало
И редкостью мой ум и взор;
Где б разных дивностей собор
Представил быль как небылицу...
Короче: дай свою увидеть мне столицу!»
Старуха хитрая, кивая головой,
«Что делать,— мыслила,— мне с просьбою такой?
Желанье дерзко... безрассудно,
То правда; но его исполнить мне нетрудно;
Зачем же дурочку отказом огорчить?..
К тому ж, я тем могу ее и поучить».
«Изрядно! — наконец сказала.—
Исполнится, как ты желала».
И вдруг, о чудеса!
И крестница и мать взвились под небеса
На лучезарной колеснице,
Подобной в быстроте синице,
И меньше, нежель в три мига,
Спустились в новый мир, от нашего отменный,
В котором трон весне воздвигнут неизменный!
В нем реки как хрусталь, как бархат берега,
Деревья яблонны, кусточки ананасны,
А горы все или янтарны иль топазны.
Каков же феин был дворец — признаться вам,

То вряд изобразит и Богданович[1] сам.
Я только то скажу, что все материалы
(А впрочем, выдаю я это вам за слух),
Из коих феин кум, какой-то славный дух,
Дворец сей сгромоздил, лишь изумруд, опалы,
Порфир, лазурь, пироп, кристалл,
Жемчуг и лалл,
Все, словом, редкости богатыя природы,
Какими свадебны набиты русски оды;
А сад — поверите ль? — не только описать
Иль в сказке рассказать,
Но даже и во сне его нам не видать.
Пожалуй, выдумать нетрудно,
Но все то будет мало, скудно,
Иль много, много, что во тьме кудрявых слов
Удастся Сарское село себе представить,
Армидин сад иль Петергоф;
Так лучше этот труд оставить
И дале продолжать. *Ветрана,* николи
Диковинок таких не видя на земли,
Со изумленьем все предметы озирает
И мыслит, что мечта во сне над ней играет;
Войдя же в храмины чудесницы своей,
И пуще щурится: то блеск от хрусталей,
Сребристыя луны сражаяся с лучами,
Которые б почлись за солнечные нами,
Как яркой молнией слепит *Ветранин* взор;
То перламутр хрустит под ней или фарфор...
Ахти! Опять понес великолепный вздор!
Но быть уж так, когда пустился.
Итак, переступя один, другой порог,
Лишь к третьему пришли, богатый вдруг чертог
Не ветерком, но сам собою растворился!
«Ну, дочка, поживай и веселися здесь! —
Всеведа говорит.— Не только двор мой весь,
Но даже и духов подземных и воздушных,
Велениям моим послушных,
Даю во власть твою; сама же я, мой свет,
Отправлюся на мало время —
Ведь у меня забот беремя —

[1] Автор поэмы «Душенька».

К сестре, с которою не виделась сто лет;
Она недалеко живет отсюда — в Коле;
Да по дороге уж оттоле
Зайду и к брату я,
Камчатскому шаману.
Прощай, душа моя!
Надеюсь, что тебя довольнее застану».
Тут коврик-*самолет* она подостлала,
Ступила, свистнула и вмиг из глаз ушла,
Как будто бы и не была.
А удивленная *Ветрана,*
Как новая Диана,
Осталась между нимф, исполненных зараз;
Они тотчас ее под ручки подхватили,
Помчали и за стол роскошный посадили,
Какого и *видом не видано* у нас.
Ветрана кушает, а девушки прекрасны,
Из коих каждая почти как ты... мила,
Поджавши руки вкруг стола,
Поют ей арии веселые и страстны,
Стараясь слух ее и сердце услаждать.
Потом, она едва задумала вставать,
Вдруг — девушек, стола не стало,
И залы будто не бывало:
Уж спальней сделалась она!
Ветрана чувствует приятну томность сна,
Спускается на пух, из роз в сплетенном нише;
И в тот же миг смычок невидимый запел,
Как будто бы сам Диц за пологом сидел;
Смычок час от часу пел тише, тише, тише,
И вместе наконец *с Ветраною* уснул.
Прошла спокойна ночь; Натура пробудилась;
Зефир вспорхнул,
И жертва от цветов душистых воскурилась;
Взыграл и солнца луч, и голос соловья,
Слиянный с сладостным журчанием ручья
И с шумом резвого фонтана,
Воспел: «Проснись, проснись, счастливая *Ветрана!*»
Она проснулася — и спальная уж сад,
Жилище райское веселий и прохлад!
Повсюду чудеса *Ветрана* обретала:
Где только ступит лишь, тут роза расцветала;

Здесь рядом перед ней лимонны дерева,
Там миртовый кусток, там нежна мурава
От солнечных лучей, как бархат, отливает;
Там речка по песку златому протекает;
Там светлого пруда на дне
Мелькают рыбки золотые;
Там птички гимн поют природе и весне,
И попугаи голубые
Со эхом взапуски твердят:
«Ветрана! насыщай свой взгляд!»
А к полдням новая картина:
Сад превратился в храм,
Украшенный по сторонам
Столпами из рубина,
И с сводом в виде облаков
Из разных в хрустале цветов.
И вдруг от свода опустился
На розовых цепях стол круглый из сребра
С такою ж пищей, как вчера,
И в воздухе остановился;
А под *Ветраной* очутился
С подушкой бархатною трон,
Чтобы с него ей кушать,
И пение, каким гордился б Амфион,
Тех нимф, которые вчера служили, слушать.
«По чести, это рай! Ну, если бы теперь,—
Ветрана думает,— подкрался в эту дверь. . .»
И, слова не скончав, в трюмо она взглянула —
Сошла со трона и вздохнула!
Что делала потом она во весь тот день,
Признаться, сказывать и лень,
И не умеется, и было бы некстате;
А только объявлю, что в этой же палате,
Иль в храме, как угодно вам,
Был и вечерний стол, приличный лишь богам,
И что наутро был день новых превращений
И новых восхищений;
А на другой день то ж. «Но что это за мир? —
Ветрана говорит, гармонии внимая
Висящих по стенам золотострунных лир,—
Все эдак, то тоска возьмет и среди рая!
Все чудо из чудес, куда ни поглядишь;

Но что мне в том, когда товарища не вижу?
Увы! я пуще жизнь мою возненавижу!
Веселье веселит, когда его делишь».
Лишь это вымолвить успела,
Вдруг набежала тьма, встал вихорь, грянул гром,
Ужасна буря заревела;
Все рушится, падет вверх дном,
Как не бывал волшебный дом;
И бедная *Ветрана,*
Бледна, безгласна, бездыханна,
Стремглав летит, летит, летит —
И где ж, вы мыслите, упала?
Средь страшных Муромских лесов,
Жилища ведьм, волков,
Разбойников и злых духов!
Ветрана возрыдала,
Когда, опомнившись, узнала,
Куда попалася она;
Все жилки с страха в ней дрожали!
Ночь адская была! ни звезды, ни луна
Сквозь черного ее покрова не мелькали;
Все спит!
Лишь воет ветр, лишь лист шумит,
Да из дупла в дупло сова перелетает,
И изредка в глуши кукушка занывает.
Сиротка думает, идти ли ей иль нет,
И ждать, когда луны забрезжит бледный свет?
Но это час воров! Итак, она решилась
Не мешкая идти; итак, перекрестилась,
Вздохнула и пошла по вязкому песку
Со страхом и тоскою;
Бледнеет и дрожит, лишь ступит шаг ногою;
Там предвещает ей последний час *куку!*
Там леший выставил из-за деревьев роги;
То слышится *ау;* то вспыхнул огонек;
То ведьма кошкою бросается с дороги,
Иль кто-то скрылся за пенек;
То по лесу раздался хохот,
То вой волков, то конский топот.
Но сердце в нас вещун: я сам то испытал,
Когда мои стихи в журналы отдавал;

Недаром и *Ветрана* плачет!
Уж в самом деле кто-то скачет
С рогатиной в руке, с пищалью за плечьми.
«Стой! стой! — он гаркает, сверкаючи очьми,—
Стой! кто б ты ни шел, по воле иль неволе;
Иль света не увидишь боле!..
Кто ты?» — нагнав ее, он грозно продолжал;
Но видя, что у ней страх губы оковал,
Берет ее в охапку
И поперек кладет седла,
А сам, надвинув шапку,
Припав к луке, летит, как из лука стрела,
Летит, исполненный отваги,
<Чрез холмы, горы и овраги,>
И, Клязьмы доскакав высоких берегов,
Бух прямо с них в реку, не говоря двух слов;
Ветрана ж: ах!.. и пробудилась —
Представьте, как она, взглянувши, удивилась!
Вся горница полна людей:
Муж в головах стоял у ней;
Сестры и тетушки вокруг ее постели
В безмолвии сидели;
В углу приходский поп молился и читал;
В другом углу колдун *досужий*[1] бормотал;
У шкафа ж за столом, восчанкою накрытым,
Прописывал рецепт хирургус из немчин,
Который по Москве считался знаменитым,
Затем что был один.
И все собрание, *Ветраны* с первым взором:
«Очнулась!» — возгласило хором;
«Очнулась!» — повторяет хор;
«Очнулась!» — и весь двор
Запрыгал, заплясал, воскликнул: «Слава богу!
Боярыня жива! нет горя нам теперь!»
А в эту самую тревогу
Вошла *Всеведа* в дверь
И бросилась к *Ветране*.
«Ах, бабушка! зачем явилась ты не ране? —
Ветрана говорит.— Где это я была?
И что я видела?.. Страх... ужас!» — «Ты спала,

[1] В старину их называли *досужими*. См. Ядро Росс. истории кн. Хилкова.

А видела лишь бред,— *Всеведа* отвечает.—
Прости,— развеселясь, старуха продолжает,—
Прости мне, милая! Я видела, что ты
По молодости лет ударилась в мечты;
И для того, когда ты с просьбой приступила,
Трехсуточным тебя я сном обворожила
И в сновидениях представила тебе,
Что мы, всегда чужой завидуя судьбе
И новых благ желая,
Из доброй воли в ад влечем себя из рая.
Где лучше, как в своей родимой жить семье?
Итак, вперед страшись ты покидать ее!
Будь добрая жена и мать чадолюбива,
И будешь всеми ты почтенна и счастлива».
С сим словом бросилась *Ветрана* обнимать
Супруга, всех родных и добрую *Всеведу*;
Потом все сродники приглашены к обеду;
Наехали, нашли и сели пировать.
Уж липец зашипел, все стало веселее,
Всяк пьет и говорит, любуясь на бокал:
«Что матушки Москвы и краше и милее?» —
Насилу досказал.

1794

ИСКАТЕЛИ ФОРТУНЫ

Кто на своем веку Фортуны не искал?
Что, если б силою волшебною какою
Всевидящим я стал
И вдруг открылись предо мною
Все те, которые и едут, и ползут,
И скачут, и плывут,
Из царства в царство рыщут,
И дочери судьбы отменной красоты
Иль убегающей мечты
Без отдыха столь жадно ищут?
Бедняжки! жаль мне их: уж, кажется, в руках...
Уж сердце в восхищеньи бьется...
Вот только что схватить... хоть как, так увернется,
И в тысяче уже верстах!
«Возможно ль,— многие, я слышу, рассуждают,—
Давно ль такой-то в нас искал?
А ныне как он пышен стал!
Он в счастии растет; а нас за грязь кидают!
Чем хуже мы его?» — Пусть лучше во сто раз,
Но что ваш ум и все? Фортуна ведь без глаз;
А к этому прибавим:
Чин стоит ли того, что для него оставим
Покой, покой души, дар лучший всех даров,
Который в древности уделом был богов?
Фортуна женщина: умерьте вашу ласку;
Не бегайте за ней, сама смягчится к вам.
Так милый Лафонтен давал советы нам
И сказывал в пример почти такую сказку.

В деревне ль, в городке,
Один с другим невдалеке,
Два друга жили;
Ни скудны, ни богаты были.
Один все счастье ставил в том,
Чтобы нажить огромный дом,
Деревни, знатный чин — то и во сне лишь видел;
Другой богатств не ненавидел,
Однако ж их и не искал,
А кажду ночь покойно спал.
«Послушай,— друг ему однажды предлагает,—
На родине никто пророком не бывает;
Чего ж и нам здесь ждать? — со временем сумы.
Поедем лучше мы
Искать себе добра; войти, сказать умеем;
Авось, и мы найдем, авось, разбогатеем».
«Ступай,— сказал другой,—
А я останусь; мне дорог мой покой,
И буду спать, пока мой друг не возвратится».
Тщеславный этому дивится
И едет. На пути встречает цепи гор,
Встречает много рек, и напоследок встретил
Ту самую страну, куда издавна метил:
Любимый уголок Фортуны, то есть двор;
Не дожидаяся ни зову, ни наряду,
Пристал к нему и по обряду
Всех жителей его он начал посещать:
Там стрелкою стоит, не смея и дышать,
Здесь такает из всей он мочи,
Тут шепчет на ушко; короче: дни и ночи
Наш витязь сам не свой;
Но все то было втуне!
«Что за диковинка! — он думает.— Стой, стой
Да слушай об одной Фортуне,
А сам все ничего!
Нет, нет! такая жизнь несноснее всего.
Слуга покорный вам, господчики, прощайте,
И впредь меня не ожидайте;
В Сурат, в Сурат лечу! я слышал в сказках, там
Фортуне с давних лет курится фимиам. . .»
Сказал, прыгнул в корабль, и волны забелели.
Но что же? не прошло недели,

Как странствователь наш отправился в Сурат,
А часто, часто он поглядывал назад,
На родину свою: корабль то загорался,
То на мель попадал, то в хляби погружался;
Всечасно в трепете, от смерти на вершок;
Бедняк бесился, клял — известно, лютый рок,
Себя,— и всем и всем изрядна песня пета!
«Безумцы! — он судил,— на край приходим света
Мы смерть ловить, а к ней и дома три шага!» —
Синеют между тем Индийски берега,
Попутный дунул ветр; по крайней мере кстате
Пришло мне так сказать, и он уже в Сурате!
«Фортуна здесь?» — его был первый всем вопрос.
        «В Японии»,— сказали.
«В Японии? — вскричал герой, повеся нос.—
Быть так! плыву туда».— И поплыл; но, к печали,
Разъехался и там с Фортуною слепой!
«Нет! полно,— говорит,— гоняться за мечтой».—
И с первым кораблем в отчизну возвратился.
Завидя издали отеческих богов,
Родимый ручеек, домашний милый кров,
        Наш мореходец прослезился
        И, от души вздохнув, сказал:
«Ах! счастлив, счастлив тот, кто лишь по слуху знал
И двор, и океан, и о слепой богине!
Умеренность! с тобой раздолье и в пустыне».
И так, с восторгом он и в сердце и в глазах,
                В отчизну наконец вступает;
Летит ко другу,— что ж? как друга обретает?
Он спит, а у него Фортуна в головах!

1794

ВОЗДУШНЫЕ БАШНИ

Утешно вспоминать под старость детски леты,
Забавы, резвости, различные предметы,
Которые тогда увеселяли нас!
Я часто и в гостях хозяев забываю;
Сижу повеся нос; нет ни ушей, ни глаз;
Все думают, что я взмостился на Парнас;
А я... признаться вам, игрушкою играю,
Которая была
Мне в детстве так мила;
Иль в память привожу, какою мне отрадой
Бывал тот день, когда, урок мой окончав,
Набегаясь в саду, уставши от забав
И бросясь на постель, займусь *Шехеразадой*.[1]
Как сказки я ее любил!
Читая их... прощай, учитель,
Симбирск и Волга!.. все забыл!
Уже я всей вселенны зритель
И вижу там и сям и карлов, и духов,
И визирей рогатых,
И рыбок золотых, и лошадей крылатых,
И в виде кадиев волков.
Но сколько нужно слов,
Чтоб все пересчитать, друзья мои любезны!
Не лучше ль вам я угожу,
Когда теперь одну из сказочек скажу?
Я знаю, что они неважны, бесполезны;
Но все ли одного полезного искать?
Для сказки и того довольно,

[1] Лицо из арабских сказок «Тысяча одна ночь».

Что слушают ее без скуки, добровольно
И может иногда улыбку с нас сорвать.
Послушайте ж. Во дни иль самого Могола,
Или наследника его престола,
Не знаю города какого мещанин,
У коего детей — один был только сын,
Жил, жил, и наконец, по постоянной моде,
Последний отдал долг, как говорят, природе,
Оставя сыну дом
Да денег с сотню драхм, не боле.
Сын, проводя отца на общее всем поле,
Поплакал, погрустил, потом
Стал думать и о том,
Как жить своим умом.
«Дай,— говорит,— куплю посуды я хрустальной
На всю мою казну
И ею торговать начну;
Сначала в малой торг, а там — авось и в дальной!»
Сказал и сделал так; купил себе лубков,
Построил лавочку; потом купил тарелок,
Чаш, чашек, чашечек, кувшинов, пузырьков,
Бутылей — мало ли каких еще безделок! —
Всё, всё из хрусталя! Склал в короб весь товар
И в лавке на полу поставил;
А сам хозяин Альнаскар,
Ко стенке прислонясь, глаза свои уставил
На короб и с собой вслух начал рассуждать.
«Теперь,— он говорит,— и Альнаскар купчина!
И Альнаскар пошел на стать!
Надежда, счастие и будуща судьбина,
Иль лучше, вся моя казна
Здесь в коробе погребена...
Вот вздор какой мелю! — погребена? .. пустое!
Она плодится в нем, и верно, через год
Прибудет с барышом по крайней мере вдвое;
Две сотни — хоть куда изрядненький доход!
На них... еще куплю посуды; лучше тише —
И через год еще две сотни зашибу
И также в короб погребу.
И так год от году все выше, выше, выше,
Могу я наконец уж быть и в десяти
И более — тогда скажу моим товарам

С признательною к ним улыбкою: прости!
И буду... ювелир! Боярыням, боярам
Начну я продавать алмазы, изумруд,
Лазурь и яхонты и... и — всего не вспомню!
Короче: золотом наполню
Не только лавку, целый пруд!
Тогда-то Альнаскар весь разум свой покажет!
Накупит лошадей, невольниц, дач, садов,
Евнухов и домов
И дружбу свяжет
С знатнейшими людьми:
Их дружба лишь на взгляд спесива;
Нет! только кланяйся да хорошо корми,
Так и полюбишься — она неприхотлива;
А у меня тогда
Все тропки порастут персидским виноградом;
Шербет польется как вода;
Фонтаны брызнут лимонадом,
И масло розово к услугам всех гостей.
А о столе уже ни слова:
Я только то скажу, что нет таких затей,
Нет в свете кушанья такова,
Какова у меня не будет за столом!
И мой великолепный дом
Храм будет роскоши для всех, кто мне любезен
Иль властию своей полезен;
Всех буду угощать: пашей, наложниц их,
Плясавиц, плясунов и кадиев лихих —
Визирских подлипал.— И так, умом, трудами,
А боле с знатными водяся господами,
Легко могу войти в чины и в знатный брак...
Прекрасно! точно так!
Вдруг гряну к визирю, который красотою
Земиры-дочери по Азии гремит;
Скажу ему: «Вступи в родство со мною;
Будь тесть мой!» Если он хоть чуть зашевелит
Противное губами,
Я вспыхну, и тогда прощайся он с усами!
Но нет! Визирска дочь так верно мне жена,
Как на небе луна;
И я, по свадебном обряде,
Наутро, в праздничном наряде,

Весь в камнях, в жемчуге и в злате, как в огне,
Поеду избочась и гордо на коне,
Которого чепрак с жемчужной бахромою
Унизан бирюзою,
В дом к тестю визирю. За мной и предо мною
Потянутся мои евнухи по два в ряд.
Визирь, еще вдали завидя мой парад,
Уж на крыльце меня встречает
И, в комнаты введя, сажает
По праву руку на диван,
Среди курений благовонных.
Я, севши важно, как султан,
Скажу ему: «Визирь! вот тысяча червонных,
Обещанные мной тебе за перву ночь!
И сверх того еще вот пять, во уверенье,
Сколь мне мила твоя прекраснейшая дочь,
А с ними и мое прими благодаренье».
Потом три кошелька больших ему вручу
И на коне стрелой к Земире полечу.
День этот будет днем любви и ликований,
А завтра... О восторг! о верх моих желаний!
Лишь солнце выпрыгнет из вод,
Вдруг пробуждаюсь я от радостного клика
И слышу: весь народ,
От млада до велика,
Толпами приваля на двор,
Кричит, составя хор:
«Да здравствует супруг Земиры!»
А в зале знатность: сераскиры,
Паши и прочие стоят
И ждут, когда войти с поклоном им велят.
Я всех их допустить к себе повелеваю
И тут-то важну роль вельможи начинаю:
У одного я руку жму;
С другим вступаю в разговоры;
На третьего взгляну, да и спиной к нему.
А на тебя, Абдул, бросаю зверски взоры!
Раскаешься тогда, седой прелюбодей,
Что разлучил меня с Фатимою моей,
С которой около трех дней
Я жил душою в душу!
О! я уже тебя не трушу;

А ты передо мной дрожишь,
Бледнеешь, падаешь, прах ног моих целуешь,
«Помилуй, позабудь прошедшее!» жужжишь...
Но нет прощения! Лишь пуще кровь взволнуешь;
И я, уже владеть не в силах став собой,
Ну по щекам тебя, по правой, по другой!
Пинками!» — И в жару восторга наш мечтатель,
Визирский гордый зять, Земиры обладатель,
Ногою в короб толк: тот набок; а хрусталь
Запрыгал, зазвенел и — вдребезги разбился!
И так, мои друзья, хоть жаль, хотя не жаль,
Но бедный Альнаскар — что делать! — разженился.

1794

КАЛИФ

Против Калифова огромного дворца
Стояла хижина, без кровли, без крыльца,
Издавна ветхая и близкая к паденью,
Едва ль приличная и самому смиренью.
Согбенный старостью ремесленник в ней жил;
Однако он еще по мере сил трудился,
Ни злых, ни совести нимало не страшился
И *тихим вечером* своим доволен был.
Но хижиной его Визирь стал недоволен:
«Терпим ли,— он своим рассчитывал умом,—
Вид бедности перед дворцом?
Но разве государь сломать ее не волен?
Подам ему доклад, и хижине не быть».
На этот раз Визирь обманут был в надежде.
Доклад подписан так: *«Быть по сему; но прежде*
Строенье ветхое купить».
Послали Кадия с соседом торговаться;
Кладут пред ним на стол с червонцами мешок.
«Мне в деньгах нужды нет,— сказал им простачок.—
А с домом ни за что не можно мне расстаться:
Я в нем родился, в нем скончался мой отец,
Хочу, чтоб в нем же бог послал и мне конец.
Калиф, конечно, самовластен,
И каждый подданный к нему подобострастен;
Он может при моих глазах
Развеять вмиг гнездо мое, как прах;
Но что ж последует? несчастным слезы в пищу:
Я всякий день приду к родиму пепелищу;
Воссяду на кирпич с поникшей головой
Небесного под кровом свода

И буду пред отцом народа
Оплакивать мой жребий злой!»
Ответ был Визирю до слова пересказан,
А тот спешит об нем Калифу донести.
«Тебе ли, государь, отказ такой снести?
Ужель останется раб дерзкий не наказан?»
Калифу говорил Визирь наедине.
«Да! — подхватил Калиф,— ответ угоден мне;
И я тебе повелеваю:
Впредь помня навсегда, что в правде нет вины,
Исправить хижину на счет моей казны;
Я с нею только жить в потомках уповаю;
Да скажет им дворец: такой-то пышно жил;
А эта хижина: он правосуден был!»

<1805>

БАСНИ И АПОЛОГИ

Басни

ПЧЕЛА, ШМЕЛЬ И Я

Шмель, роядя в навозе,
О хитрой говорил пчеле,
Сидевшей вдалеке на розе:
«За что она в такой хвале,
В такой чести у всех и моде?
А я пыхчу, пыхчу и пот свой лью
И также людям мед даю,
А все как будто нуль в природе,
Никем не знаемый досель».
«И мне такая ж участь, Шмель! —
Сказал ему я, воздыхая.—
Лет десять, как судьба лихая
Вложила страсть в меня к стихам.
Я, лучшим следуя певцам,
Пишу, пишу, тружусь, потею
И рифмы, точно их, кладу,
А все в чтецах не богатею
И к славе тропки не найду!»

<1792>

ПУСТЫННИК И ФОРТУНА

Какой-то добрый человек,
Не чувствуя к чинам охоты,
Не зная страха, ни заботы,
Без скуки провождал свой век
С Плутархом, с лирой
И Пленирой,
Не знаю точно где, а только не у нас.
Однажды под вечер, как солнца луч погас
И мать качать дитя уже переставала,
Нечаянно к нему Фортуна в дом попала
И в двери ну стучать! —
«Кто там?» — Пустынник окликает.—
«Я! я!» — «Да кто, могу ли знать?» —
«Я! та, которая тебе повелевает
Скорее отпереть».— «Пустое!» — он сказал
И замолчал.
«Отопрешь ли? — еще Фортуна закричала.—
Я ввек ни от кого отказа не слыхала;
Пусти Фортуну ты со свитою к себе,
С Богатством, Знатью и Чинами...
Теперь известна ль я тебе?» —
«По слуху... но куда мне с вами?
Поди в другой ты дом,
А мне не поместить, ей-ей! такой содом».—
«Невежа! да пусти меня хоть с половиной,
Хоть с третью, слышишь ли?.. Ах! сжалься над судьбиной
Великолепия... оно уж чуть дышит,
Над гордой Знатностью, которая дрожит
И, стоя у порога, мерзнет;

Тронись хоть Славою, мой миленький дружок!
    Еще минута, все исчезнет!..
Упрямый, дай хотя Желанью уголок!» —
«Да отвяжися ты, лихая пустомеля! —
Пустынник ей сказал.— Ну, право, не могу.
    Смотри: одна и есть постеля,
И ту я для себя с Пленирой берегу».

<1792>

ЧИЖИК И ЗЯБЛИЦА

Чиж свил себе гнездо и, сидя в нем, поет:
        «Ах! скоро ль солнышко взойдет
        И с домиком меня застанет?
        Ах! скоро ли оно проглянет?
Но вот уж и взошло! как тихо и красно!
Какая в воздухе, в дыханье, в жизни сладость!
Ах! Я такого дня не видывал давно».
Но без товарища и радость нам не в радость:
Желаешь для себя, а ищешь разделить!
«Любезна Зяблица! — кричит мой Чиж соседке,
        Смиренно прикорнувшей к ветке,—
Что ты задумалась? давай-ка день хвалить!
Смотри, как солнышко. . .» — Но солнце вдруг
                                                сокрылось,
И небо тучами отвсюду обложилось;
Все птицы спрятались, кто в гнезды, кто в реку,
Лишь галки стаями гуляют по песку
        И криком бурю вызывают;
Да ласточки еще над озером летают;
Бык, шею вытянув, под плугом заревел;
А конь, поднявши хвост и разметавши гриву,
        Ржет, пышет и летит чрез ниву.
И вдруг ужасный вихрь со свистом восшумел,
Со треском грянул гром, ударил дождь со градом,
        И пали пастухи со стадом.
Потом прошла гроза, и солнце расцвело,
        Все стало ярче и светлее,
Цветы душистее, деревья зеленее —
Лишь домик у Чижа куда-то занесло.

О бедненький мой Чиж! Он, мокрыми крылами
Насилу шевеля, к соседушке летит
И ей со вздохом и слезами,
Носок повеся, говорит:
«Ах! всяк своей бедой ума себе прикупит:
Впредь утро похвалю, как вечер уж наступит».

1793

ДУБ И ТРОСТЬ

Дуб с Тростию вступил однажды в разговоры:
«Жалею,— Дуб сказал, склоня к ней важны
взоры,—
Жалею, Тросточка, об участи твоей!
Я чаю, для тебя тяжел и воробей;
Легчайший ветерок, едва струящий воду,
Ужасен для тебя, как буря в непогоду,
И гнет тебя к земли,
Тогда как я — высок, осанист и вдали
Не только Фебовы лучи пересекаю,
Но даже бурный вихрь и громы презираю;
Стою и слышу вкруг спокойно треск и стон;
Все для меня Зефир, тебе ж все Аквилон.
Блаженна б ты была, когда б росла со мною:
Под тению моей густою
Ты б не страшилась бурь; но рок тебе судил
Расти, наместо злачна дола,
На топких берегах владычества Эола.
По чести, и в меня твой жребий грусть вселил».
«Ты очень жалостлив,— Трость Дубу отвечала,—
Но, право, о себе еще я не вздыхала,
Да не о чем и воздыхать:
Мне ветры менее, чем для тебя, опасны.
Хотя порывы их ужасны
И не могли тебя досель поколебать,
Но подождем конца».— С сим словом вдруг
завыла
От севера гроза и небо помрачила;
Ударил грозный ветр — все рушит и валит,

Летит, кружится лист; Трость гнется — Дуб стоит.
Ветр, пуще воружась, из всей ударил мочи —
И тот, на коего с трудом взирали очи,
Кто ада и небес едва не досягал,—
Упал!

<1795>

ДВА ДРУГА

Давно уже, давно два друга где-то жили,
Одну имели мысль, одно они любили
И каждый час
Друг с друга не спускали глаз;
Все вместе; только ночь одна их разводила;
Но нет, и в ночь душа с душою говорила.
Однажды одному приснился страшный сон;
Он вмиг из дому вон,
Бежит встревоженный ко другу
И будит. Тот вскочил:
«Какую требуешь услугу? —
Смутясь, он говорил.—
Так рано никогда мой друг не пробуждался!
Что значит твой приход? Иль в карты проигрался?
Вот вся моя казна! Иль кем ты огорчен?
Вот шпага! Я бегу — умру иль ты отмщен!» —
«Нет, нет, благодарю; ни это, ни другое, —
Друг нежный отвечал,— останься ты в покое:
Проклятый сон всему виной!
Мне снилось на заре, что друг печален мой,
И я... я столько тем смутился,
Что тотчас пробудился
И прибежал к тебе, чтоб успокоить дух».—

Какой бесценный дар — прямой, сердечный друг!
Он всякие к твоей услуге ищет средства:
Отгадывает грусть, предупреждает бедства;
Его безделка, сон, ничто приводит в страх,
Друг в сердце, друг в уме — и он же на устах!

<1795>

ИСТУКАН И ЛИСА

Осел, как скот простой,
Глядит на Истукан пустой
И лижет позолоту;
А хитрая Лиса, взглянувши на работу
Прилежно раза два,
Пошла и говорит: «Прекрасна голова,
Да жаль, что мозгу нет!» — Безмозглые вельможи!
Не правда ли, что вы с сим Истуканом схожи?

<1795>

СТАРИК И ТРОЕ МОЛОДЫХ

Старик, лет в семьдесят, рыл яму и кряхтел:
Добро бы строить, нет! садить еще хотел!
А трое молодцов, зевая на работу,
Смеялися над ним. «Какую же охоту
На старости бог дал!» —
Один из них сказал.
Другой прибавил: «Что ж? еще не опоздал!
Ковчег и большего терпенья стоил Ною».—
«Смешон ты, дедушка, с надеждою пустою! —
Примолвил третий Старику,—
Довольно, кажется, ты пожил на веку;
Когда ж тебе дождаться
Под тению твоей рябинки прохлаждаться?
Ровесникам твоим и настоящий час
Неверен;
А *завтрем* льстить себя оставь уже ты нас».
Совет довольно здрав, довольно и умерен
Для мудреца в шестнадцать лет!
«Поверьте мне, друзья,— Старик сказал в ответ,—
Что *завтре* ни мое, ни ваше;
Что парка бледная равно
Взирает на теченье наше.
От провидения нам ведать не дано,
Кому из нас оно судило
Последнему взглянуть на ясное светило!
Не можете и вы надежны быть, как я,
Ниже на миг один... Работа же моя
Не мне, так детям пригодится;
Чувствительна душа и вчуже веселится.

Итак, вы видите, что мной уж собран плод,
Которым я могу теперь же наслаждаться
И *завтре*, может статься,
И далее... как знать? быть может, что и год.
Ах! может быть и то, что ваш безумец хилой
Застанет месяца восход
Над вашей, розами усыпанной... могилой!»
Старик предчувствовал: один, прельстясь песком —
Конечно, золотым,— уснул на дне морском;
Другой под миртами исчез в цветущи лета;
А третий — дворянин, за честь к отмщенью скор,—
Войдя с приятелем в театре в легкий спор,
За креслы, помнится... убит из пистолета.

<1795>

ДВА ГОЛУБЯ

Два Голубя друзьями были,
Издавна вместе жили
И кушали и пили.
Соскучился один все видеть то ж да то ж;
Задумал погулять и другу в том открылся.
Тому весть эта острый нож;
Он вздрогнул, прослезился
И к другу возопил:
«Помилуй, братец, чем меня ты поразил?
Легко ль в разлуке быть?.. Тебе легко, жестокой!
Я знаю; ах! а мне... я, с горести глубокой,
И дня не проживу... к тому же рассуди,
Такая ли пора, чтоб в странствие пускаться?
Хоть до зефиров ты, голубчик, погоди!
К чему спешить? Еще успеем мы расстаться!
Теперь лишь Ворон прокричал,
И без сомнения — страшуся я безмерно! —
Какой-нибудь из птиц напасть он предвещал,
А сердце в горести и пуще имоверно!
Когда расстанусь я с тобой,
То будет каждый день мне угрожать бедой:
То ястребом лихим, то лютыми стрелками,
То коршунами, то силками —
Все злое сердце мне на память приведет.
Ахти мне! — я скажу, вздохнувши,— дождь идет!
Здоров ли то мой друг? не терпит ли он холод?
Не чувствует ли голод?
И мало ли чего не вздумаю тогда!»
Безумцам умна речь как в ручейке вода:
Журчит, и мимо протекает.

Затейник слушает, вздыхает,
А все-таки лететь желает.
«Нет, братец, так и быть! — сказал он,— полечу!
Но верь, что я тебя крушить не захочу;
Не плачь; пройдет дни три, и буду я с тобою
Клевать
И ворковать
Опять под кровлею одною;
Начну рассказывать тебе по вечерам —
Ведь все одно да то ж приговорится нам —
Что видел я, где был, где хорошо, где худо;
Скажу: я там-то был, такое видел чудо,
А там случилось то со мной —
И ты, дружочек мой,
Наслушаясь меня, так сведущ будешь к лету,
Как будто бы и сам гулял по белу свету.
Прости ж!» — При сих словах
Наместо всех *увы!* и *ах!*
Друзья взглянулись, поклевались,
Вздохнули и расстались.
Один, носок повеся, сел;
Другой вспорхнул, взвился, летит, летит стрелою,
И верно б сгоряча край света залетел;
Но вдруг покрылось небо мглою,
И прямо страннику в глаза
Из тучи ливный дождь, град, вихрь, сказать вам
словом,
Со всею свитою, как водится, гроза!
При случае таком, опасном, хоть не новом,
Голубчик поскорей садится на сучок
И рад еще тому, что только лишь измок.
Гроза утихнула, Голубчик обсушился
И в путь опять пустился.
Летит и видит с высока
Рассыпанно пшено, а возле — Голубка;
Садится, и в минуту
Запутался в сети; но сеть была худа,
Так он против нее носком вооружился;
То им, то ножкою тянув, тянув, пробился
Из сети без вреда,
С утратой перьев лишь. Но это ли беда?
К усугубленью страха

Явился вдруг Сокол и, со всего размаха,
Напал на бедняка,
Который, как злодей, опутан кандалами,
Тащил с собой снурок с обрывками силка.
Но, к счастью, тут Орел с широкими крылами
Для встречи Сокола спустился с облаков;
И так, благодаря стечению воров,
Наш путник Соколу в добычу не достался;
Однако все еще с бедой не развязался:
В испуге потеряв и ум и зоркость глаз,
Задел за кровлю он как раз
И вывихнул крыло; потом в него мальчишка —
Знать, голубиный был и в том еще умишка —
Для шутки камешек лукнул
И так его зашиб, что чуть он отдохнул;
Потом... потом, прокляв себя, судьбу, дорогу,
Решился бресть назад, полмертвый, полхромой;
И прибыл наконец калекою домой,
Таща свое крыло и волочивши ногу.

О вы, которых бог любви соединил!
Хотите ль странствовать? Забудьте гордый Нил
И дале ближнего ручья не разлучайтесь.
Чем любоваться вам? друг другом восхищайтесь!
Пускай один в другом находит каждый час
Прекрасный, новый мир, всегда разнообразный!
Бывает ли в любви хоть миг для сердца праздный?
Любовь, поверьте мне, все заменит для вас.
Я сам любил: тогда за луг уединенный,
Присутствием моей подруги озаренный,
Я не хотел бы взять ни мраморных палат,
Ни царства в небесах!.. Придете ль вы назад,
Минуты радостей, минуты восхищений?
Иль буду я одним воспоминаньем жить?
Ужель прошла пора столь милых обольщений,
И полно мне любить?

<1795—1798>

КОКЕТКА И ПЧЕЛА

Прелестная Лизета
Лишь только что успела встать
С постели роскоши, дойти до туалета
И дружеский совет начать
С поверенным всех чувств, желаний,
Отрад, веселья и страданий,
С уборным зеркалом,— вдруг страшная Пчела
Вокруг Лизеты зажужжала!
Лизета обмерла,
Вскочила, закричала:
«Ах, ах! мисс Женни, поскорей!
Параша! Дунюшка!» — Весь дом сбежался к ней;
Но поздно! ни любовь, ни дружество, ни злато,
Ничто не отвратит неумолимый рок!
Чудовище крылато
Успело уже сесть на розовый роток,
И Лиза в обморок упала.
«Не дам торжествовать тебе над госпожой!» —
Вскричала Дунюшка и смелою рукой
В минуту Пчелку поймала;
А пленница в слезах, в отчаяньи жужжала:
«Клянуся Флорою! хотела ли я зла?
Я аленький роток за розу приняла».
Столь жалостная речь Лизету воскресила.
«Дуняша! — говорит Лизета,— жаль Пчелы;
Пусти ее; она почти не уязвила».

Как сильно действует и крошечка хвалы!

<1797>

ЖЕЛАНИЯ

Сердися Лафонтен иль нет,
А я с ним не могу расстаться.
Что делать? виноват, свое на ум нейдет,
Так за чужое приниматься.
Слыхали ль вы когда от нянек об духах,
Которых запросто зовем мы домовыми?
Как не слыхать! детей всегда стращают ими;
Они во всех странах
Живут между людей, неся различны службы —
Без всякой платы, лишь из дружбы:
Кто правит кухнею, кто холит лошадей;
Иные берегут людей
От злого глаза и уроков,
И все имеют дар пророков.
Один из тех духов
Был в Индии у мещанина
Хранителем его садов;
Он госпожу и господина
Любил не меньше, чем родных;
Всегда бывало их
Своим усердьем утешает
И в упражненьи всякий час:
То мирточки садит, то лучший ананас
К столу хозяев выбирает.
Хозяям клад был гость такой!
Но доброе всегда непрочно!
Не знаю точно,
Что было этому виной —
Политика или товарищей коварство,—

Вдруг от начальника приказ ему лихой
Лететь в другое государство;
Куда ж? сказать ли вам,
Сердца чувствительны и нежны?
Из мест, где счета нет цветам,
Из вечного тепла — в сугробы, в горы снежны,
На край Норвегии! Вдруг из индейца будь
Лапланец! Так и быть, слезами не поправить,
А только лишь надсадишь грудь.
«Прощайте, господа! Мне должно вас оставить! —
Со вздохом добрый дух хозяйвам говорил,—
Я здесь уж отслужил;
Наш князь указ наслал, предписывает строго
Лететь на север мне. Хоть грустно, но лететь!
Недолго, милые, уже на вас глядеть:
С неделю, месяц много.
Что мне оставить вам за вашу хлеб и соль,
В знак моего признанья?
Скажите; я могу исполнить три желанья».
Известен человек: просить чего? изволь,
Сей час готовы крылья.
«Ах! изобилья, изобилья!» —
Вскричали в голос муж с женой.
И изобилие рекой
На дом их полилося:
В шкатулы золотом, в анбары их пшеном,
А в выходы вином;
Верблюдов табуны,— откуда что взялося!
Но сколько ж и забот прибавилося с тем!
Легко ли усмотреть за всем,
Все счесть, все записать? минуты нет покоя:
В день доброхотов угощай,
Тому в час добрый в долг, другому так давай,
А в ночь дрожи и жди разбоя.
«Нет, Дух! — они кричат,— возьми свой дар назад;
С богатством не житье, а вживе сущий ад!
Приди, спокойствия подруга неизменна,
Наставница людей,
Посредственность бесценна!
Приди и возврати нам счастье прежних дней! . .»
Она пришла, и два желания свершились;
Осталось третье объявить:

Подумали они, и наконец решились
Благоразумия просить,
Которое во всяко время
Нигде и никому не в бремя.

<1797>

СОВЕСТЬ

Не тигр, а человек — и сын убил... отца!
Убил, но никому не ведомо то было;
Однако ж сердце в нем уныло,
Завянул цвет лица,
Стал робок, одичал и наконец сокрылся
В дремучие леса.
Однажды, между тем как он бродил, томился,
Попалося ему в глаза
Воробышков гнездо; он подобрал каменья
И начал в них лукать.
Прохожий, видя то и выйдя из терпенья,
Кричит ему: «Почто невинных убивать?» —
«Как! — он ответствует,— легка ли небылица?
Проклятые кричат, что я отцеубийца!»
Прохожий на него бросает строгий взор;
Он весь трясется и бледнеет;
Злодейство на челе час от часу яснеет;
Винится, и вкусил со смертию позор.

О совесть! добрых душ последняя подруга!
Где уголок земного круга,
Куда бы не проник твой глас?
Неумолимая! везде найдешь ты нас.

<1798>

МАГНИТ И ЖЕЛЕЗО

Природу одолеть превыше наших сил:
Смиримся же пред ней, не умствуя нимало.
«Зачем ты льнешь?» — Магнит Железу говорил.
«Зачем влечешь меня?» — Железо отвечало.

Прелестный, милый пол! чем кончу я рассказ,
Легко ты отгадаешь.
Подобно так и ты без умысла прельщаешь;
Подобно так и мы невольно любим вас.

1800

ВОСПИТАНИЕ ЛЬВА

У Льва родился сын. В столице, в городах,
Во всех его странах
Потешные огни, веселья, жертвы, оды.
Мохнатые певцы все взапуски кричат:
«Скачи, земля! взыграйте, воды!
У Льва родился сын!» И вправду, кто не рад?
Меж тем, когда всяк зверь восторгом упивался,
Царь Лев, как умный зверь, заботам предавался,
Кому бы на руки дитя свое отдать:
Наставник должен быть умен, учен, незлобен!
Кто б из зверей к тому был более способен?
Не шутка скоро отгадать.
Царь, в нерешимости, велел совет собрать;
В благоволении своем его уверя,
Препоручил избрать ему,
По чистой совести, по долгу своему,
Для сына в менторы достойнейшего зверя.
Встал Тигр и говорит:
«Война, война царей великими творит;
Твой сын, о государь, быть должен страхом света;
И так образовать его младые лета
Лишь тот способен из зверей,
Который всех, по Льве, ужасней и страшней».
«И осторожнее,— Медведь к тому прибавил, —
Чтоб он младого Льва наставил
Уметь и храбростью своею управлять».
Противу мненья двух Лисе идти не можно;
Однако ж, так и сяк начав она вилять,
Заметила, что дядьке должно
Знать и политику, быть хитрого ума,
Короче: какова сама.

За нею тот и тот свой голос подавали,
И все они, хотя себя не называли,
Но ясно намекали,
Что в дядьки лучше их уж некого избрать:
Советы и везде почти на эту стать.
«Позволено ль и мне сказать четыре слова? —
Собака наконец свой голос подала.—
Политики, войны нет следствия другова,
Как много шума, много зла.
Но славен добрый царь коварством ли и кровью?
Как подданных своих составит счастье он?
Как будет их отцом? чем утвердит свой трон?
Любовью.
Вот таинство, вот ключ к высокой и святой
Науке доброго правленья!
Кто ж принцу лучшие подаст в ней наставленья?
Никто, как сам отец».— Тигр смотрит как шальной.
Медведь, другие то ж; а Лев, от умиленья
Заплакав, бросился Собаку обнимать.
«Почто,— сказал,— давно не мог тебя я знать?
О добрый зверь! тебе вручаю
Я счастие мое и подданных моих;
Будь сыну моему наставником! Я знаю,
Сколь пагубны льстецы: укрой его от них,
Укрой и от меня — в твоей он полной воле».
Собака от царя идет с дитятей в поле,
Лелеет, пестует и учит между тем.
Урок был первый тот, что он Щенок, не Львенок,
И в дальнем с ним родстве. Проходит день за днем,
Уже питомец не ребенок,
Уже наставник с ним обходит все страны,
Которые в удел отцу его даны;
И Львенок в первый раз узнал насильство власти,
Народов нищету, зверей худые страсти:
Лиса ест кроликов, а Волк душит овец,
Оленя давит Барс; повсюду, наконец,
Могучие богаты,
Бессильные от них кряхтят,
Быки работают без платы,
А Обезьяну золотят.
Лев молодой дрожит от гнева.

«Наставник,— он сказал,— подобные дела
Доходят ли когда до сведенья царева?
Ах, сколько бедствий, сколько зла!» —
«Как могут доходить? — Собака отвечает.—
Его одна толпа счастливцев окружает,
А им не до того; а те, кого съедят,
Не говорят».
И так наш Львеночек, без дальних размышлений
О том, в чем доброту и мудрость ставит свет,
И добр стал и умен; но в этом дива нет:
Пример и опытность полезней наставлений.
Он, в доброй школе той взрастая, получил
Рассудок, мудрость, крепость тела;
Однако ж все еще не ведал, кто он был;
Но вот как случай сам о том ему открыл.
Однажды на пути Собака захотела
Взять отдых и легла под тению дерев.
Вдруг выскочил злой Тигр, разинул страшный зев
И прямо к ней,— но Лев,
Закрыв ее собою,
Взмахнул хвостом, затряс косматой головою,
Взревел — и Тигр уже растерзанный лежит!
Потом он в радости к наставнику бежит
И вопит: «Победил! благодарю судьбину!
Но я ль то был иль нет? .. Поверишь ли, отец,
Что в этот миг, когда твой близок был конец,
Я вдруг почувствовал и жар и силу Львину;
Я точно... был как Лев!» — «Не ложно, Лев и есть,—
Наставник отвечал, облившися слезами.—
Готовься важную услышать, сын мой, весть:
Отныне... кончилось равенство между нами;
Ты царь мой! поспешим возвратом ко двору.
Я все употребил, что мог, тебе к добру;
Но ты... и радости и грусти мне причина!
Прости, о государь, невольно слезы лью...
Отечеству отца даю,
А сам... теряю сына!»

1802

ПЕТУХ, КОТ И МЫШОНОК

О дети, дети! как опасны ваши лета!
Мышонок, не видавший света,
Попал было в беду, и вот как он об ней
Рассказывал в семье своей.
«Оставя нашу нору
И перебравшися чрез гору,
Границу наших стран, пустился я бежать,
Как молодой мышонок,
Который хочет показать,
Что он уж не ребенок.
Вдруг с ро́змаху на двух животных набежал:
Какие звери, сам не знал;
Один так смирен, добр, так плавно выступал,
Так миловиден был собою!
Другой нахал, крикун, теперь лишь будто с бою;
Весь в перьях; у него косматый крюком хвост;
Над самым лбом дрожит нарост
Какой-то огненного цвета,
И будто две руки, служащи для полета;
Он ими так махал
И так ужасно горло драл,
Что я, таки не трус, а подавай бог ноги —
Скорее от него с дороги.
Как больно! Без него я верно бы в другом
Нашел наставника и друга!
В глазах его была написана услуга;
Как тихо шевелил пушистым он хвостом!
С каким усердием бросал ко мне он взоры,
Смиренны, кроткие, но полные огня!
Шерсть гладкая на нем, почти как у меня;

Головка пестрая, и вдоль спины узоры;
А уши как у нас, и я по ним сужу,
Что у него должна быть симпатия с нами,
Высокородными мышами».—
«А я тебе на то скажу,—
Мышонка мать остановила,—
Что этот доброхот,
Которого тебя наружность так прельстила,
Смиренник этот... Кот!
Под видом кротости, он враг наш, злой губитель;
Другой же был Петух, миролюбивый житель.
Не только от него не видим мы вреда
Иль огорченья,
Но сам он пищей нам бывает иногда.
Вперед по виду ты не делай заключенья».

1802

ЦАРЬ И ДВА ПАСТУХА

Какой-то государь, прогуливаясь в поле,
Раздумался о царской доле.
«Нет хуже нашего,— он мыслил,— ремесла!
Желал бы делать то, а делаешь другое!
Я всей душой хочу, чтоб у меня цвела
Торговля; чтоб народ мой ликовал в покое;
А принужден вести войну,
Чтоб защищать мою страну.
Я подданных люблю, свидетели в том боги,
А должен прибавлять еще на них налоги;
Хочу знать правду — все мне лгут.
Бояра лишь чины берут,
Народ мой стонет, я страдаю,
Советуюсь, тружусь, никак не успеваю;
Полсвета властелин — не веселюсь ничем!»
Чувствительный монарх подходит между тем
К пасущейся скотине;
И что же видит он? рассыпанных в долине
Баранов, тощих до костей,
Овечек без ягнят, ягнят без матерей!
Все в страхе бегают, кружатся,
А псам и нужды нет: они под тень ложатся;
Лишь бедный мечется Пастух:
То за бараном в лес во весь он мчится дух,
То бросится к овце, которая отстала,
То за любимым он ягненком побежит,
А между тем уж волк барана в лес тащит;
Он к ним, а здесь овца волчихи жертвой стала.
Отчаянный Пастух рвет волосы, ревет,
Бьет в грудь себя и смерть зовет.

«Вот точный образ мой,— сказал самовластитель,—
Итак, и смирненьких животных охранитель
Такими ж, как и мы, напастьми окружен,
И он, как царь, порабощен!
Я чувствую теперь какую-то отраду».
Так думая, вперед он путь свой продолжал,
Куда? и сам не знал;
И наконец пришел к прекраснейшему стаду.
Какую разницу монарх увидел тут!
Баранам счету нет, от жира чуть идут;
Шерсть на овцах как шелк и тяжестью их клонит;
Ягнятки, кто кого скорее перегонит,
Толпятся к маткиным питательным сосцам;
А Пастушок в свирель под липою играет
И милую свою пастушку воспевает.
«Не сдобровать, овечки, вам! —
Царь мыслит.— Волк любви не чувствует закона,
И Пастуху свирель худая оборона».
А волк и подлинно, откуда ни возьмись,
Во всю несется рысь;
Но псы, которые то стадо сторожили,
Вскочили, бросились и волка задавили;
Потом один из них ягненочка догнал,
Который далеко от страха забежал,
И тотчас в кучку всех попрежнему собрал;
Пастух же все поет, не шевелясь нимало.
Тогда уже в царе терпения не стало.
«Возможно ль? — он вскричал.— Здесь множество волков,
А ты один... умел сберечь большое стадо!» —
«Царь! — отвечал Пастух,— тут хитрости не надо:
Я выбрал *добрых* псов».

1802

ЛЕТУЧАЯ РЫБА

Есть рыбы, говорят, которые летают.
Не бойтесь: я хочу не Плиния читать,
А только вам сказать,
Что и у рыб бывают
Такие ж мудрецы и трусы, как у нас;
Вот и пример для вас.
Одна из рыб таких и день и ночь грустила
И бабушке своей твердила:
«Ах, бабушка! Куда от злобы мне уйти?
Гонение и смерть повсюду на пути!
Лишь только я летать, орлы клюют носами;
Нырну в глубь моря, там встречаема волками!»
Старуха ей в ответ:
«Что делать, дитятко! Таков стал ныне свет!
Кому не суждено орлом быть или волком,
Тому один совет, чтоб избежать беды:
Держись всегда *своей* тропинки тихомолком,
Плывя *близ* воздуха, летая *близ* воды».

1802

КАРЕТНЫЕ ЛОШАДИ

Две лошади везли карету;
Осел, увидя их, сказал:
«С какою завистью смотрю на пару эту!
Нет дня, чтоб где-нибудь ее я не встречал;
Всё вместе: видно, очень дружны!» —
«Дурак, дурак! при всей длине своих ушей! —
Сказала вслед ему одна из лошадей,—
Ты только лишь глядишь на признаки наружны;
Диковинка ль всегда в упряжке быть одной,
А розно жить душой?
Увы! не нам чета живут на нас похоже!»

Вчера мне Хлоин муж шепнул в собраньи то же

1802

РУЖЬЕ И ЗАЯЦ

Трусливых наберешь немало
От скорохода до щенка;
Но Зайца никого трусливей не бывало.
Увидя он Ружье, которое лежало
В ногах у спящего стрелка,
Так испугался,
Что даже и бежать с душою не собрался,
А только сжался,
И, уши на спину, моргая носом, ждет,
Что вмиг Ружье убьет.
Проходит полчаса — перун еще не грянул.
Прошел и час — перун молчит,
А Заяц веселей глядит;
Потом, поободрясь, воспрянул,
Бросает любопытный взгляд —
Прыжок вперед, прыжок назад —
И наконец к Ружью подходит.
«Так это,— говорит,—на Зайца страх наводит?
Посмотрим ближе... да оно
Как мертвое лежит, не говорит ни слова!
Ага! хозяин спит,— так и Ружье равно
Бессильно, как лоза, без помощи другова».
Сказавши это, Заяц мой
В минуту стал и сам герой:
Храбрится и Ружье уж лапою толкает.
«Прочь, бедна тварь! — Ружье молчанье прерывает.—
Или не знаешь ты, что я лишь захочу,
Сей час тебя в ничто за дерзость превращу?
От грома моего и Лев победоносный
И кровожадный Тигр со трепетом бегут;

Беги и ты, зверек несносный!
Иль молнии мои тебя сожгут».—
«Не так-то строго! —
От Зайца был Ружью ответ.—
Ведь ныне умудрился свет,
И между зайцами трусливых уж немного.
Ты страшно лишь в руках стрелка, а без него —
Ты ничего».

Ничто и ты, закон! — подумает читатель,—
Когда не бодрствует, но дремлет председатель.

1803

АМУР И ДРУЖБА

«Сестрица, душенька!» — «Здорово, братец мой!» —
«Летал, летал!» — «А я до устали шаталась!» —
«Где взять любовников? все сгибли как чумой!» —
«Где други? ни с одним еще не повстречалась! . .» —
«Какой стал свет!» — «Давно уж это говорят».—
«Все клятвы на песке!» — «Услуги в обещанье!
Под именем моим *Корысть* боготворят».—
«А под моим — *Желанье*».

<1803>

ЗМЕЯ И ПИЯВИЦА

«Как я несчастна!
И как завидна часть твоя! —
Однажды говорит Пиявице Змея.—
Ты у людей в чести, а я для них ужасна;
Тебе охотно кровь свою дают;
Меня же все бегут и, если могут, бьют;
А, кажется, равно мы с ними поступаем:
И ты и я людей кусаем».—
«Конечно! — был на то Пиявицын ответ.—
Да в цели нашей сходства нет;
Я, например, людей к их пользе уязвляю,
А ты для их вреда;
Я множество больных чрез это исцеляю,
А ты и не больным смертельна завсегда.
Спроси самих людей: все скажут, что я права;
Я им лекарство, ты отрава».

Смысл этой басенки встречается тотчас:
Не то ли Критика с Сатирою у нас?

<1803>

ДРЯХЛАЯ СТАРОСТЬ

«Возможно ли, как в тридцать лет
Переменилось все! .. ей-ей, другой стал свет! —
Подагрик размышлял, на креслах нянча ногу.—
Бывало в наши дни и помолиться богу,
И погулять — всему был час;
А ныне... что у нас?
Повсюду скука да заботы,
Не пляшут, не поют — нет ни к чему охоты!
Такая ль в старину бывала и весна?
Где ныне красны дни? где слышно птичек пенье?
Охти мне! знать, пришли последни времена;
Предвижу я твое, природа, разрушенье! ..»
При этом слове вдруг, с восторгом на лице,
Племянница к нему вбежала.
«Простите, дядюшка! нас матушка послала
С мадамой в Летний сад. Все, все уж на крыльце,
Какой же красный день!» — И вмиг ее не стало.
«Какая ветреность! Вот модные умы! —
Мудрец наш заворчал.— Такими ли бывало
Воспитывали нас? Мой бог! все хуже стало!»

Читатели! подагрик — мы.

<1803>

ПРИДВОРНЫЙ И ПРОТЕЙ

Издавна говорят, что будто царедворцы
Для польз отечества худые ратоборцы;
А я в защиту их скажу, что в старину
Придворный именно спас целую страну.
А вот как это и случилось.
Был мор; из края в край все царство заразилось;
И раб, и господин, и поп, лейбмедик сам,
Все мрет; а срок бедам
Зависел от ума Протея.
Но кто к нему пойдет? Кривляка этот бог
И прытких делывал без ног,
Различны виды брать умея.
Из тысячи граждан один был только смел,
Который при дворе возрос и поседел,
Идти на всякий страх, во что бы то ни стало.
Увидя рыцаря, Протей затрепетал,
И вмиг — как не бывал,
А выползла змея красивая, скрыв жало.
«Куда как мудрено! —
Сказал с усмешкою Придворный,—
Я ползать и колоть уж выучен давно».
И кинулся герой проворный
Ловить Протея. Тот вдруг обезьяной стал,
Там волком, там лисою.
«Не хвастайся передо мною!
И этому горазд!» — Придворный говорил,
А между тем его веревкою крутил;
Скрутя же, говорить легко его заставил
И целую страну от мора тем избавил.

<1803>

НИЩИЙ И СОБАКА

Большой боярский двор Собака стерегла.
Увидя старика, входящего с сумою,
Собака лаять начала.
«Умилосердись надо мною! —
С боязнью, пóшептом бедняк ее молил.—
Я сутки уж не ел... от глада умираю!» —
«Затем-то я и лаю,—
Собака говорит,— чтоб ты накормлен был».

Наружность иногда обманчива бывает:
Иной как зверь, а добр; тот ласков, а кусает.

<1803>

МЫШЬ, УДАЛИВШАЯСЯ ОТ СВЕТА

Восточны жители, в преданиях своих,
Рассказывают нам, что некогда у них
Благочестива Мышь, наскуча суетою,
Слепого счастия игрою,
Оставила сей шумный мир
И скрылась от него в глубокую пещеру:
В голландский сыр.
Там, святостью одной свою питая веру,
К спасению души трудиться начала:
Ногами
И зубами
Голландский сыр скребла, скребла
И выскребла досужным часом
Изрядну келейку с достаточным запасом.
Чего же более? В таких-то Мышь трудах
Разъелась так, что страх!
Короче — на пороге рая!
Сам бог блюдет того,
Работать миру. кто отрекся для него.
Однажды пред нее явилось, воздыхая,
Посольство от ее любезных земляков;
Оно идет просить защиты от дворов
Противу кошечья народа,
Который вдруг на их республику напал
И Крысополис их в осаде уж держал.
«Всеобща бедность и невзгода,—
Посольство говорит,— причиною, что мы
Несем пустые лишь сумы;
Что было с нами, все проели,

А путь еще далек! И для того посмели
Зайти к тебе и бить челом
Снабдить нас в крайности посильным
подаяньем».—
Затворница на то, с душевным состраданьем
И лапки положа на грудь свою крестом,
«Возлюбленны мои! — смиренно отвечала,—
Я от житейского давно уже отстала;
Чем, грешная, могу помочь?
Да ниспошлет вам бог! А я и день и ночь
Молить его за вас готова».—
Поклон им, заперлась, и более ни слова.

Кто, спрашиваю вас, похож на эту Мышь?
Монах? — Избави бог и думать! .. Нет, дервиш.

<1803>

ЛИСА-ПРОПОВЕДНИЦА

Разбитая параличом
И одержимая на старости подагрой
И хирагрой,
Всем телом дряхлая, но бодрая умом
И в логике своей из первых мастерица,
Лисица
Уединилася от света и от зла
И проповедывать в пустыню перешла.
Там кроткие свои беседы растворяла
Хвалой воздержности, смиренью, правоте;
То плакала, то воздыхала
О братии, в мирской утопшей суете;
А братий и всего на проповедь сбиралось
Пять-шесть наперечет;
А иногда случалось
И менее того, и то Сурок да Крот,
Да две-три набожные Лани,
Зверишки бедные, без связей, без подпор;
Какой же ожидать от них Лисице дани?
Но лисий дальновиден взор:
Она переменила струны;
Взяла суровый вид и бросила перуны
На кровожаждущих медведей и волков,
На тигров, даже и на львов!
Что ж? слушателей тьма стеклася,
И слава о ее витийстве донеслася
До самого царя зверей,
Который, несмотря, что он породы львиной,
Без шума управлял подвластною скотиной
И в благочестие вдался под старость дней.

«Послушаем Лису! — Лев молвил,— что за диво?»
За словом вслед указ;
И в сутки, ежели не лживо
Историк уверяет нас,
Лиса привезена и проповедь сказала.
Какую ж проповедь! Из кожи лезла вон!
В тиранов гром она бросала,
А в страждущих от них дух бодрости вливала
И упование на время и закон.
Придворные оцепенели:
Как можно при дворе так дерзко говорить!
Друг на друга глядят, но говорить не смели,
Смекнув, что царь Лису изволил похвалить.
Как новость, иногда и правда нам по нраву!
Короче вам: Лиса вошла и в честь и славу;
Царь Лев, дав лапу ей, приветливо сказал:
«Тобой я истину познал
И боле прежнего гнушаться стал пороков;
Чего ж ты требуешь во мзду твоих уроков?
Скажи без всякого зазренья и стыда;
Я твой должник».— Лиса, глядь, глядь туда, сюда,
Как будто совести почувствуя улику,
«Всещедрый царь-отец! —
Ответствовала Льву с запинкой наконец,—
Индеек. . . *малую толику*».

<1805>

ЧАСОВАЯ СТРЕЛКА

«Кто равен мне? Солдат, любовник, сочинитель,
И сторож, и министр, и алтарей служитель,
И доктор, и больной, и самый государь —
Все чувствуют, что я важней, чем календарь!
Я каждому из них минуты означаю;
Деля и день и ночь, я время измеряю!»
Так, видя на нее зевающий народ,
Хвалилась Стрелка часовая,
Меж тем как бедная пружина, продолжая
Невидимый свой путь, давала Стрелке ход!

Пружина — секретарь; а Стрелка, между нами...
Но вы умны: смекайте сами.

<1805>

ЛЕБЕДЬ И ГАГАРЫ

За то, что Лебедь так и бел и величав,
Гагары на него из зависти напали
И крылья, тиной замарав,
Вкруг Лебедя теснясь, нарочно отряхали
И брызгами его марали!
Но Лебедю вреда не сделали оне!
Он в воду погрузился
И в прежней белизне
С величеством явился.

Гагары в прозе и в стихах!
Возитесь как хотите,
Но, право, истинный талант не помрачите;
Удел его: сиять в веках.

<1805>

ОРЕЛ И ЗМЕЯ

Орел из области громов
Спустился отдохнуть на луг среди цветов
И встретил там Змею, ползущую по праху.
Завистливая тварь
Шипит и на Орла кидается с размаху.
Что ж делает пернатых царь?
Бросает гордый взгляд и к солнцу возлетает.

Так Гений своему хулителю отмщает.

<1805>

СМЕРТЬ И УМИРАЮЩИЙ

Один охотник жить, не старее ста лет,
Пред Смертию дрожит и вопит,
Зачем она его торопит
Врасплох оставить свет,
Не дав ему свершить, как водится, духовной,
Не предваря его хоть за год наперед,
Что он умрет.
«Увы! — он говорит,— а я лишь в подмосковной
Палаты заложил; хотя бы их докласть;
Дай винокуренный завод мой мне поправить
И правнуков женить! а там... твоя уж власть!
Готов, перекрестясь, я белый свет оставить».
«Неблагодарный! — Смерть ответствует ему,—
Пускай другие мрут в весеннем жизни цвете;
Тебе бы одному
Не умирать на свете!
Найдешь ли двух в Москве,— десятка даже нет
Во всей империи, доживших до ста лет.
Ты думаешь, что я должна бы приготовить
Заранее тебя к свиданию со мной:
Тогда бы ты успел красивый дом достроить,
Духовную свершить, завод поправить свой
И правнуков женить; а разве мало было
Наветок от меня? Не ты ли поседел?
Не ты ли стал ходить, глядеть и слышать хило?
Потом пропал твой вкус, желудок ослабел,
Увянул цвет ума, и память притупилась;
Год от году хладела кровь,
В день ясный средь цветов душа твоя томилась,
И ты оплакивал и дружбу и любовь.

С которых лет уже отвсюду поражает
Тебя печальна весть: тот сверстник умирает,
Тот умер, этот занемог
И на одре мученья?
Какого ж более хотел ты извещенья?
Короче: я уже ступила на порог,
Забудь и горе и веселье;
Исполни мой устав!»
Сказала — и Старик, не думав, не гадав
И не достроя дом, попал на новоселье!!

Смерть права: во сто лет отсрочки поздно ждать;
Да как бы в старости страшиться умирать?
Дожив до поздних дней, мне кажется, из мира
Так должно выходить, как гость отходит с пира,
Отдав за хлеб и соль хозяину поклон.
Пути не миновать, к чему ж послужит стон?
Ты сетуешь, старик! Взгляни на ратно поле:
Взгляни на юношей, на этот милый цвет,
Которые летят на смерть по доброй воле,
На смерть прекрасную, сомнения в том нет,
На смерть похвальную, везде превозносиму,
Но часто тяжкую, притом неизбежиму!..
Да что! я для глухих обедню вздумал петь:
Полмертвый пуще всех боится умереть!

<1805>

КОТ, ЛАСТОЧКА И КРОЛИК

Случилось Кролику от дома отлучиться,
Иль лучше: он пошел Авроре поклониться
  На тмине, вспрыснутом росой.
  Здоров, спокоен и на воле,
Попрыгав, пощипав муравки свежей в поле,
  Приходит Кроличек домой,
И что же? — чуть его не подкосились ноги! —
Он видит: Ласточка расставливает там
  Своих пенатов по углам!
«Во сне ли я иль нет? Страннохприимны боги!» —
    Изгнанник возопил
    Из отческого дома.
«Что надобно?» — вопрос хозяйки новой был.—
  «Чтоб ты, сударыня, без грома
Скорей отсюда вон! — ей Кролик отвечал,—
Пока я всех мышей на помощь не призвал».—
«Мне выдти вон? — она вскричала,— вот прекрасно!
  Да что за право самовластно?
Кто дал тебе его? И стоит ли войны
Нора, в которую и сам ползком ты входишь?
Но пусть и царство будь: не все ль мы здесь равны?
  И где, скажи мне, ты находишь,
Что бог, создавши свет, его размежевал?
Бог создал Ласточку, тебя и Дромадера;
    А землемера
  Отнюдь не создавал.
Кто ж боле права дал на эту десятину
Петрушке Кролику, племяннику, иль сыну
Филата, Фефела, чем Карпу или мне?
Пустое, брат! земля всем служит наравне;

Ты первый захватил — тебе принадлежала;
Ты вышел — я пришла, моею норка стала».
Петр Кролик приводил в довод
Обычай, *давность*. «Их законом,—
Он утверждал,— введен в владение наш род
Бесспорно этим домом,
Который кроликом Софроном
Отказан, справлен был за сына своего
Ивана Кролика; по смерти же его
Достался, в силу права,
Тож сыну, именно мне, Кролику Петру;
Но если думаешь, что вру,
То отдадим себя на суд мы *Крысодава*».
А этот *Крысодав*, сказать без многих слов,
Был постный, жирный Кот, муж свят из всех котов,
Пустынник набожный средь света
И в *казусных* делах оракул для совета.
«С охотой!» — Ласточка сказала. И потом
Пошли они к Коту. Приходят, бьют челом
И оба говорят: «Помилуй!» — «Рассудите! . .» —
«Поближе, детушки,— их перервал судья,—
Не слышу я,
От старости стал глух; поближе подойдите!»
Они подвинулись, и вновь ему поклон;
А он
Вдруг обе лапы врозь, цáрап того, другова,
И вмиг их примирил,
Не вымолвя ни слова:
Задавил.

Не то же ль иногда бывает с корольками,
Когда они в своих делишках по землям
Не могут примириться сами,
А прибегают к королям?

<1805>

ЛЕВ И КОМАР

«Прочь ты, подлейший гад, навоза порожденье!» —
Лев гордый Комару сказал.
«Потише! — отвечал Комар ему,— я мал,
Но сам не меньше горд, и не снесу презренье!
Ты царь зверей,
Согласен;
Но мне нимало не ужасен:
Я и Быком верчу, а он тебя сильней».
Сказал и, став трубач, жужжит повестку к бою;
Потом с размашкою, приличною герою,
Встряхнулся, полетел и в шею Льву впился:
У Льва глаз кровью налился;
Из пасти пена бьет; зубами он скрежещет,
Ревет, и все вокруг уходит и трепещет!
От Комара всеобщий страх!
Он в тысячи местах,
И в шею, и в бока, и в брюхо Льва кусает,
И даже в глубь ноздри влетает!
Тогда несчастный Лев, в страданьи выше сил,
Как бешеный, вкруг чресл хвостом своим забил
И начал грызть себя; потом... лишившись мочи,
Упал, и грозные навек смыкает очи.
Крылатый богатырь тут пуще зажужжал
И всюду разглашать о подвигах помчался;
Но скоро сам попал
В засаду к Пауку и с жизнию расстался.

Увы! в юдоли слез неверен каждый шаг;
От злобы, от беды когда и где в покое?
Опасен *крупный* враг,
А *мелкий* часто вдвое.

<1805>

МУДРЕЦ И ПОСЕЛЯНИН

Как я люблю моих героев воспевать!
Не знаю, могут ли они меня прославить;
Но мне их тяжело оставить.
С животными я рад всечасно лепетать
И век мой коротать:
Люблю их общество! — Согласен я, конечно,
Есть и у них свой плут, сутяга и пролаз,
И хуже этого; но я чистосердечно
Скажу вам между нас:
Опасней тварей всех словесную считаю
И плут за плута — я Лису предпочитаю!
Таких же мыслей был покойник мой земляк,
Не автор, ниже чтец, однако не дурак,
Честнейший человек, оракул всей округи.
Отец ли огорчен, размолвятся ль супруги,
Торгаш ли заведет с товарищем расчет,
Сиротка ль своего лишается наследства —
Всем нужда до его советов иль посредства.
Как важно иногда судил он у ворот
На лавке, окружен согласною семьею,
Детьми и внуками, друзьями и роднею!
«Ты прав! ты виноват!» — бывало скажет он,
И этот приговор был силен, как закон;
И ни один не смел, ни впрямь, ни стороною,
Скрыть правды пред его почтенной сединою.
Однажды, помню я, имел с ним разговор
Проезжий моралист, натуры испытатель.
«Скажи мне,— он спросил,— какой тебя писатель
Наставил мудрости? Каких монархов двор
Открыл перед тобой все таинства правленья?
Зенона ль строгого держался ты ученья

Иль Пифагоровым последовал стопам?
У Эпикура ли быть счастливым учился
Или божественным Платоном озарился?» —
«А я их и не знал ниже по именам! —
Ответствует ему смиренно сельский житель.—
Природа мне букварь, а сердце мой учитель.
Вселенну населил животными творец;
В науке нравственной я их брал в образец:
У кротких голубков я перенял быть нежным;
У муравья — к труду прилежным
И на зиму запас копить;
Волом я научен терпенью;
Овечкою — смиренью;
Собакой — неусыпным быть;
А если б мы детей невольно не любили,
То куры бы меня любить их научили;
По мне же, так легко и всякого любить!
Я зависти не знаю;
Доволен тем, что есть,— богатый пусть богат,
А бедного всегда, как брата, обнимаю
И с ним делиться рад;
Стараюсь наконец рассудка быть под властью,
И только — вот и вся моя наука счастью!»

<1805>

МУХА

Бык с плугом на покой тащился по трудах;
А Муха у него сидела на рогах,
И Муху же они дорогой повстречали.
«Откуда ты, сестра? — от этой был вопрос.
А та, поднявши нос,
В ответ ей говорит: «Откуда? — мы пахали!»

От басни завсегда
Нечаянно дойдешь до были.
Случалось ли подчас вам слышать, господа:
«*Мы* сбили! *Мы* решили!»

<1805>

ОСЕЛ И КАБАН

Не знаю отчего зазнавшийся Осел
Храбрился, что вражду с Кабаном он завел,
С которым и нельзя иметь ему приязни.
«Что мне Кабан! — Осел рычал,—
Сей час готов с ним в бой без всякия боязни!» —
«Мне в бой с тобой? — Кабан с презрением сказал.—
Несчастный! Будь спокоен:
Ты славной смерти недостоин».

<1805>

ОТЕЦ С СЫНОМ

«Скажите, батюшка, как счастия добиться?» —
Сын спрашивал отца. А тот ему в ответ:
«Дороги лучшей нет,
Как телом и умом трудиться,
Служа отечеству, согражданам своим,
И чаще быть с пером и книгой,
Когда быть дельными хотим».—
«Ах, это тяжело! как легче бы?» — «Интригой,
Втираться жабой и ужом
К тому, кто при дворе фортуной вознесется...»
«А это низко!» — «Ну, так просто... быть глупцом:
И этак многим удается».

<1805>

СУП ИЗ КОСТЕЙ

«О времена! о времена! —
Собака, выходя из кухни, горько выла,—
Прощайся и с костьми! будь вечно голодна
И околей за то, что с верностью служила!
Вот дождались каких мы дней!
Безвременная смерть! уж нет нам и костей!» —
«Да где ж они?» — вопрос ей сделала другая,
Собака пожилая,
Прикованна подле ворот.
«В котле, да не для нас, а для самих господ:
Какой-то выдумщик, злодей собачью роду —
И верно уж француз, пустил и кости в моду!
Он выдумал из них дешевый суп варить
И хочет им людей кормить;
А нам уже ни кости!
Я тресну с голода и злости!» —
«А мой совет,— сказал на привязи мудрец,—
В молчании терпеть, пока судьба сурова!
Ведь этот случай нам не первый образец:
Большой всегда на счет меньшова».

<1805>

ВОРОБЕЙ И ЗЯБЛИЦА

«Умолк Соловушка! Конечно, бедный, болен
Или подружкой недоволен,
А может, и несчастлив в ней!
Мне жалок он!» — сказал печально Воробей.
«Он жалок? — Зяблица к словам его пристала,—
Как мало в сердце ты читал!
Я лучше отгадала:
Любил он, так и пел; стал счастлив — замолчал».

<1805>

ДОН-КИШОТ

Надсевшись Дон-Кишот с баранами сражаться,
Решился лучше их пасти
И жизнь невинную в Аркадии вести.
Проворным долго ль снаряжаться?
Обломок дротика пошел за посошок,
Котомкой с табаком мешок,
Фуфайка спальная пастушечьим камзолом,
А шляпу, в знак его союза с нежным полом,
У клюшницы своей соломенную взял
И лентой розового цвета
Под бледны щеки подвязал
Узлами в образе букета.
Спустил на волю кобеля,
Который к хлебному прикован был амбару;
Послал в мясном ряду купить баранов пару,
И стадо он свое рассыпал на поля
По первому морозу;
И начал воспевать зимой весенню розу.
Но в этом худа нет: веселому все в лад,
И пусть играет всяк любимою гремушкой;
А вот что невпопад:
Идет коровница — почтя ее пастушкой,
Согнул наш пастушок колена перед ней
И, размахнув руками,
Отборными словами
Пустился петь эклогу ей.
«Аглая! — говорит,— прелестная Аглая!
Предмет и тайных мук и радостей моих!
Всегда ли будешь ты, мой пламень презирая,
Лелеять и любить овечек лишь своих?

Послушай, милая! там, позади кусточков,
На дереве гнездо нашел я голубочков:
Прими в подарок их от сердца моего;
Я рад бы подарить любезную полсветом —
Увы! мне, кроме их, бог не дал ничего!
Они белы, как снег, равны с тобою цветом,
Но сердце не твое у них!»
Меж тем как толстая коровница Аглая,
Кудрявых слов таких
Седого пастушка совсем не понимая,
Стоит, разинув рот и выпуча глаза,
Ревнивый муж ее, подслушав селадона,
Такого дал ему туза,
Что он невольно лбом отвесил три поклона;
Однако ж головы и тут не потерял.
«Пастух-невежда! — он вскричал,—
Не смей ты нарушать закона!
Начнем пастуший бой;
Пусть победителя Аглая увенчает:
Не бей меня, но пой!»
Муж грубый кулаком вторичным отвечает,
И, к счастью, в глаз, а не в висок.
Тут нежный, верный пастушок,
Смекнув, что это въявь увечье, не проказа,
Чрез поле рысаком во весь пустился дух,
И с этой стал поры не витязь, не пастух,
Но просто — дворянин без глаза.

Ах! часто и в себе я это замечал,
Что, глупости бежа, в другую попадал.

<1805>

БЫК И КОРОВА

«Как жалок ты! — Быку Корова говорила,—
Судьба тебя на труд всегдашний осудила».
Наутро повели Корову на убой,
К закланию богам. Бык, вспомня речь вчерашню,
«Гордись, красавица,— сказал,— твоей судьбой:
Ты к алтарям идешь, а я — опять на пашню».

<1810>

ОРЕЛ И КАПЛУН

Юпитеров Орел за облака взвивался:
Уже он к трону приближался
Властителя громовых стрел —
И весь пернатых род на след его смотрел.
«Недаром он любим Юнониным супругом! —
В восторге восклицал Петух,—
Какая быстрота! какой великий дух!
Каким он очертил свой путь обширным кругом!
Недаром, повторю, вручен ему перун;
Кто равен с ним?» — «Кто? Ты и я,— сказал
Каплун,—
Конечно; будем только смелы,
То также обтечем небесные пределы
И к солнцу возлетим;
А это покажу примером я моим».
С сим словом, размахнув крылами,
Уже задорный удалец
Между землей и небесами —
И вмиг... на кровлю, как свинец!

Спасибо Каплуну! и он урок оставил:
Отважный без ума всегда себя бесславил.

<1810>

РЫСЬ И КРОТ

Когда-то Рысь, найдя лежащего Крота,
Из жалости ему по-свойски говорила:
«Увы! мой бедный Крот! несчастье слепота!
И рощица и луг с цветами — все места
Тебе как темная могила!
Какая жизнь твоя!
С утра до вечера ты спишь или зеваешь
И ни о чем не рассуждаешь;
А я
Теперь же, будто на ладоне,
Все вижу на версту вокруг,
И все пересказать готова,— слушай, друг:
Вот ястреб в облаках за коршуном в погоне;
Здесь ласточка своих птенцов
Питает мухами, добычей пауковой;
Там хитрая лиса цыпленку строит ков;
Там кролика постиг ружья удар громовой;
Здесь кошка давит мышь; а там
Змея впилась в корову;
А далее — медведь, разинув пасть багрову,
Ревет и гонится за серной по скалам;
А вот и лютый волк ягненочка терзает. . .» —
«Ах, полно, полно! — Крот болтунью прерывает. —
Утешно ль зрячим быть для ужасов таких?
Довольно и того, что слышал я об них».

<1810>

СВЕРЧКИ

Два обывателя столицы безымянной,
Между собою земляки,
А нацией сверчки,
Избрали для себя квартирой постоянной
Судейский дом;
Один в передней жил, другой же в кабинете,
И каждый день они видалися тайком.
«Нет лучше нашего хозяина на свете! —
Сказал товарищу Сверчок,—
Как гнется, даром что высок!
Какая кротость в нем! какая добродетель!
И как трудолюбив! я сам тому свидетель,
Какую кучу он записок отберет,
И что же? Ни одной из них не издерет,
А все за ним тащат!» — «На произвол судьбины,—
Товарищ подхватил.—
Дружок! Ты, видно, век в прихожих только жил
И вместо лиц привык рассматривать личины;
Не то бы ты сказал, узнавши кабинет!
В передней барин то, чем хочет он казаться,
А здесь — каким родился в свет:
Богатому служить, пред сильным пресмыкаться;
А до других и дела нет:
Вот нашего ханжи и все тут уложенье!
Оставь же лишнее к нему ты уваженье!
И в обществе людском,
Где многое тебе покажется превратным,
Умей ты различать двух человек в одном:
Парадного с *приватным.*

<1810>

Апологи

ПОЛЕВОЙ ЦВЕТОК

Простой цветочек, дикой,
Нечаянно попал в один пучок с гвоздикой;
И что же? от нее душистым стал и сам.—
Хорошее всегда знакомство в прибыль нам.

<1805>

РАЗБИТАЯ СКРИПКА

Скрипица пошлая упала и разбилась.
Скрипач ее склеил,
И скрипка из дурной — прекрасной очутилась.
Тот, верно, стал умней, кто в школе бедствий был.

<1805>

РОЗА И ШМЕЛЬ

«Прочь, наглый, прочь ты, Шмель! — вскричала *утром* Роза.—
Ты осквернишь меня; ты мне страшней мороза».—
«Прощаю спесь твою: ты только расцвела;
Я *вечером* приду, авось не будешь зла».

ДЕРЕВЦО

Березка выросла пред домом кривобока:
Пришлось выкапывать; но корни так ушли
Далеко в глубину, что вырыть не могли.—
История порока.

РЕПЕЙНИК И ФИАЛКА

Между Репейником и розовым кустом
Фиалочка себя от зависти скрывала;
Безвестною была, но горестей не знала.—
Тот счастлив, кто своим доволен уголком.

КУРИЦА И УТЯТЫ

«Ты все с утятами».— «Кому ж ходить за ними?
Я высидела их».— «Но что тебе они?
Чужие».— «Нужды нет! хочу считать моими».—
Кто любит помогать, тот всякому сродни.

КЛЕВЕТА

Честон был поражен кинжалом, но слегка.
«Дан промах, так и быть! — злодей вскричал.— Отселе,
По крайней мере, знак останется на теле».—
Черта клеветника.

СВОЕНРАВНАЯ ЛИСА

Свет полон чудаков: Медведь Лисе был друг;
И с Тигром и Слоном хлеб-соль она водила;
Но никого в своем соседстве не любила,
А пуще всех своих подруг.

ЛЕВ И ВОЛК

Волк, полуночный тать,
Схватил козленочка. «Не смей его терзать,—
Воскликнул Лев,— пусти!» — и Волк ему
послушен.—
Подлец всегда свиреп; герой великодушен.

МЯЧИК

«Несносный жребий мой! то вверх, то вниз лечу;
Вперед, назад меня толкают.
Ракете смех, а я страдаю и молчу».—
Проситель! и с тобой не лучше поступают.

КАМЕННАЯ ГОРА И ВОДЯНАЯ КАПЛЯ

«С умом ли, Капля, ты? меня пробить взялась!
Меня, гранитную! ты, право, стоишь смеха».
Но Капля молча все кап, кап... и пробралась.—
Настойчивость — залог успеха.

МЫЛЬНЫЙ ПУЗЫРЕК

Блестящий тысячью ирисиных цветов
Из мыла Пузырек на воздухе гордился;
Но дунул ветр, и вмиг он в каплю превратился.—
Судьба временщиков.

БЕСПЕЧНОСТЬ ПОЭТА

Поэт случайно в честь и круг бояр попал;
Но буря зависти против его восстала,
И всюду разнеслось: певцу грозит опала.—
«Так я был в случае? вот новость!» — он сказал.

ПОДСНЕЖНИК

«Что мне зима? — сказал Подснежник, ранний цвет.—
Пускай ее страшатся розы;
Я все превозмогу: и бури и морозы».—
Для гения препоны нет.

УЗДА И КОНЬ

С чего Конь пышет, ржет? — гортань дерут Уздою.
Ослабили Узду, и Конь пошел на стать.—
Властитель! хочешь ли спокойно обладать?
Держи бразды не вкруть; но мощною рукою.

ОСЕЛ И ВЫЖЛИЦА

«Скот глупый взял перед! и по какому праву? —
Шумела Выжлица.— Иль я не удала,
Иль обгоню его на славу».—
Не много славы в том, чтоб обогнать Осла.

ЧЕЛНОК БЕЗ ВЕСЛА

По ветру, без весла, Челнок помчался в море;
Ударился в скалу и раздробил свой бок.—
На жизненной реке и нам такое ж горе:
Без мудрости — прощай, наш утлый челночок!

ЭПИЛОГ

АВТОР И КРИТИКА

«Что вздумалось тебе сухие апологи
Представить критикам на суд?
Ты знаешь, как они насмешливы и строги».—
«Тем лучше: их прочтут».

Все апологи (кроме двух датированных) — <1826>.

НАДПИСИ. ЭПИТАФИИ. ЭПИГРАММЫ

Надписи

* * *

И это человек?
О времена! о век!

1791

К ПОРТРЕТУ Г. Р. ДЕРЖАВИНА

Державин в сих чертах блистает;
Потребно ли здесь больше слов
Для тех, которых восхищает
Честь, правда и язык богов?

1793

СТАРИННАЯ ШУТКА К ПОРТРЕТУ Н. М. КАРАМЗИНА

Он дома — иль Шолье, иль Юм, или Платон;
Со мною — милый друг; у Вейлер — селадон;
Бывает и игрок — когда у Киселева,
А у любовницы — иль ангел, или рева.

1790-е годы

К АМУРУ

Кто б ни был ты, пади пред ним!
Был, есть иль должен быть владыкой он твоим.

1798(?)

К ПОРТРЕТУ М. М. ХЕРАСКОВА

Пускай от зависти сердца в зоилах ноют;
Хераскову они вреда не нанесут:
Владимир, Иоанн [1] щитом его покроют
И в храм бессмертья проведут.

<1803>

К ПОРТРЕТУ М. Н. МУРАВЬЕВА

Я лучшей не могу хвалы ему сказать:
«Мать дочери велит труды его читать».

<1803>

* * *

Вот мой тебе портрет: сколь счастлив бы я был,
Когда б ты иногда сказала:
«Любезней и умней его я многих знала;
Но кто меня, как он, любил?»

<1803>

---

[1] Две эпические его поэмы.

<К ПОРТРЕТУ Н. М. КАРАМЗИНА>

Вот милый всем творец! иль сердцем, иль умом
Грозит тебе он пленом:
В Аркадии б он был счастливым пастушком,
В Афинах — Демосфеном.

<1803>

<К ПОРТРЕТУ П. И. ШАЛИКОВА>

Янтарная заря, румяный неба цвет;
Тень рощи; в ночь поток, сверкающий в долине;
Над печкой соловей; три грации в картине —
Вот все его добро. . . и счастлив! он поэт!

<1803>

* * *

Смейтесь, смейтесь, что я щурю
Маленьки мои глаза.
Я уж видел, братцы, бурю,
И знакома мне гроза;
Побывал и я средь боя!
Видел смерть невдалеке:
Так не стыдно для покоя
Погулять и в колпаке.

<1803>

* * *

Чей это, боже мой, портрет?
Какими яркими чертами
Над впалыми ее глазами
Натиснуты все сорок лет!

<1803>

Эпитафии

Ф. М. Д<УБЯНСКОМ>У

Любезного и прах останется ль безвестным?
Дубянского был дар — гармонией прельщать;
Страсть — дружба и любовь; закон — быть добрым, честным;
А жребий — бурну жизнь в пучине окончать.[1]

1796

В. А. В<ОЕЙКОВ>У

Здесь тихая могила
  Прах юноши взяла;
Любовь его сразила,
  А дружба погребла.

1798

И. Ф. БОГДАНОВИЧУ, АВТОРУ «ДУШЕНЬКИ»

  На урну преклонясь вечернею порою,
Амур невидимо здесь часто слезы льет,
  И мыслит, отягчен тоскою:
«Кто *Душеньку* мою так мило воспоет?»

1803

---

[1] Он утонул в Неве.

* * *

Здесь бригадир лежит, умерший в поздних летах.
Вот жребий наш каков!
Живи, живи, умри — и только что в газетах
Осталось: *выехал в Ростов.*

<1803>

ЭПИТАФИЯ ЭПИТАФИЯМ

Прохожий! пусть тебе напомнит этот стих,
Что все *на час* под небесами:
Поутру плакали о смерти мы других,
А к вечеру скончались сами.

1803

* * *

Прохожий, стой! во фрунт! скинь шляпу и читай:
«Я воин, грамоты не знал за недосугом.
Направо кругом!
Ступай!»

<1805>

Эпиграммы

* * *

А я хоть и не ум, но тож скажу два слова:
Коль будет разум наш во образе Шатрова,
Избави боже нас от разума такова!

1794

* * *

«Завидна,— я сказал,— Терситова судьбина:
Чин знатный и что год, то дочь ему иль сына!»
«Да! он не без друзей,— ответствовали мне,—
И при Дворе и при жене».

<1795>

НА СПУСК СТЕФАНИЕМ ТРЕХ ШАРОВ В ПРИСУТСТВИИ ТРЕХ ЗНАТНЫХ ОСОБ

«Ну, видел спуск я трех шаров!» —
«Что ж было?» — «Вздулись и упали
Все в сторону — и проскакали
Куракин, Зубов и Орлов».

1798

* * *

Седящий на мешках славяно-русских слов,
От коего мы спим, а цензоры зевают,
Кто страшен грациям, кого в листочках Львов,
А Павлом Юрьичем домашни называют,
Рек сам себе: «Я врать досель не уставал,
Так подурачимся ж еще мы для забавы».
Он рек — и вмиг свахлял из щепочек
Храм славы!
Сотиньус, рот разинув, пал,
А Львов вприсядку заплясал.

1803

* * *

«Я разорился от воров!» —
«Жалею о твоем я горе».—
«Украли пук моих стихов!» —
«Жалею я об воре».

<1803>

* * *

«Увы,— Дамон кричит,— мне Нина неверна!
Лукавый пол! твой дар лишь только лицемерить!
Давно ли *мужем* мне своим клялась она? . .» —
«И *мужем?* . . можно ль не поверить!»

<1803>

НОВОСТИ ЛИТЕРАТУРЫ

«Что за журнал?»
— Не хватский.
«Кто же читал?»
— Посадский.
«А издавал?»
— Сохацкий!

1804(?)

* * *

«Что легче перышка?» — «Вода»,— я отвечаю.
«А легче и воды?» — «Ну, воздух».— «Добрый
знак!
А легче и его?» — «Кокетка».— «Точно так!
А легче и ее?» — «Не знаю».

<1805>

НА ЖУРНАЛЫ

Как этот год у нас журналами богат!
И «Вестник от карел», и «Просвещенья сват»,
«Аврора» и «Курьер московский»,— не Европы,
И грузный «Корифей» — дорожник на Парнас. . .
<. . . . .>
Какой для чтения запас!

1805

ОТВЕТ

Нахальство, Аристарх, таланту не замена;
Я буду все поэт, тебе наперекор!
А ты — останешься все тот же крохобор,
Плюгавый выползок из <гузна> Дефонтена.

1806

НА ДУРНЫЕ ОДЫ ПО СЛУЧАЮ РОЖДЕНИЯ ИМЕНИТОЙ ОСОБЫ

О, тяжкой жизни договор!
О, дщерь полубогов! нет и тебе свободы!
Едва родилась ты, что твой встречает взор?
Свивальники, сироп и оды!!

<1810>

* * *

Подзобок на груди и, подогнув колена,
Наш Бавий говорит, любуясь сам собой:
«Отныне будет всем поэтам модным смена!
Все классики уже переводимы мной,
Так я и сам ученым светом
Достоин признан быть классическим поэтом!»
Так, Бавий, так! стихи, конечно, и твои
На лекциях пойдут в пример галиматьи!

<1810>

СТИХОТВОРЕНИЕ, ПРИПИСЫВАЕМОЕ И. И. ДМИТРИЕВУ

КАМИН

Сатира

Любезный мой камин, товарищ дорогой,
Как счастлив, весел я, сидя перед тобой:
Я мира суету и гордость забываю,
Когда, мой милый друг, с собою рассуждаю.
Что в сердце я храню, я знаю то один.
Мне нужды нет, что я не знатный господин,
Мне нужды нет, что я на балах не бываю
И говорить бонмо насчет других не знаю.
Бомонда правилы не чту я за закон,
И лишь по имени известен мне бостон.
Обедов не ищу, незнаем я; но волен.
О милый мой камин! как я живу покоен!
Читаю ли я что, иль греюсь, иль пишу,
Свободой, тишиной, спокойствием дышу.

Пусть Глупомотов все именье расточает
И рослых дураков в гусары наряжает;
Какая нужда мне, что он развратный мот?
Безмозглов пусть спесив, и что он глупый скот,
Который свой язык природный презирая,
В атласных шлафроках блаженство почитая,
Как кукла рядится, любуется собой,
Мня в плен ловить сердца французской головой?
Он бюстов накупив и чайных два сервиза,
Желает роль играть парижского маркиза;
А господин маркиз, того коль не забыл,
Шесть месяцев назад здесь вахмистром служил.
Пусть он дурачится, нет нужды в том нимало.
Здесь много дураков и будет и бывало.

Прыгушкин, например, все счастье ставит в том,
Что он в больших домах вдруг сделался знаком,
Что прыгать л'екоссес, в бостон играть он знает,
Что Адриан его по моде убирает,
Что фраки на него шьет славный здесь Луи,
И что с графинями проводит дни свои,
Что все они его кузеном называют,
И что послы к нему с визитом приезжают.

Но что я говорю, один ли он таков?
Бедней его сто раз сосед мой Пустяков,
Другим дурачеством Прыгушкину подобен:
Он вздумал, что послом он точно быть способен,
И чтоб яснее то и лучше доказать,
Изволил кошелек он сзади привязать
И мнит, что тем он стал политик и придворный;
А Пустяков, увы! советник лишь надворный.
Вот как ослеплены бываем часто мы,
И к суете пустой стремятся все умы;
Рассудка здравого и пользы убегаем,
Блаженства ищем там, где гибель мы встречаем.
Гордиться, ползать, льстить, все в свете продавать,
Вот в чем стараемся мы время провождать.

Неправдою Змеяд достав себе именье,
Желает, чтоб к нему имели все почтенье,
И заставляет тех в своей передней ждать,
Которых может он, к несчастью, угнетать.
Низкопоклон<ов> тут с седою головою,
С наморщенным челом, но с подлою душою,
Увидев Катеньку, сердечно рад тому,
Что ручку целовать она дает ему,
И, низко кланяясь, о том не помышляет,
Что Катенькин отец паркеты натирает.
О чем ни вздумаю, на что ни посмотрю, —
Иль подлость, иль порок, иль предрассудки зрю.
Бедняк, хотя умен, он презрен, угнетаем;
Скотинин сущий пень, но всеми уважаем
И, несмотря на все, на Лизе сговорил,
Он женится на ней, хотя ей и немил;
Но нужды нет ему, она собой прелестна,
А скупость матушки ее давно известна.

За ним же, знают все, двенадцать тысяч душ,
Так может ли он быть не бесподобный муж?
Он молод, говорят, и света мало знает,
Но добр, чувствителен и Лизу обожает.
Она с ним счастливо, конечно, проживет;
Несчастна Лизанька, вздыхая, слезы льет
И в женихе своем находит лишь урода.
Ума нам не дают ни знатная природа,
Ни пышность, ни чины, ни каменны дома,
И миллионами нельзя купить ума;
Но злато, может быть, пороки позлащает,
И милой Лизы мать так точно рассуждает.

«Постой,— кричит Плутов,— тебе ль о том судить,
Как в свете должно весть себя и жить?
Ты молод, так молчи, мораль давно я знаю,
Ты с нею гол, как мышь, я — селы покупаю.
Поверь мне, не набьешь стихами кошелька,
И гроша не дадут тебе за «Камелька».
Я вздора не пишу, а мой карман исправен,
Незнаем ты никем, я — в Петербурге славен,
Ласкают все меня и графы и князья».
Плутов! ты всем знаком: о том не спорю я;
Но также нет и в том сомненья никакого,
Что редко льзя найти бездельника такого,
Что все имение, деревни, славный дом
Пронырством ты достал, Плутов, и воровством.

Довольно, не хочу писать теперь я боле,
И, не завидуя ничьей счастливой доле,
Стараться буду я лишь только честным быть,
Законы почитать, отечеству служить,
Любить моих друзей, любить уединенье —
Вот сердца моего прямое утешенье.

<1780-е годы>

ПРИМЕЧАНИЯ

Н. М. КАРАМЗИН

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Н. М. Карамзин выпустил первый сборник своих произведений в стихах и прозе — «Мои безделки» — в 1794 году (2-е издание вышло в 1797 году) и затем при жизни трижды издавал собрание своих сочинений, куда входили и стихи: первое — в 1803—1804 годах в 8 частях, второе — в 1814 году в 9 частях, третье — в 1820 году в 9 частях. Четвертое собрание сочинений вышло после смерти автора, в 1834—1835 годах в 9 частях, пятое — в 1848 году в 3 частях. В 1901 году вышло полное собрание стихотворений Карамзина в VII выпуске «Русской поэзии» под редакцией С. А. Венгерова. В 1917 году появился первый том (Стихотворения), под редакцией В. В. Сиповского, предполагавшегося академического собрания сочинений Карамзина. В 1936 году вышли избранные стихотворения в сборнике «Карамзин и поэты его круга» в малой серии «Библиотеки поэта».

Настоящее, девятое собрание стихотворений Карамзина публикуется главным образом по текстам третьего собрания сочинений (1820), вышедшего при жизни автора и подготовленного к печати при его участии. Стихотворения, не вошедшие в третье собрание сочинений, печатаются по последним прижизненным изданиям. Тексты стихотворений, извлеченных из «Писем Карамзина к Дмитриеву» и впервые опубликованных вместе с письмами Я. Гротом и П. Пекарским в 1866 году, печатаются по изданию 1917 года и сверены с рукописью, хранящейся в Институте русской литературы Академии наук СССР в Ленинграде (шифр PII, Оп. № 1, № 141). Стихотворения, извлеченные из повестей Карамзина и «Писем русского путешественника», публикуются по тексту собрания сочинений 1820 года.

Настоящее собрание является избранным.

Стихотворения расположены в хронологическом порядке; датируются на основании указаний в издании 1820 года; другие основания оговорены в примечаниях. В том случае, когда стихотворение датируется по первой публикации, дата дается в угловых скобках. Предположительная датировка сопровождается знаком вопроса в скобках.

Рукописи Карамзина, относящиеся к XVIII веку и главным образом к литературной деятельности, погибли в 1812 году при пожаре Москвы.

При переизданиях Карамзин мало менял тексты своих стихотворений. В настоящем издании мы почти не приводим разночтений. Разночтения первоизданий с текстом 1820 года приведены в академическом издании 1917 года.

Примечания под стихотворениями, кроме переводов, принадлежат автору.

Составитель стремился приблизить тексты Карамзина к современным нормам орфографии и пунктуации.

В подготовке текстов Карамзина и Дмитриева и примечаний принимала участие Е. В. Климина.

СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В ПРИМЕЧАНИЯХ

«Аглая» (с годом издания)	Аглая. Москва, в Университетской типографии. Книжка I, 1794; книжка II, 1795. Второе издание — в 1796 году. <Издание Н. М. Карамзина.>
«Аониды» (с годом издания)	Аониды, или Собрание разных новых стихотворений. Москва, в Университетской типографии. Книжка I, 1796; книжка II, 1797; книжка III, 1798—1799. <Стихотворный альманах, составленный Н. М. Карамзиным.>
«Мои безделки» (с годом издания)	Мои безделки. Москва, в Университетской типографии, 1794. В двух частях. Второе издание — Москва, 1797. <Сборник произведений Н. М. Карамзина в стихах и прозе.>
«Письма Карамзина к Дмитриеву»	Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. Издали с примечаниями и указателем Я. Грот и П. Пекарский. СПб, 1866.
Соч. 1820	Сочинения Карамзина. Издание третье, исправленное и умноженное. Москва, в типографии С. Селивановского, 1820. <В 9 томах.>
Соч. 1917	Сочинения Карамзина. Том первый. Стихотворения. Издание Отделения русского языка и словесности Академии наук. Петроград, 1917. <Под редакцией и с примечаниями В. В. Сиповского.>

ПРИМЕЧАНИЯ К СТИХОТВОРЕНИЯМ

«Часто здесь в юдоли мрачной...» Печатается по Соч. 1917, т. I, стр. 3. Впервые — в «Письмах Карамзина к Дмитриеву», стр. 2—3.

«Счастье истинно хранится...» Печатается по Соч. 1917, т. I, стр. 5—6. Впервые — в «Письмах Карамзина к Дмитриеву», стр. 4—5, не вполне точно.

Поэзия. Печатается по последнему прижизненному изданию («Московский журнал», 1803, ч. VII, стр. 263). Впервые полностью — в «Московском журнале», 1792, ч. VII, стр. 260. Отрывок из этого стихотворения вошел в статью Карамзина «Геснерова смерть», опубликованную в журнале «Детское чтение для сердца и разума», М., 1789, ч. XVII, стр. 197 (2-е изд., М., 1819, ч. XVII, стр. 23).

«Поэзия» — первое программное произведение молодого Карамзина. Стихи дают представление о его литературных взглядах и вкусах. Оценкам, которые мы находим в стихотворении, Карамзин остался верен до конца своего писательского пути. Стихотворение открывается эпиграфом из Ф. Клопштока (1724—1803), немецкого поэта, автора поэмы «Мессиада».

С невиннейшим семейством (когда погибло все) Поэзия спаслась — имеется в виду библейский рассказ о спасении Ноя во время легендарного всемирного потопа. *Так славный, мудрый бард, древнейший из певцов* — вероятно, библейский патриарх Моисей. *Так царственный поэт, родившись пастухом,* — библейский царь Давид. *Бион* — греческий лирик (III в. до н. э.), *Теокрит* — греческий поэт (IV в. до н. э.), автор «Идиллий», *Мосхос* — Мосх Сиракузский, греческий поэт-идиллик (III в. до н. э.). *Так Августов поэт, так пастырь Мантуанский* — Виргилий, римский поэт (I в. до н. э.), уроженец Мантуи. *Овидий воспевал начало всех вещей.* — Овидий Публий Назон, римский поэт (I в. до н. э.); Карамзин имеет в виду его поэму «Метаморфозы». *Фингалов мрачный сын* — Оссиан, мифический бард III века, под именем которого шотландский поэт Макферсон в 1761 году издал сочиненные им «Песни Оссиана» и выдал их за народные. *Так песни Оссиана, нежнейшую тоску вливая в томный дух.* — Во второй части «Московского журнала» за 1791 год, публикуя отрывок из Оссиана, Карамзин писал в предисловии: «...в чем состоит достоинство Оссиановых песней? — В неподражаемой прекрасной простоте... Глубокая меланхолия, иногда нежная, но всегда трогательная, разлиянная во всех его творениях, приводит читателя в некоторое уныние; но душа наша любит предаваться унынию сего рода, любит питать оное — и в мрачных своих представлениях сама себе нравится» (стр. 117).

Шекспир, Натуры друг! кто лучше твоего познал сердца людей? — Судя по письмам А. А. Петрова, Карамзин еще в Симбирске увлекался Шекспиром. В 1786 году он выпустил перевод «Юлия Цезаря» Шекспира с коротеньким восторженным предисловием. Разбирая трагедию «Сид» (подражание трагедии Корнеля), шедшую в 1791 году в московском театре, Карамзин в рецензии на

спектакль писал: «Французские трагедии можно уподобить хорошему регулярному саду, где много прекрасных аллей, прекрасной зелени, прекрасных цветников, прекрасных беседок; с приятностью ходим мы по сему саду и хвалим его; только всё чего-то ищем и не находим, и душа наша холодною остается; выходим и всё забываем. Напротив того, Шекспировы произведения уподоблю я произведениям Натуры, которые прельщают нас в самой своей нерегулярности; которые с неописанною силою действуют на душу нашу и оставляют в ней незагладимое впечатление» («Московский журнал», ч. III, стр. 95). В самом начале литературной деятельности и позже Карамзин в драматургии Шекспира видел силу, способную увести русский театр от классической трагедии к бытовой, сентиментальной драме. Карамзин и сам попытался пойти по этому пути в своей единственной драме «София» («Московский журнал», 1791), следуя в частых переменах места действия за Шекспиром и подражая слезной драме «Ненависть к людям и раскаяние» Коцебу. Увлечению Карамзина Шекспиром содействовало знакомство с Якобом Райнгольдом Ленцем (1751—1792), немецким поэтом и драматургом, принадлежавшим к литературному направлению «бури и натиска». Ленц эмигрировал в Россию и некоторое время принадлежал к окружению Н. И. Новикова, где с ним встретился Карамзин (см. монографию М. Н. Розанова «Якоб Ленц», 1901).

Мильтон, высокий дух, в гремящих страшных песнях — английский поэт (1608—1674), автор эпической поэмы «Потерянный и возвращенный рай». *О Йонг, несчастных друг* — Юнг (1684—1765), английский поэт, автор «Ночей», поэмы, сыгравшей большую роль в распространении унылых и мрачных мотивов в сентиментальной поэзии. *Нам Томсон возгласил природы красоту* — английский поэт (1700—1748), автор поэмы «Времена года». В «Письмах русского путешественника» Карамзин о ней писал: «Весна не была бы для меня так прекрасна, если бы Томсон и Клейст не описали мне всех красот ее». *Альпийский Теокрит, сладчайший песнопевец!* — имеется в виду Соломон Геснер (1730—1780), швейцарский писатель, автор «Идиллий» и «Смерти Авеля», писал на немецком языке. В «Письмах русского путешественника» сказано о нем: «Рука времени, все разрушающая, разрушит некогда и город, в котором жил песнопевец... Но цветы Геснеровых творений не увянут». В «Московском журнале» Карамзин поместил биографии Геснера и Клопштока. *В **** блестит, и скоро все народы* — вероятно, следует читать: «В Москве блестит, и скоро все народы».

К Д<митриеву>. Печатается по Соч. 1820, т. I, стр. 44. Впервые — в «Московском журнале», 1791, ч. II, стр. 113, под названием «Господину ***. В ответ на полученную от него поэму» (повидимому, стихи Дмитриева «Любовь и дружество», 1788).

Стихотворение является письмом Карамзина к Дмитриеву от 17 ноября 1788 года. Стихи сопровождала следующая приписка: «Так бедный московский стихотворец, учащийся ныне разбирать по складам греческих поэтов, осмеливается греческим стихосложением воспевать хвалу своему другу!..» В Соч. 1820 датировано 1792 годом неверно. В рукописи — разночтения с журнальной и последней редакцией.

Клейст Христиан-Эвальд (1715—1759) — немецкий поэт, автор сентиментальной описательной поэмы «Весна», созданной под влиянием поэмы Томсона «Времена года».

Военная песнь. Печатается по Соч. 1820, т. I, стр. 30. Впервые — в «Московском журнале», 1791, ч. II, стр. 217, с подстрочным примечанием: «Сочиненная при начале шведской войны». Война со Швецией началась в июне 1788 года.

Туда спеши, о сын России! — Карамзин обращается к Дмитриеву, собиравшемуся на войну. О предстоящем отъезде Дмитриева говорится и в письме к нему Карамзина от 2 июля 1788 года, где Карамзин советует писать о войне «дактилями и хореями, греческими гекзаметрами, а не ямбическими шестистопными стихами...». «Будь нашим Гомером, а не Вольтером»,— писал Карамзин. В Соч. 1820 стихотворение датировано 1789 годом ошибочно.

Весенняя песнь меланхолика. Печатается по последней прижизненной публикации в журнале «Детское чтение для сердца и разума», М., 1819, ч. XVII, стр. 99. Впервые — в том же журнале, 1789, ч. XVIII, стр. 63. Восемь строк стихотворения, начиная с «везде, везде мы видим радость», приведены в письме к Дмитриеву от 2 марта 1788 года. Это дает основание датировать стихотворение 1788 годом. Дмитриев ответил стихами «Мой друг, судьба определила...»

Анакреонтические стихи А. А. П<етрову>. Печатается по последней прижизненной публикации в журнале «Детское чтение для сердца и разума», 1819, ч. XVII, стр. 102. Впервые — в том же журнале, 1789, ч. XVIII, стр. 93. С. И. Пономарев («Материалы для библиографии литературы о Карамзине», СПб, 1883) датирует стихотворение по первоизданию. Судя по содержанию стихотворения, оно написано до отъезда Карамзина за границу (весной 1789 года) и датируется 1788 годом.

А. А. П. — Александр Андреевич Петров (начало 1760-х гг.— 1793), студент Московского университета, участник «Дружеского ученого общества» Н. И. Новикова. Петров, судя по его письмам, познакомился с Карамзиным, когда тот учился в пансионе Шадена. Переписка их продолжалась и после отъезда Карамзина в Петербург, а потом в Симбирск. Письма Петрова опубликованы в «Русском архиве», 1863 и 1866. Письма Карамзина не сохранились. Петров редактировал журнал «Детское чтение для сердца и разума» (1785—1789), издаваемый Новиковым при «Московских ведомостях», в котором сотрудничал Карамзин.

В Москве Карамзин до отъезда в путешествие жил в одной комнате с Петровым в доме «Дружеского общества». Петров и Карамзин, хотя и были масонами и переводили масонские книги, но больше тяготели к литературе, чем к мистической философии и теософии. В переводе Петрова вышли: повесть без имени автора «Хризомандер» (1783), «О древних мистериях или таинствах» (1785), «Учитель, или Всеобщая система воспитания» (1789—1791) и др.

Выздоровление. Печатается по сборнику «Мои безделки», 1794, ч. II, стр. 192. Впервые — в «Московском журнале», 1791,

ч. I, стр. 146. Датировано 13 декабря 1789 года. Над текстом графически приведен размер стихотворения.

Граф Гвариноc. Печатается по Соч. 1820, т. I, стр. 115. Впервые — в «Московском журнале», 1792, ч. VI, стр. 219. Перевод староиспанского романса XVI века о графе Гвариносе, бежавшем из мавританского плена.

Карамзин познакомился с романсом в немецком переводе Бартуха, выпустившего в 1780 году в Веймаре первый том «Магазина испанской и португальской литературы» (Magazin der Spanischer und Portugiesischer Literatur), где помещен и этот романс.

В 1789 году Карамзин был в Веймаре и в одном из «Писем русского путешественника» среди веймарских писателей упоминает и Бартуха. Дата написания стихотворения — 1789 год — говорит о том, что Карамзин, вероятно, в Веймаре и написал своего «Графа Гвариноса».

Романс о Гвариносе упоминается и цитируется в «Дон-Кихоте», которым увлекался Карамзин.

Происхождение стихотворения «Граф Гвариноc» Карамзина разъяснил М. П. Алексеев в статье «К литературной истории одного из романсов в «Дон-Кихоте» (см. «Сервантес. Статьи и материалы», изд. ЛГУ, 1948).

Карл Великий (742—814) — король французов, император Западно-Римской империи. В стихотворении говорится о борьбе Карла Великого с арабами в Испании, во время которой в знаменитой Ронсевальской битве погибла лучшая часть его войска.

Осень. Печатается по Соч. 1820, т. I, стр. 34. Впервые — в «Московском журнале», 1791, ч. IV, стр. 11. Над текстом графически приведен размер стихотворения. Стихотворение написано в Женеве в 1789 году.

Филлиде. Печатается по Соч. 1820, т. I, стр. 47. Впервые — в «Московском журнале», 1791, ч. I, стр. 16.

В первоиздании и (с небольшими изменениями) в сборнике «Мои безделки» после строки «Живящей цвет их алый» имелись 26 строк, исключенные автором начиная с Соч. 1803 г.:

Да девять сестр небесных,
И важных и веселых,
Тебя в сей год утешат
Беседою своею!
Родившая Орфея
Читай тебе Гомера;
Всезнающая Клио —
Плутарха или Юма;
С кинжалом Мельпомена
Шекспира декламируй;
Полимния в восторге
Пой Пиндаровы оды;
Эрата с нежной краской
Читай тебе тихонько
Теосского поэта;

А Талия с Мольером
Насчет пороков смейся;
Урания поведай,
Что Гершель в небе видит;
Играй тебе Эвтерпа
На флейте сладкогласной
Божественные песни
Из Генделевых песней;
Прыгунья Терпсихора
Как Вестрис пред тобою
Пляши, скачи, вертися!

Имеются и другие разночтения с первоизданием.

К богине здравия. Печатается по Соч. 1820, т. I, стр. 20. Впервые — в «Московском журнале», 1791, ч. III, стр. 3. В Соч. 1820 датировано 1792 годом неверно.

К Прекрасной. Печатается по Соч. 1820, т. I, стр. 21. Впервые — в «Московском журнале», 1791, ч. III, стр. 123. Над текстом графически приведен размер стихотворения.

Веселый час. Печатается по Соч. 1820, т. I, стр. 29. Впервые — в «Московском журнале», 1791, ч. III, стр. 238, под заглавием «Песня веселых».

Раиса. Печатается по Соч. 1820, т. I, стр. 22. Впервые — в «Московском журнале», 1791, ч. IV, стр. 118.

Песнь мира. Печатается по Соч. 1820, т. I, стр. 31. Впервые — в «Московском журнале», 1792, ч. V, стр. 153. Стихотворение написано по случаю заключения мира с Турцией в Яссах в декабре 1791 года.

Астрея (греч. миф.) — дочь Зевса, богиня справедливости, обитавшая среди людей в «золотом веке».

К Милости. Печатается по Соч. 1820, т. I, стр. 15. Впервые — в «Московском журнале», 1792, т. VI, стр. 117, с подписью Ц. Ы.

Стихи опубликованы вскоре после ареста Н. И. Новикова. В них Карамзин попытался заступиться за Новикова перед Екатериной II. Попытка успеха не имела. А. А. Петров писал Карамзину 19 июля 1792 г.: «Пожалуйста, пришли стихи «К Милости» как они сперва были написаны. Я не покажу их никому, если то нужно». Первоначальный текст стихотворения не сохранился. Четверть века спустя Карамзин составил «Записку о Н. И. Новикове», которая должна была помочь обеспечить детей умершего просветителя и публициста. В ней Карамзин писал: «Новиков как гражданин, полезный своею деятельностию, заслуживал общественную признательность; Новиков как теософический мечтатель по крайней мере не заслуживал темницы...» («Неизданные сочинения и переписка Н. М. Карамзина», часть первая. СПб, 1862, стр. 225).

Доколе злоба, дщерь Тифона... — Согласно греческой мифоло-

гии, великан Тифон — олицетворение вулканических сил земли — был отцом чудовищ, враждебных человеку.

Эпитафии. Печатается по Соч. 1820, т. I, стр. 26. Впервые — в «Московском журнале», 1792, ч. VII, стр. 7.

Кладбище. Печатается по Соч. 1820, т. I, стр. 18. Впервые — в «Московском журнале», 1792, ч. VII, стр. 109, под названием «Могила». В Соч. 1820 датировано 1793 годом неверно.

Подражание стихотворению немецкого поэта Людвига Козегартена (L. T. Kosegarten, 1758—1818, «Des Grabes Furchtbarkeit und Lieblichkeit»).

Прости. Печатается по Соч. 1820, т. I, стр. 51. Впервые — в «Московском журнале», 1792, ч. VIII, стр. 170. В «Московском журнале» вторая строфа читается:

Любил не быв любимым
К несчастью моему...
Увы! насильно милым
Не будешь никому!

Приношение грациям. Печатается по сборнику «Аглая», второе издание, 1796, кн. I, стр. 3. Впервые — в первом издании «Аглаи» (1794, кн. I, стр. 3) с датой 3 июня 1793 года.

Грации (лат. миф.) — три богини: радости, юности и красоты, спутницы Венеры-Афродиты: Аглая, Талия и Евфрозина. *Сократ искусною рукой... представил...* — Греческий философ Сократ был сыном скульптора Софониска и обучался в молодости у отца искусству ваяния. В эллинистическую эпоху существовала скульптурная группа трех граций, приписывавшаяся Сократу.

Я друга потерял... — имеется в виду А. А. Петров, умерший весной 1793 года. В марте 1793 года Карамзин написал элегию в прозе «Цветок на гроб моего Агатона»: «...Верный вкус друга моего (отличавший с великою тонкостию посредственное от изящного, изящное от превосходного, выученное от природного, ложные дарования от истинных) был для меня светильником в искусстве и поэзии... Он был первым моим судьею, и хотя замечал недостатки, однако же, по снисхождению и нежности своей, ободрял меня в сих упражнениях. Ах! я жалею о том человеке, который занимается литературою и не имеет знающего друга!»

Под влиянием сентиментального направления и особенно Карамзина тема дружбы стала широко распространенным мотивом лирической поэзии и обязательной чертой биографии сентиментального писателя. П. И. Шаликов, во всем слепо подражавший Карамзину, посвятил своему умершему другу Е. И. Андреевскому сборник своих произведений «Плод свободных чувствований». В комедии А. А. Шаховского «Новый Стерн» (1807), сатирической пародии на карамзинизм, высмеивалась и сентиментальная дружба. Культ дружбы, воспевание дружбы в 20-х годах XIX столетия связаны с карамзинской традицией.

Волга. Печатается по Соч. 1820, т. I, стр. 11. Впервые — в сборнике «Аглая», 1794, стр. 23.

К соловью. Печатается по Соч. 1820, т. I, стр. 46. Впервые — в сборнике «Аглая», 1794, стр. 31. В стихотворении Карамзин вспоминает своего умершего друга А. А. Петрова.

Молитва о дожде. Печатается по Соч. 1820, т. I, стр. 27. Впервые — в сборнике «Мои безделки», 1794, ч. II, стр. 152.

Странность любви, или Бессонница. Печатается по Соч. 1820, т. I, стр. 55. Впервые — в сборнике «Мои безделки», 1794, ч. II, стр. 201.

<Песня из повести «Остров Борнгольм»>. Печатается по Соч. 1820, т. VI, стр. 184. Впервые повесть напечатана в сборнике «Аглая», 1794, стр. 92.

«Я взглянул и увидел,— говорит Карамзин,— молодого человека, худого, бледного, томного — более привидение, нежели человека... Он вздохнул; поднял глаза к небу, опустил их опять на волны морские, отошел от дерева, сел на траву, заиграл на своей гитаре печальную прелюдию, смотря беспрестанно на море, и запел тихим голосом следующую песню...»

В «Ревизоре» Гоголя Хлестаков в IV действии говорит Анне Андреевне: «Это ничего! Для любви нет различия; и Карамзин сказал: «Законы осуждают». Мы удалимся под сень струй... Руки вашей, руки прошу». В «Мертвых душах» цитируется последнее четверостишие песни Карамзина «Доволен я судьбою» в письме неизвестной к Чичикову. Письмо пародирует сентиментальный стиль карамзинистов, перешедший в мещанскую среду. Характер этих упоминаний говорит о том, что в середине 30-х годов XIX века поэзия Карамзина отчасти стала альбомной литературой и мишенью сатиры, на что указывал Белинский.

<Из лирической прозы «Афинская жизнь»>: 1) «Весело в поле работать...»; 2) <Из «Эдипа в Колоне» Софокла>; 3) <К отечеству (песнь афинян)>; 4) <Песнь Вакху>; 5) <Амур в плену у муз>; 6) <Песнь Сафина>; 7) <Смерть Орфеева>. Печатаются по Соч. 1820, т. VII, стр. 63. Впервые «Афинская жизнь» вместе со стихотворениями появилась в сборнике «Аглая», 1795, стр. 26. В текст прозы «Афинская жизнь» стихи включены без названий.

Стихотворения 3, 4, 6 и 7 были впервые напечатаны под приведенными названиями как самостоятельные стихотворения в сборнике «Мои безделки», 1794, ч. II (2-е изд. в 1797). Названия стихотворениям 2 и 5 впервые были даны С. А. Венгеровым для ясности в его издании стихотворений Карамзина («Русская поэзия», 1901, в. VII) на основании текста «Афинская жизнь»; мы сохраняем эту традицию.

«Афинская жизнь» связана с увлечением Карамзина античностью и античной поэзией, выразившимся также и в опытах использования античных размеров для русского стихосложения.

Дмитриев и особенно Батюшков в увлечении античными темами шли по пути Карамзина.

«Афинская жизнь» написана в период смятения Карамзина под впечатлением Французской революции. Мечта о «золотом веке», каким представлялась Карамзину жизнь в античной Греции, разрушается действительностью: «О друзья! все проходит, все исчезает! — писал Карамзин в заключении к «Афинской жизни».— Где Афины? Где жилище Гиппиево? Где храм наслаждения? Где моя греческая мантия? — Мечта! мечта! Я сижу один в сельском кабинете своем, в худом шлафроке, и не вижу перед собою ничего, кроме догорающей свечки, измаранного листа бумаги и гамбургских газет, которые завтра поутру (а не прежде: ибо я хочу спать нынешнюю ночь покойным сном) известят меня об ужасном безумстве наших просвещенных современников».

Эдип в Колоне — трагедия Софокла, рассказывающая о гибели царя Эдипа, нашедшего приют в священной Роще эвменид в Колоне. *Кодр* — мифический царь Аттики, пожертвовавший собой ради независимости своего отечества. Как рассказывает легенда, оракул предсказал, что доряне не завоюют Аттики, если погибнет царь Аттики. Кодр, переодевшись дровосеком, отправился в дорийский лагерь, завязал драку и был убит. *Леонид* — спартанский царь, в 480 г. до н. э. с тремястами воинов защищавший Фермопильский проход и погибший в неравной борьбе с персидской армией Ксеркса, один из излюбленных героев античности. *Сафо* (VII—VI вв. до н. э.) — греческая поэтесса, жившая на острове Лесбос. История о том, что Сафо бросилась с Левкадской скалы из-за неразделенной любви к Фаону, принадлежит домыслу, следы которого сохранились в греческой комедии. *Орфей* — мифический певец-поэт древности. Тоскуя по своей умершей жене Эвридике, Орфей спустился в Тартар — подземное царство, где пребывают души умерших, и умилостивил пением адские силы. Они вернули ему Эвридику с условием, чтобы он ни разу не оглянулся назад дорогой из Тартара. Не слыша Эвридики за собой, Орфей обернулся — и Эвридика навсегда осталась в царстве мертвых. Выйдя из Тартара, тоскующий по Эвридике Орфей встретился с вакханками и был умерщвлен ими. *Филомела* — одна из героинь «Метаморфоз» Овидия, превращенная в соловья, поэтому метафорически соловья называли Филомелой.

П о с л а н и е к Д м и т р и е в у. Печатается по Соч. 1820, ч. I, стр. 38. Впервые — в сборнике «Мои безделки», 1794, ч. II, стр. 170. В Соч. 1820 стихотворение датировано 1793 годом неверно: судя по письму Карамзина к Дмитриеву от 18 апреля 1794 года, в котором он сообщает, что написал «эпистолу в 186 стихов» и прочтет ее при встрече, послание относится к 1794 году.

Поводом для послания послужило стихотворение Дмитриева «Стансы к Карамзину» (1793) и особенно заключительные строки:

Было время, что играли
Здесь под тенью мы густой,—
Вы цветете... мы увяли!
Дайте старости покой.

В сборнике «Аглая» 1795 года (2-е издание 1796) строки

И вижу ясно, что с Платоном
Республик нам не учредить —

повидимому, по требованию цензуры были изменены на

И вижу ясно, что с Платоном
Нам тьмы в умах не озарить.

В 1797 году Карамзин вернулся к первоначальной редакции.

Олимпийская чаша — чаша с нектаром, напитком, сохранявшим богам юность и красоту. *Платон* (427—347 до н. э.) — греческий философ-идеалист, автор одной из древнейших утопий. Взгляды на идеальное государственное устройство в условиях рабовладельческого общества изложены Платоном в трех его диалогах: «Государство», «Политик», «Законы». *Питтак* — законодатель, один из семи греческих мудрецов (650—569 до н. э.). *Фалес* (VII—VI вв. до н. э.) — греческий философ. *Зенон* (IV в. до н. э.) — греческий философ, основатель философской школы стоицизма. *Данаиды* (греч. миф.) — 50 дочерей Даная, умертвившие своих мужей в первую брачную ночь и осужденные за это в царстве теней вечно наливать воду в бездонную бочку. *Сатурн ... тигра с агнцем помирит* (лат. миф.). Сатурн, рассказывает миф, царствовал на земле во время «золотого века Астреи», то есть века счастья, мира и справедливости.

Послание к Александру Алексеевичу Плещееву. Печатается по Соч. 1820, т. I, стр. 73. Впервые — в альманахе «Аониды», 1796, стр. 17.

«Послание к Плещееву», как и «Послание к Дмитриеву», отражает настроения Карамзина, рожденные событиями Французской революции и особенно 1793 года.

А. А. Плещеев (ок. 1775—1827) — сын близких друзей Карамзина, Алексея Александровича и Анастасии Ивановны Плещеевых; литератор, член «Арзамаса» с прозвищем «Черный вран»; писал стихи, комедии, либретто опер и музыку, был близок к В. А. Жуковскому. *Фалес, Хилон, Питтак, Эпименид, Критон, Бионы, Симмии, Стильпоны, Эсхины, Эммии, Зеноны* — имеются в виду философы, ораторы и поэты древней Греции, среди которых назван Эммий — видимо, голландский историк Уббо Эммий (1547—1626). *Япетов сын* — сын титана Япета — Прометей (греч. миф.).

К ней. Печатается по Соч. 1820, т. I, стр. 81. Впервые — в альманахе «Аониды», 1796, стр. 41.

Две песни. Печатаются по Соч. 1820, т. I, стр. 82. Впервые — в альманахе «Аониды», 1796, стр. 43. Судя по связанному с «Двумя песнями» стихотворению «Приписание к г-же N», написанному в 1794 году, их можно датировать 1794 годом.

Приписание к г-же N. Печатается по Соч. 1820, т. I, стр. 85. Впервые — в альманахе «Аониды», 1796, стр. 47. Адресат не установлен.

Стихи от де Мазюра к И. И. Дмитриеву. Печатается по «Письмам Карамзина к Дмитриеву» (стр. 45—46), где

опубликовано впервые. В Соч. 1917 — не вполне точно. Письмо не датировано, но судя по упоминанию о выходе сборника «Аглая», написано в 1794 году.

Шутливые стихи написаны от имени героя комедии Детуша «Обманчивое простодушие» (N. Destouches, «La fausse Agnès», Oeuvres dramatiques, P., 1822, т. III). *Де Мазюр* — дворянин-провинциал, сочиняющий плохие стихи. Пародия Карамзина направлена против поэтов, писавших архаическим слогом. Возможно, что в ней Карамзин высмеивает Крылова и Клушина, выступавших в 1792 году в журнале «Зритель», а в 1793 году в журнале «Санкт-Петербургский Меркурий» против сентиментального направления. Карамзин справедливо принимал эти сатирические выпады на свой счет, но не вступал в полемику с крыловским содружеством.

Впоследствии архаический слог, «славянщину», взял под защиту А. С. Шишков в «Рассуждении о старом и новом слоге» (1803). Стихотворение Карамзина свидетельствует о том, что литературная распря началась задолго до выступления Шишкова.

На основании замечания Карамзина в письме от 1 июня 1791 года В. В. Виноградов предполагает, что в стихотворении пародируются язык и стиль Ф. Туманского. (См. В. В. Виноградов. Из наблюдений над языком и стилем И. И. Дмитриева. «Материалы и исследования по истории русского литературного языка», М.—Л., Изд. АН СССР, 1949, т. I, стр. 179—180).

Илья Муромец. Печатается по Соч. 1820, т. VII, стр. 140. Впервые — в сборнике «Аглая», 1795, стр. 171.

В. В. Сиповский предполагал, что замысел богатырской сказки подсказан Карамзину чулковским «Пересмешником» (М., 1766—1768) и особенно его же сборником «Русские сказки» (М., 1780—1783).

П. В. Владимиров в статье «Происхождение «Руслана и Людмилы» (Киевские университетские известия, 1895, № 6) отмечал, что отдельные сказочные мотивы поэмы — усыпление Черномором красавицы, пробуждение ее при помощи талисмана доброй волшебницы и самое имя Черномор — пришли к Пушкину из богатырской сказки Карамзина.

Каллиопа (греч. миф.) — муза красноречия и героического стихотворства. *Петь вражды Агамемноновой с храбрым правнуком Юпитера.* — По «Илиаде» Гомера во время осады Трои Агамемнон враждовал с Ахиллесом — сильнейшим из греческих героев. *Плыть от Трои разоренныя с хитрым сыном Афродитиным.* — Римский поэт Виргилий (I в. до н. э.) в поэме «Энеида» рассказал историю бегства сына Афродиты Энея, героя Троянской войны, после разорения Трои отправившегося в Италию, где он наследовал престол царя Латина.

К самому себе. Печатается по Соч. 1820, т. I, стр. 88. Впервые — в альманахе «Аониды», 1796, стр. 52.

Песня. Печатается по Соч. 1820, т. I, стр. 90. Впервые — в альманахе «Аониды», 1796, стр. 56.

Селадон — герой пасторального романа д'Юрфе (XVII в.), синоним нежного любовника.

К Мелодору. Печатается по Соч. 1820, т. I, стр. 94. Впервые — в альманахе «Аониды», 1796, стр. 73.

Война, о которой говорится в стихотворении,— война коалиции с революционной Францией.

Хлоя. Печатается по Соч. 1820, т. I, стр. 94. Впервые — в альманахе «Аониды», 1796, стр. 75.

Послание к женщинам. Печатается по Соч. 1820, т. I, стр. 101. Впервые — в альманахе «Аониды», 1796, стр. 218.

«Послание» обращено к А. И. Плещеевой, хотя оно и не адресовано прямо к ней. С А. И. Плещеевой Карамзина связывали близкие и сложные отношения. По возвращении из путешествия за границу в сентябре 1790 года Карамзин жил в Москве в семье Плещеевых до самой женитьбы в 1801 году на сестре А. И. Плещеевой — Е. И. Протасовой. В 1795 году Карамзин продал братьям свое симбирское имение за 16 тыс. рублей, чтобы помочь Плещеевым восстановить расстроенные денежные дела.

Вторая книжка сборника «Аглая» (1795) вышла с посвящением «Другу моего сердца, единственному, бесценному. Тебе, любезная, посвящаю мою Аглаю, тебе, единственному другу моего сердца! Твоя нежная, великодушная, святая дружба составляет всю цену и счастье моей жизни. Ты мой благодетельный гений, гений-хранитель! Мы живем в печальном мире; но кто имеет друга, тот пади на колени и благодари вездесущего».

Плещеевы принадлежали к кругу московских масонов. А. А. Плещеев был близким другом сентименталиста А. М. Кутузова, одного из руководителей ордена розенкрейцеров в Москве.

«Послание» интересно тем, что оно по-новому определяло значение женщины в дворянском обществе, выдвигало ее и как ценителя литературы.

Журнал «Вестник Европы» (1802) Карамзин открыл письмом к издателю, в котором писал: «нежное сердце милых красавиц находит в книгах ту чувствительность, те пылкие страсти, которых напрасно ищет оно в обожателях». Карамзин советовал писателю учиться языку в светском салоне, а вкусу у женщин.

В пору расцвета карамзинизма в русской литературе появились и первые женщины-писательницы. «В сие время,— вспоминает Д. П. Рунич,— когда не все знатные барыни и писать умели, племянница Хераскова А. П. Хвостова, подражая слогу Карамзина, написала премиленькую безделку «Камин», который лежал на всех столах гостиных и кабинетов» («Русская старина», 1896, т. 88, стр. 309). В конце XVIII и в начале XIX столетия возрос интерес к женщине как герою литературного произведения. Об этом свидетельствует случай любопытной литературной переделки. В «Журнале для пользы и удовольствия» (1805, № 5) появились стихи под названием «Мысли о юности при наступлении весны». Это стихотворение оказалось своеобразной переработкой стихотворения А. Таушева из книги «Подарок друзьям моим» (1803). В журналь-

ном варианте место героя заняла героиня, и соответственно этому был изменен текст стихотворения.

Пушкин в посвящении к «Руслану и Людмиле» (1820) отдал дань этой карамзинской традиции.

Эйлер (1707—1783) — знаменитый математик и физик, член Петербургской Академии наук.

Выбор жениха. Печатается по Соч. 1820, т. I, стр. 166. Впервые — в альманахе «Аониды», 1798—1799, стр. 93. Тема стихотворения сходна с темой повести Карамзина «Юлия».

Непостоянство. Печатается по Соч. 1820, т. I, стр. 182. Впервые — в альманахе «Аониды», 1798—1799, стр. 257.

Лилея. Печатается по Соч. 1820, т. I, стр. 95. Впервые — в альманахе «Аониды», 1796, стр. 76.

К бедному поэту. Печатается по Соч. 1820, т. I, стр. 65. Впервые — в альманахе «Аониды», 1797, стр. 35.

Лаиса — греческая гетера. Легенда называла скульптора Апеллеса в числе ее поклонников. Из зависти к ее красоте фессалийские женщины убили ее в храме Афродиты. *Ганимед* — сын царя Троя, из-за своей красоты похищенный Зевсом и ставший его виночерпием.

Отставка. Печатается по Соч. 1820, т. I, стр. 70. Впервые в 1797 — в альманахе «Аониды», стр. 43, и в сборнике «Мои безделки» (изд. 2), ч. II, стр. 129.

Аркадия — центральная часть Пелопоннеса. Авторы идиллий изображали Аркадию страной патриархальной простоты нравов, пастушеской жизни и счастья.

К неверной. Печатается по Соч. 1820, т. I, стр. 124. Впервые в 1797 — в альманахе «Аониды», стр. 247, и в сборнике «Мои безделки», ч. II, стр. 235.

«К неверной» тесно связано со стихотворением «К верной» и имеет автобиографический характер. Видимо, с целью скрыть это, в первом издании («Аониды», 1797) оба произведения были снабжены примечанием — «перевод с французского», которое в последующих изданиях Карамзин снял. 4 апреля 1799 года он писал Дмитриеву: «Я третьего году писал... стихи «К верной» давно неверной» и 15 ноября 1800 года: «с княгинею я почти расстался. Суди теперь, на какую погоду указывает барометр моего сердца!» Вероятно, оба стихотворения относятся к одному лицу, которым А. И. Лященко считал П. Ю. Гагарину (см. «Русская поэзия» под ред. С. А. Венгерова, СПб, 1901, в. VII, стр. 141).

Цирцея (греч. миф.) — богиня луны, чародейка, околдовавшая спутников Одиссея. *Армида* — один из самых поэтических женских образов в поэме «Освобожденный Иерусалим» итальянского поэта эпохи Возрождения Торквато Тассо; героиня опер Глюка и Россини.

К верной. Печатается по Соч. 1820, т. I, стр. 129. Впервые в 1797 — в альманахе «Аониды», стр. 259, и в сборнике «Мои безделки», ч. II, стр. 246. Примечание автора «Темно; можно только догадываться» осталось от публикации в «Аонидах», где был подзаголовок: «перевод с французского».

Долина Иосафатова, или Долина спокойствия. Печатается по Соч. 1820, т. I, стр. 133. Впервые — в альманахе «Аониды», 1797, стр. 277, и в том же году в сборнике «Мои безделки», ч. II, стр. 255.

Долина Иосафатова — местность в окрестностях Иерусалима, по библейской легенде — место страшного суда.

Триолет Лизете. Печатается по Соч. 1820, т. I, стр. 137. Впервые — в сборнике «Мои безделки», 1797, ч. II, стр. 262.

К Лиле. Печатается по Соч. 1820, т. I, стр. 163. Впервые — в альманахе «Аониды», 1798—1799, стр. 89.

К портрету Ломоносова. Печатается по тексту «Пантеона Российских авторов», 1801. Впервые — в альманахе «Аониды», 1797, стр. 224. В прижизненные издания сочинений не вошло.

Эпитафия. Печатается по Соч. 1820, т. I, стр. 135. Впервые — в альманахе «Аониды», 1797, стр. 93.

Любовь и дружба. Печатается по Соч. 1820, т. I, стр. 121. Впервые — в сборнике «Мои безделки», 1797, ч. II, стр. 231.

Impromptu двум молодым дамам. Печатается по Соч. 1820, т. I, стр. 140. Впервые — в сборнике «Мои безделки», 1797, ч. II, стр. 263. В Соч. 1820 стихотворение датировано 1796 годом неверно: судя по письму Карамзина к Дмитриеву от 16 ноября 1797 года, где приведено это стихотворение, его следует датировать 1797 годом.

Два сравнения. Печатается по Соч. 1820, т. I, стр. 176. Впервые — в альманахе «Аониды», 1798—1799, стр. 111. В Соч. 1820 стихи датированы 1796 годом, но судя по письму Карамзина к Дмитриеву от 31 декабря 1797 года, двустишие (названное в рукописи «Эпиграмма на жизнь») датируется 1797 годом.

Исправление. Печатается по Соч. 1820, т. I, стр. 180. Впервые — в альманахе «Аониды», 1798—1799, стр. 253.

Тацит. Печатается по Соч. 1820, т. I, стр. 184. Впервые — в альманахе «Аониды», 1798—1799, стр. 260.

Примерно ко времени написания стихотворения относится начало занятий Карамзина историей.

Тацит — латинский историк (I—II вв.); в своих сочинениях изобразил нравственное падение современного ему римского общества.

К Шекспирову подражателю. Печатается по Соч. 1820, т. I, стр. 185. Впервые — в альманахе «Аониды», 1798—1799, стр. 262.

Через десять лет после издания своего юношеского перевода «Юлий Цезарь» Карамзин продолжал ревниво относиться к Шекспиру. В XVIII веке представители русского классицизма приспосабливали Шекспира к канонам классицистической драматургии и, в частности, к трем единствам. Так поступил с «Гамлетом» А. Сумароков, издавший свой перевод в стихах в 1748 году. Екатерина II в заглавии к переделанным ею «Виндзорским кумушкам» писала: «Вольное, но слабое подражание Шекспиру». Первые опыты в области создания русской исторической драмы в XVIII веке были отчасти связаны с Шекспиром, показавшим путь к театру, освобожденному от трех единств. Карамзин писал в предисловии к переводу «Юлия Цезаря», что пьесы Шекспира, в которых не соблюдены театральные правила, подобны театру натуры и «не требуют исправления от нынешних театральных писателей». В 1794 году перевод «Юлия Цезаря» Карамзина был вместе с масонскими и разными другими книгами новиковской Типографической компании сожжен А. Прозоровским, усмотревшим в переводе республиканские идеи.

Страсти и бесстрастие. Печатается по Соч. 1820, т. I, стр. 122. Впервые — в сборнике «Мои безделки», 1797, ч. II, стр. 232. В Соч. 1820 стихотворение датировано 1795 годом ошибочно: судя по письму Карамзина к Дмитриеву от 16 ноября 1797 года, в котором приведено это стихотворение, его следует датировать 1797 годом.

Надпись к дамской табакерке. Печатается по Соч. 1820, т. I, стр. 141. Впервые — в сборнике «Мои безделки», 1797, ч. II, стр. 264. В Соч. 1820 стихи датированы 1795 годом неверно: на основании письма Карамзина к Дмитриеву от 16 ноября 1797 года, где приведено это двустишие, его следует датировать 1797 годом.

Алина. Из «Писем русского путешественника». Печатается по Соч. 1820, т. V, стр. 104. Стихотворение «Алина» включено в письмо, датированное: «Париж, июня... 1790».

Впервые было опубликовано в шестой части «Писем русского путешественника», которая по причинам цензурного характера вышла из печати только в 1801 году. В. В. Сиповский в книге «Карамзин — автор «Писем русского путешественника» (СПб, 1899, стр. 165—166) предполагал, что стихотворение не могло быть написано в 1790 году, так как в нем присутствуют автобиографические мотивы, относящиеся к жизни Карамзина 1797—1800 годов. В шестой части «Писем» рассказывается о Французской революции; естественно, что эта часть подвергалась переработке и в окончательной редакции выражала не столько взгляды русского путешественника, сколько взгляды будущего историографа. В связи с переработкой, вероятно, исключался и добавлялся текст; в последней части «Писем» и появилось стихотворение «Алина», которое мы

датируем, согласно предположению В. В. Сиповского, 1797—1800 годами.

Стихотворению предшествует в «Письмах» следующий связанный с ним текст: «Вчера целых пять часов провел я у госпожи Н*, и не скучно... Говорили о чувствительности. Барон утверждал, что привязанность мужчин бывает гораздо сильнее и надежнее; что женщины более плачут, а мы чаще умираем от любви. Хозяйка утверждала противное и милым голосом, с нежным и томным видом своим рассказала нам печальный лионский анекдот. Все были тронуты; я не менее других. Госпожа Н* оборотилась ко мне и спросила: «Сочиняете ли вы стихи?» — Для тех, которые любят меня,— отвечал я.— «Вот вам материя. Дайте мне слово описать это приключение в русских стихах».— Охотно; но позвольте немного украсить.— «Нимало. Скажите только, что от меня слышали».— Это слишком просто.— «Истина не требует украшений».— По крайней мере в рассказ можно вместить некоторые мысли, нравственные истины.— «Дозволяю. Сдержите же слово».— Я сдержал его и написал следующее...».

Надписи на статую Купидона. Печатается по Соч. 1820, т. I, стр. 174. Впервые — в альманахе «Аониды», 1798—1799, стр. 104. В Соч. 1820 стихи датированы 1796 годом неверно: на основании письма Карамзина к Дмитриеву от 18 августа 1798 года их следует датировать этим годом.

Протей, или Несогласия стихотворца. Печатается по Соч. 1820, т. I, стр. 190. Впервые — в альманахе «Аониды», 1798—1799, стр. 325.

В «Протее» Карамзин развивает свой взгляд на творчество и дело поэта. *Протей* — в древнегреческой мифологии бог, которому приписывался дар прорицания и способность менять свой облик.

В сей хижине живет питомец Эпиктета — то есть последователь философской школы стоицизма, проповедывавшей отречение от суеты жизни ради духовного самоусовершенствования. В I в. до н. э. наиболее известным представителем этого учения в Риме был Эпиктет.

Пророчество на 1799 год, найденное в бумагах Нострадамуса. Печатается по Соч. 1917, т. I, стр. 249. Впервые — в «Письмах Карамзина к Дмитриеву», стр. 108, с пропуском слова в последней строке. Название дополнено по рукописи.

В письме, где приведено стихотворение, сказано: «Вот что... пришлось на заданные тобою рифмы».

Нострадамус (1503—1566) — французский астролог. *Эвмениды* (фурии, эринннии) — богини мести. *Пиндар* — греческий лирик (V—IV в. до н. э.), поэт высокой, торжественной одической поэзии; его оды исполнялись хорами на греческих национальных играх.

Вопросы и ответы. Печатается по Соч. 1820, т. I, стр. 177. Впервые — в альманахе «Аониды», 1798—1799, стр. 113.

Меланхолия. Печатается по Соч. 1820, т. I, стр. 214. Впервые — в журнале «Вестник Европы», 1802, ч. I, № 1, стр. 53. «Ме-

ланхолия» — вольное переложение отрывка из третьей песни поэмы Делиля «Воображение» (J. Delille. «L'Imagination», Oeuvres complètes, 1817, т. 4, стр. 68—69).

Куплеты. Печатается по Соч. 1820, т. I, стр. 186. Впервые — в «Вестнике Европы», 1803, ч. XII, стр. 246. В Соч. 1820 куплеты датированы 1798 годом неверно: на основании письма Карамзина к Дмитриеву от 20 июня 1800 года их следует датировать 1800 годом.

Карамзин сочинил, как он пишет в письме, «маленькую драматическую сельскую пьесу» для спектакля в имении Марфино, принадлежавшем гр. И. П. Салтыкову. Ф. Ф. Вигель в «Воспоминаниях» (СПб, 1866, т. I, стр. 194—195) писал об этом спектакле: «Всего примечательнее была пьеса, интермедия, пролог или маленький русский водевиль под названием «Только для Марфина», сочинения Карамзина. Содержание, сколько могу припомнить, довольно обыкновенное: деревенская любовь, соперничество, злые люди, которые препятствуют союзу любовников, и нетерпеливо ожидаемый приезд из армии доброго господина, графа Петра Семеновича, который их соединяет, потом великая радость, песни и куплеты оканчивают пьесу... Сам Карамзин приехал накануне представления, учил нас и даже сам играл с нами графа Петра Семеновича Салтыкова...».

Гимн глупцам. Печатается по Соч. 1820, т. I, стр. 216. Впервые — в «Вестнике Европы», 1802, ч. II, № 5, стр. 59, за подписью Ф.

С умом все люди — Гераклиты.— Гераклит Эфесский (VI в. до н. э.) — один из основоположников диалектики и материализма в древнегреческой философии, взгляды которого использовали скептики. *Глупцы же сердцем Демокриты.*— Демокрит — греческий философ (IV—III в. до н. э.), основатель атомизма. Современники называли его смеющимся философом.

К Эмилии. Печатается по Соч. 1820, т. I, стр. 226. Впервые — в «Вестнике Европы», 1802, ч. I, № 3, стр. 61.

В «Вестнике Европы» стихотворение в подзаголовке сопровождалось следующим обращением: «Издатель Вестника одолжит меня, напечатав стихи мужа моего. Они для меня хороши; а может быть, понравятся и другим женщинам, которые счастливы любовью мужей своих.— Эмилия».

Стихотворение посвящено первой жене Карамзина Е. И. Протасовой, умершей в 1802 году.

Берег. Печатается по Соч. 1820, т. I, стр. 229. Впервые — в «Вестнике Европы», 1802, ч. V, № 19, стр. 186. Датируется по первой публикации; в Соч. 1820 датировано 1803 годом ошибочно.

К Добродетели. Печатается по Соч. 1820, т. I, стр. 230. Впервые — в «Вестнике Европы», 1802, ч. VI, № 23, стр. 206, за подписью О. О. В Соч. 1820 датировано 1803 годом ошибочно: год рождения дочери Карамзина (1802) и публикация в 1802 году позволяют датировать стихотворение этим годом.

Песнь воинов. Печатается по Соч. 1820, т. I, стр. 238. Впервые — в Соч. 1814, т. I, стр. 306.

В стихотворении говорится о войне России и Австрии против Наполеона, начавшейся в 1806 году.

В тетради литературных выписок декабриста А. А. Бестужева имеется следующий отрывок из данного стихотворения:

Нет, нет! у нас святое знамя,
В руках железо, в сердце пламя:
Еще судьба не решена!

(ГПБ им. Салтыкова-Щедрина. Собрание автографов, к. № 2, дело № 68 — бумаги А. А. Бестужева).

Стихи к портрету И. И. Дмитриева. Впервые напечатано в «Памятнике отечественных муз», 1827, стр. 3. Судя по письму к А. И. Тургеневу от 20 октября 1815 года, Карамзин написал первое четверостишие, повидимому, в 1810 году, а двустишие — в 1815 году, после выхода Дмитриева в отставку (см. «Русская старина», 1899, № 2, стр. 469).

Тень и предмет. Впервые напечатано в альманахе «Листки граций», 1829, стр. 17. Стихи приведены в письме Карамзина к Дмитриеву от 2 января 1822 года. Название дано Карамзиным при записи двустишия в альбом пианистки Шимановской в 1823 году.

Стихотворение, приписываемое Н. М. Карамзину: Сильфида. Впервые напечатано в «Письмах Карамзина к Дмитриеву», стр. 24. Карамзин писал 18 ноября 1791 года: «На что тебе Сильфида? Если не ошибаюсь, то мы таким образом певали ее в Петербурге: «Плавай, Сильфида, в весеннем эфире!» и т. д. А. И. Лященко и В. В. Сиповский справедливо приписывали это стихотворение Карамзину.

Оркус — царство мертвых (греч. миф.). *Псиша* — Психея, в античной литературе — синоним души и бабочки.

И. И. ДМИТРИЕВ

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Стихотворения И. И. Дмитриева напечатаны в восьми изданиях: 1) в 1795 году — «И мои безделки»; 2) в 1803—1805 гг.; 3) в 1810 году; 4) в 1814 году; 5) в 1818 году; 6) в 1823 году, с предисловием П. А. Вяземского; 7) в 1893 году в двух томах: т. I — стихотворения, т. II — «Взгляд на мою жизнь» и письма (переиздано в 1895 году) под редакцией А. А. Флоридова; 8) в 1936 году в малой серии «Библиотеки поэта» — избранные стихотворения Дмитриева в сборнике «Карамзин и поэты его круга».[1]

Наиболее полное — собрание под редакцией А. А. Флоридова. Стихотворения в нем расположены в двух разделах: в первом — басни и сказки, во втором — все остальные стихотворения. Издание оставляет впечатление хаотичности из-за разнородности хронологически расположенных произведений во втором разделе; в нем много погрешностей в текстах.

В рукописном отделении Гос. Публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде хранится рукопись в сафьяновом переплете, форматом в лист, избранных стихотворений Дмитриева, записанных его рукой. На первом листе рукописи надпись рукою автора: «В знак памяти завещаю почтенному Николаю Дмитриевичу И. Писареву. 1824, марта 6». На последнем листе после оглавления приписка писателя-карамзиниста Н. Иванчина-Писарева: «Вся книга писана рукою знаменитого автора и после напечатания шестого издания его сочинений подарена мне. Николай Иванчин-Писарев». Шифр рукописи — F. XIV, № 51.

Рукопись открывается следующим предисловием, вошедшим в изд. 1823:

«От автора

Почти все мои стихотворения писаны в продолжение моей гвардейской службы, между строев и караулов, или в коротком

---

[1] Кроме того, при жизни Дмитриева вышли в свет в 1796 году «Басни и сказки», в 1810 году «Басни», а в 1826 году — «Апологи в четверостишиях».

промежутке свободы между первою отставкою из гражданской службы и вступлением опять в оную.

Тогда еще не было таких благоприятных случаев к соревнованию, какими пользуются нынешние поэты и прозаисты: сочинений наших не читывали в собраниях ученых обществ, в присутствии вельмож, ученых, многочисленных слушателей обоего пола. Я несколько лет писал стихи, печатал их в журналах и не знал, как об них судят, и не был знаком ни с одним поэтом, пока не приобрел, уже в зрелой молодости, приязни незабвенного Державина и не утвердил дружбы с Карамзиным. С того только времени я почувствовал, что такое талант и авторское искусство.

Приступая в старости лет к новому изданию стихов моих, я мог думать, что оно будет последним при моей жизни. Эта мысль решила меня перечитать все мною изданное с возможным хладнокровием, потом многое исключить из нового издания, в том числе и девятнадцать басен. Из прочих же стихов старался некоторые, сколько умел, исправить, и, таким образом, прежние три тома приведены в два томика.

Знаю, что в стихотворениях моих найдутся и теперь многие недостатки. По крайней мере читатели не похулят меня за то, что я избавил их от лишнего убытка и лишней скуки».

Содержание рукописи следующее:

Часть первая

Лирические стихотворения

Глас патриота
На случай монаршей милости, оказанной императором Павлом потомству Ломоносова
Песнь на день коронования императора Александра
Гимн богу
Размышление по случаю грома
Преложение 49 псалма
Вольный перевод Горациевой оды Odi propanum
К Волге
Ермак

Смесь

К Гавриилу Романовичу Державину, по случаю кончины первой его супруги
К графу Николаю Петровичу Румянцову
Стансы к Н. М. Карамзину
К Анне Григорьевне Севериной
К... на вызов ее написать стихи
К Федору Михайловичу Дубянскому

Песни

«Стонет сизый голубочек»
«Видел славный я дворец»
«Что с тобою, ангел, стало?»
«Пой, скачи, кружись, Параша»
«Все ли, милая пастушка»
«Ах! когда б я прежде знала»
«Всех цветочков боле»

Путешествие
Старинная любовь, баллада
Горлица и прохожий
Людмила, идиллия
Элегия, подражание Тибуллу
Мадригалы, надписи и эпитафии
Амур и Дружба
Трисотин и Вадиус
Филемон и Бавкида, вольный перевод из Лафонтена
К друзьям моим, по случаю вторичной моей отставки

Часть вторая

Сказки

Воспитание Льва
Искатели Фортуны
Калиф
Картина

Воздушные башни
Модная жена
Причудница

Басни

Дуб и Трость
Петух, Кот и Мышонок
Мышь, удалившаяся от света
Чижик и Зяблица
Лиса-проповедница
Ласточка и птички
Часовая стрелка
Человек и Конь
Лебедь и Гагары
Ружье и Заяц
Орел, Кит, Уж и Устрица
Каретные лошади
Два голубя
Орел и Змея
Змея и Пиявица
Мудрец и Поселянин
Воробей и Зяблица
История
Прохожий
Муха
Два друга
Дон-Кишот
Совесть
Придворный и Протей
Слепец и расслабленный
Отец с сыном
Суп из костей
Пчела и Муха
Слон и Мышь
Бык и Корова
Бобр, Кабан и Горностай
Кот, Ласточка и Кролик
Жаворонок с детьми и Земледелец
Верблюд и Носорог
Рысь и Крот
Истукан и Лиса
Желания
Сверчки
Осел и Кабан
Летучая рыба
Три путешественника
Орел и Каплун
Магнит и Железо
Старик и трое молодых
Лев и Комар
Царь и два пастуха
Смерть и умирающий

Эта рукопись служила оригиналом для издания 1823 года. При сличении издания с рукописью выясняется, что Дмитриев сначала решил не публиковать в своих избранных сочинениях сатир и ряд других стихотворений: в рукописи они отсутствуют. Повидимому, только настоянием П. А. Вяземского можно объяснить, что в издании 1823 года появился отдел «Сатирические стихотворения», в котором были напечатаны: «Сокращенный перевод Ювеналовой сатиры о благородстве», «Послание от английского стихотворца Попа к доктору Арбутноту», «Чужой толк». Кроме того, в разделы «Лирические стихотворения» и «Смесь» были включены: «Освобождение Москвы», «К Г. Р. Державину» («Бард безымянный...»), «Послание к Н. М. Карамзину» («Не скоро ты, мой друг...»).

В остальном рукопись и тексты издания 1823 года отличаются расположением стихотворений в первом отделе и незначительными исправлениями текста.

А. А. Флоридов не пользовался рукописью, это видно хотя бы из того, что он сохранил неточности и ошибки издания 1823 года.

Первая мысль издателя, нашедшего рукопись, подобную подготовленной Дмитриевым для собрания 1823 года,— исходить из последней воли поэта, издать сборник произведений, записанных рукою автора точно в том виде и в той последовательности, в какой их собирался публиковать сам поэт. Однако при дальнейшей работе над текстами пришлось отказаться от первоначального намерения. Дело в том, что автор подошел к своим произведениям,

подготовляя их для последнего издания, столь аскетично и сурово, что руководствоваться его отбором не смог даже П. А. Вяземский, несомненно уважавший волю поэта. Сатиру, шутку, любовную лирику Дмитриев пропускал сквозь такое частое сито, что издание 1823 года, несмотря на дополнения Вяземского, приходится признать наименее отражающим творчество Дмитриева в пору его расцвета. 4 февраля 1824 года Карамзин писал Дмитриеву по поводу издания 1823 года: «Я перечитывал твои стихи с новым удовольствием, вспоминая время, когда что было писано и где в первый раз напечатано. Жаль, что ты много хорошего отбросил: это, право, излишняя строгость».

Вот почему при отборе стихотворений для настоящего избранного собрания пришлось обратиться и к не вошедшим в издание 1823 года произведениям Дмитриева.

Из рукописей Дмитриева следует отметить 25 листов автографов стихотворных текстов, хранящихся в Архиве Пушкинского дома Академии наук СССР (Собрание Яковлева, шифр Ф. 357, Оп. 2, № 115). Среди них — автографы некоторых известных его песен, басни «Дуб и Трость» и др., кроме того, непубликовавшиеся неоконченные сатирические стихи «Наследники» (повидимому, ранние), «Приятный пол твердит: без сердца скучен свет», тексты лирических стихотворений (часть из них, вероятно, принадлежит Дмитриеву), а также стихи других поэтов, переписанные рукою Дмитриева.

Настоящий сборник в основе воспроизводит тексты издания 1823 года с исправлениями, которые при сверке были подсказаны рукописью и предыдущими изданиями.

Произведения, не вошедшие в издание 1823 года, печатаются по текстам последних прижизненных изданий и посмертных публикаций.

Стихотворения расположены согласно принятому Дмитриевым обычаю — по жанрам, внутри разделов — хронологически.

Тексты настоящего издания сверены со всеми прижизненными публикациями поэта впервые.

Ввиду отсутствия места мы не смогли показать в примечаниях всех вариантов текста от издания к изданию и приводим лишь некоторые.

Датируются стихотворения главным образом на основании упоминаний в «Письмах Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву» (СПб, 1866) и в записках Дмитриева «Взгляд на мою жизнь».

Все примечания под стихотворениями принадлежат автору.

Составитель стремился приблизить тексты И. И. Дмитриева к современным нормам орфографии и пунктуации.

СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В ПРИМЕЧАНИЯХ

«Аониды» (с годом издания)	Аониды, или Собрание разных новых стихотворений. Москва, в Университетской типографии. Книжка I, 1796; книжка II, 1797; книжка III, 1798—1799. <Стихотворный альманах, составленный Н. М. Карамзиным.>

«Басни и сказки»	Басни и сказки И<вана> Д<митриева>. СПб, в типографии Государственной медицинской коллегии, 1798.
«И мои безделки»	И мои безделки. Москва, в Университетской типографии, у Ридигера и Клаудия, 1795. <Сборник стихотворений И. И. Дмитриева.>
Изд. 1803—1805	Сочинения и переводы И<вана> Д<митриева>. Москва, в типографии Платона Бекетова. Часть I, 1803; часть II, 1803; часть III, 1805.
Изд. 1810	Сочинения Дмитриева. Издание третье. Москва, в Университетской типографии, 1810. Части I, II и III.
Изд. 1814	Сочинения И. И. Дмитриева. Издание четвертое. Москва, в типографии С. Селивановского, 1814. Части I, II и III.
Изд. 1818	Сочинения И. И. Дмитриева. Издание пятое, исправленное и умноженное. Москва, в Университетской типографии, 1818. Части I, II и III.
Изд. 1823	Стихотворения Ивана Ивановича Дмитриева. Издание шестое, исправленное и уменьшенное. СПб, в типографии Н. Греча, 1823. Части I и II <с «Известием о жизни и стихотворениях Ивана Ивановича Дмитриева» П. А. Вяземского>.
«Карманный песенник»	Карманный песенник, или Собрание лучших светских и простонародных песен. Москва, в вольной типографии Пономарева, 1796. Части I, II и III. <Составлен И. И. Дмитриевым.>
Соч. 1893	Сочинения Ивана Ивановича Дмитриева. Редакция и примечания А. А. Флоридова. СПб, издание Евг. Евдокимова, 1893. Том I — Стихотворения; том II — Проза. Письма. <Переиздано СПб, 1895.>

ПРИМЕЧАНИЯ К СТИХОТВОРЕНИЯМ

САТИРЫ

Картина. Печатается по изд. 1823, ч. II, стр. 19. Впервые — в «Московском журнале», 1792, ч. VIII, стр. 5. Текст первоиздания значительно отличается от окончательной редакции.

В «Московском журнале» сатира начиналась строками:

В часы, исполненны толикия отрады
Для страстныя четы и для сынов Паллады,
В священны сумерки, безмолвьем огражден,
Козлова ученик сидел уединен
Между полубогов, веками истребленных,
Но духом творческим Пиктуры оживленных,—
Сидел и Гения, благоговея, ждал.—
Вдруг с громом отперлась дверь с ручкою тугою,
И вместо Гения князь Ветров шарк ногою.
«Слуга покорнейший! Я, едучи на бал,
Заехал по пути за собственным к вам делом. . .»

Приводим наиболее интересные отрывки стихотворения, впоследствии отброшенные автором. После строки «Что день, то новый дар в возлюбленной княгине» в «Московском журнале» было:

И *чок* да *чок* ее при всех и наедине.
Как горлик с горлицей, так князь с своей женой. . .
Ах, дедушка! грешно хвалиться стариной!
Взгляните на сего счастливого супруга;
Взгляните, бабушка, как нежная подруга
Все пальчики его целует каждый час —
Познайте ж, как теперь милуются у нас;
    Познайте оба, и вздохните,
    И более наш век,
    Прошу вас, не браните!

Эти строки с измененной первой строкой вошли в редакцию стихотворения, напечатанную в сборнике «И мои безделки», и исключены начиная с издания сборника «Басни и Сказки».

В «Московском журнале» после строки «Какой огонь, какое чувство!» читаем:

Какая живость, тень и свет!
Ах! это точно князь идет;
Лишь буколь столь огромных нет...
А это сущая княгиня!
Она, иль Пафская богиня,
Взяв *Душенькин* смиренный вид,
С стыдливой нежностью глядит...
Вот вкруг ее и резвы смехи!
Вот крошечки утехи!
Вот и Амур, Амур точь-в-точь!

Беги, невинность, прочь;
Беги его лукава взгляда!..
Иль нет! оставь свой страх пустой:
Его ль бояться сладка яда? —
Художник, рамой золотой
С большими бусами одев свою картину,
Принес ее с учеником
На княжескую половину.

Приведенный текст частично был сохранен в сборнике «И мои безделки» и исключен начиная с издания сборника «Басни и Сказки».

Дмитриев работал над текстом «Картины» до последнего издания; печатал ее в разделе сказок.

Козлов Гавриил Игнатьевич (1738—1791) — исторический живописец и портретист XVIII в. *Апелл* — Апеллес (IV в. до н. э.), знаменитый греческий художник.

Модная жена. Печатается по изд. 1823, ч. II, стр. 32. Впервые — в «Московском журнале», 1792, ч. V, стр. 157. Во всех изданиях Дмитриев печатал сатиру в разделе сказок. «Модная жена» не подвергалась значительным переделкам. Работа над текстом сводилась к замене отдельных строк и слов, главным образом до изд. 1803—1805, где в основном определилась окончательная редакция.

Белинский в восьмой статье о «Сочинениях Александра Пушкина» писал: «Если из сочинений Пушкина хоть одно может иметь что-нибудь общего с прекрасною и остроумною сказкою Дмитриева, так это, как мы уже и заметили в последней статье, *Граф Нулин;* но и тут сходство заключается совсем не в поэтическом достоинстве обоих произведений». Белинский имеет в виду в данном случае традицию шутливой поэмы в русской поэзии.

Цитерская сторона — страна любви. *Лукреция* — римская матрона VI в. до н. э. Оскорбленная сыном тирана Тарквиния, Лукреция покончила с собой. Ее именем обозначали безукоризненно верную и добродетельную жену.

Чужой толк. Печатается по изд. 1823, ч. I, стр. 80. Впервые — в сборнике «И мои безделки», стр. 177. Окончательный текст в основном определился в изд. 1803—1805. В сборнике «И мои безделки» после строки «Затем, что в хлопотах досуга не имеет» было:

Лишь только палец в лоб, как разом барабан
Ударит сбор, и наш поэт — ведь капитан
Страшнее, нежель Феб,— свою отброся лиру,
К ружью, и ну бежать к сурову командиру!
Другому средь его восторгов бряк приказ,
Чтоб вымести, прибрать все комнаты тотчас;
Тому: чтоб в тот же миг прямейшим самым трактом,
Хотя б на гривенном, лететь с своим экстрактом;
Иному ж: только мысль счастливая придет,
Внезапу пять часов в Адмиралтействе бьет!
Пора в театр, а там на бал, а там к Лиону...

Начиная с изд. 1803—1805 эти строки, за исключением перередактированных трех последних, были выпущены.

Флакк Квинт Гораций (I в. до н. э.) — римский поэт эпохи императора Августа. *Рамлер* (1725—1798) — немецкий поэт, прозванный «немецким Горацием», переводчик греческих и латинских авторов. *Аристарх* (II в. до н. э.) — греческий грамматик и критик, синоним строгого и справедливого критика. *«Меркурий» наш и «Зритель»* — журналы «Санкт-Петербургский Меркурий» (1793) и «Зритель» (1792), издававшиеся И. А. Крыловым и А. И. Клушиным, занимавшие враждебную позицию по отношению к «Московскому журналу» и его редактору Карамзину. *Рымникский Алкид* — Суворов Александр Васильевич (1730—1800), граф Рымникский, в 1794 году он был направлен с войсками в Польшу. *Ферзен* Иван Евстафьевич (1747—1799) — русский генерал. *Румянцев* Петр Александрович (1725—1796) — фельдмаршал. *Грейг С. К.* (1736—1808) и *Орлов А. Г.* (1737—1808) командовали флотом во время Чесменского морского боя, в этом бою турецкий флот был сожжен. *Марсий* (миф.) — силен, вызвавший Аполлона на музыкальное состязание флейты против кифары. Аполлон-победитель повесил его на сосне и содрал с него кожу.

«Обманывать и льстить...». Печатается по тексту «Карманного песенника», стр. 125, где опубликована впервые. В собрания сочинений при жизни автора не включалась. М. Н. Лонгинов напечатал в «Русском архиве», 1867, ст. 989, эти стихи как неизданные. Текст «Русского архива» не совпадает в ряде строф с текстом «Карманного песенника». Приводим строфы из текста, опубликованного в «Русском архиве»:

Строфа 5 и 6:

Полковник в двадцать лет
Подпорой нашей славы;
А ротмистр — дряхл и сед!
О времена! о нравы!

Судьи кривят иль спят;
На злобу нет управы;
Друг друга все едят!
О времена! о нравы!

Строфа 2 нашего текста в «Русском архиве» отсутствует. А. А. Флоридов напечатал сатиру по тексту «Русского архива».

Песня перекликается с «Рондо» С. Тучкова («О времена! О нравы!»), напечатанным в журнале «Беседующий гражданин», СПб, 1789, ч. III, стр. 305.

Путешествие N. N. в Париж и Лондон. Выпущено отдельной книжкой в Москве в 1808 году в 50 экземплярах, предназначавшихся для друзей Дмитриева, ныне библиографическая редкость. Вся книга перепечатана М. Н. Лонгиновым в «Современнике» (1856, т. 58, стр. 141) и Б. Садовским в приложении

к изданию поэмы В. Л. Пушкина «Опасный сосед» (Москва, 1918). Печатается по первоизданию.

При жизни Дмитриева «Путешествие» не переиздавалось. Оно рассказывает о поездке В. Л. Пушкина в Европу в 1803 году.

В рукописях А. С. Пушкина сохранилась об этой книге заметка 1836 года, в ней Пушкин писал: «Эта книжка никогда не была в продаже Несколько экземпляров розданы были приятелям автора, от которого имел я счастие получить и свой (чуть ли не последний). Я храню его как памятник благосклонности, для меня драгоценной...

Пут<ешествие> есть веселая, незлобная шутка над одним из приятелей автора; покойный В. Л. П<ушкин> отправлялся в Париж, и его младенческий восторг подал повод к сочинению маленькой поэмы, в которой с удивительной точностью изображен весь В.<асилий> Л.<ьвович>. Это образец игривой легкости и шутки живой и [незлоб<ной>]». И дальше, защищая легкую шутливую поэзию от нападок, повидимому, сторонников романтизма, Пушкин набросал план небольшой статьи по этому вопросу. «Благоговею перед созданием Фауста, но люблю и эпиграммы etc», — полемически писал Пушкин.

«Виноват: я бы отдал все, что было писано у нас в подражание л<орду> Бай<рону>, за следующие незадумчивые и невосторженные стихи, в которых поэт заставляет героя своего восклицать друзьям:

<«Друзья! Сестрицы! я в Париже!
Я начал жить, а не дышать!»> etc.

Есть люди, которые не признают иной поэзии, кроме страстной или выспренней...» (Соч., изд. АН СССР, т. 12, стр. 93).

Строка «На стычку Питта с Шериданом» (вместо публиковавшегося прежде «Фокса с Шериданом») печатается согласно исправлению Дмитриева в письме к Вяземскому от 13 ноября 1836 года («Письма И. И. Дмитриева к князю П. А. Вяземскому, 1810—1836 гг.», СПб, 1898, стр. 76).

Будочник. Впервые напечатано в «Русском архиве», 1867, ст. 990, в сообщении М. Н. Лонгинова «Неизданные шуточные стихотворения И. И. Дмитриева» и публикуется по этому тексту. Датируется на основании сообщения о рукописи в журнале.

План трагедии с хорами. Впервые напечатано в изд. 1810, ч. I, стр. 73 (раздел «Сатиры»). Текст не менялся. В изд. 1823 не вошло. Пародия на трагедии классицизма. В 1809 году в Петербурге шла трагедия Александра Грузинцева «Электра и Орест», соединявшая мотивы Софокла и Вольтера. В это же время была опубликована «Андромаха» Расина в стихотворном переводе Д. И. Хвостова. Вероятно, сатира Дмитриева направлена против трагедий, появившихся тогда в театре и печати. По словам Вяземского, Дмитриев отрицательно относился к жанру трагедии (См. Соч. П. А. Вяземского, 1882, т. VII, стр. 162).

ПЕСНИ

«Стонет сизый голубочек...» Печатается по изд. 1823, ч. I, стр. 110. Впервые — в «Московском журнале», 1792, ч. VI, стр. 217, под названием «Сизый голубочек». До изд. 1810 последняя строка читалась: «Уж не встанет милый друг».

«Ах! когда б я прежде знала...» Печатается по изд. 1823, ч. I, стр. 117. Впервые — в «Московском журнале», 1792, ч. VII, стр. 275, под названием «Бабушкина песня». Окончательная редакция определилась в сборнике «И мои безделки», стр. 204, где песня имела название «Старинная песня».

«Тише, ласточка болтлива!..» Печатается по изд. 1818, ч. II, стр. 20. Впервые — в «Московском журнале», 1792, ч. VIII, стр. 210, под названием «Песня». В изд. 1823 не вошла.

«Без друга и без милой...» Печатается по изд. 1818, ч. II, стр. 18. Впервые — в сборнике «И мои безделки», стр. 131, под названием «Разлука». В изд. 1823 не вошла. В первоиздании и «Карманном песеннике» в последней строфе были разночтения. Окончательная редакция определилась в изд. 1803—1805.

«Видел славный я дворец...» Печатается по изд. 1823, ч. I, стр. 112. Впервые — в журнале «Приятное и полезное препровождение времени», 1794, ч. I, стр. 299. Окончательная редакция определилась в изд. 1803—1805. В журнале песня печаталась со следующим примечанием от издателя: «Вот и оригинал той песни, которой многие подражали! Любезный сочинитель хочет остаться неизвестным; но его знают!» В сборнике «И мои безделки» и в «Карманном песеннике» отсутствует 4-я строфа «Царь один веселий час...» С изд. 1803—1805 строфа была восстановлена. Интересно и другое разночтение: строка первой редакции «И к селу мой путь направил» в сборнике «И мои безделки» изменена на «И к себе мой путь направил», с 1803 года — «И в шалаш мой путь направил». Уходить из дворца в село показалось бестактностью, пасторальный шалаш — поэтически условный — помог выйти из этого затруднения.

«Пой, скачи, кружись, Параша!» Печатается по изд. 1823, ч. I, стр. 115. Впервые — в сборнике «И мои безделки», стр. 221, с названием «На цыганскую пляску». Во всех последующих изданиях печаталась без названия. Разночтение с первоизданием в одном слове.

«Всех цветочков боле...» Печатается по изд. 1823, ч. I, стр. 119. Впервые — в сборнике «И мои безделки», стр. 202, под названием «К Хлое». В «Карманный песенник» включена как песня. В изд. 1803—1805 печаталась как стихотворение с прежним названием. В изд. 1810 — без названия в цикле песен. Текст не менялся.

«Други! время скоротечно...» Печатается по изд. 1818, ч. II, стр. 16. Впервые — в сборнике «И мои безделки», стр. 164, с названием «Похвала араку». Начиная с изд. 1803—1805 печаталась в цикле песен без названия. В изд. 1823 не вошла.

«Куда мне, сердце страстно...» Впервые напечатана в сборнике «И мои безделки», стр. 233, в цикле песен. Текст не менялся. В изд. 1823 не вошла.

«Что с тобою, ангел, стало?..» Печатается по изд. 1823, ч. I, стр. 114. Впервые — в «Карманном песеннике», стр. 39. В альманахе «Аониды», 1798—1799, стр. 217, имела название «Песня для двух голосов» и в конце строфу:

Оба

О любовь! приятна мука!
Сколь твоя чудесна власть!
Ни холодность, ни разлука,
Никакая в свете страсть
В нас тебя не истребляет;
Бедно сердце все щемит,
Тает, тлеет, изнывает —
Нет надежды, а горит!

В первоиздании и всех последующих после «Аонид» изданиях — без названия и приведенной последней строфы. До изд. 1803 — 1805 — незначительные разночтения.

«Все ли, милая пастушка...» Впервые напечатана в изд. 1803—1805, ч. III, стр. 63. Текст не менялся.

ЛИРИЧЕСКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОСЛАНИЯ

Отъезд. Печатается по изд. 1818, ч. II, стр. 47. Впервые — в «Московском журнале», 1792, ч. VII, стр. 8. Разночтения незначительные. Окончательная редакция определилась в изд. 1803—1805. В изд. 1823 не вошло.

В стихотворении говорится об отъезде Дмитриева в действующую армию в Финляндию в 1788 году во время шведской кампании, в которой он участвовал в чине подпоручика Семеновского лейб-гвардии полка. Карамзин в письме от 2 июля 1788 года шутливо писал Дмитриеву: «Может быть, потомки наши будут читать поэму под заглавием *Шведская война,* в которой ты, конечно, будешь играть не последнюю ролю...»

Счет поцелуев. Печатается по изд. 1818, ч. II, стр. 6. Впервые — в «Московском журнале», 1791, ч. I, стр. 148. Разночтения главным образом с «Московским журналом» и сборником «И мои безделки». В изд. 1823 не вошло.

Я («Умен ли я...»). Печатается по тексту «Московского журнала», 1791, ч. I, стр. 280, где опубликовано впервые. В последующие издания при жизни автора не включалось.

Прохожий и Горлица. Впервые напечатано в «Московском журнале», 1791, ч. IV, стр. 10, под названием «Разговор прохожего с горлицей». В рукописи и во всех изданиях до 1823 года называется «Горлица и Прохожий». Текст не менялся. Перевод французского стихотворения «Le passant et la tourterelle», напечатанного без имени автора в «L'utile et l'agréable almanach amusant», Amst. et Paris, 1774, стр. 78.

К А. Г. С<еверино>й. Печатается по изд. 1823, ч. I, стр. 104. Впервые — в «Московском журнале», 1791, ч. IV, стр. 253, где после 2-й строки был следующий текст:

Представь Климену мне в час утра безмятежной,
Любующуюся плодом любови нежной,
Который ангельский вкушает в люльке сон.
Она едва дышит, чтоб не проснулся он:
Не смеет продолжать с супругом разговоров,
Но только пламенем своих небесных взоров,
Улыбкой алых уст супругу говорит,
Что в милой крошечке черты отцовы зрит.
Итак, Климена, ты теперь уже спокойна —
Ты счастлива, ты мать и оной быть достойна.
Прелестна умница! ты боле день от дня
Пленяешь чувствами души своей меня!
Доселе я твой ум и сердце чтил прекрасно.
«В счастливой,— восклицал,— в счастливой тот судьбе,
Которого ты любишь страстно!»
А ныне новый дар еще открыл в тебе:
Я вижу всю твою чувствительность, заботы,
Чтоб толь почтенное названье оправдать
И долг природе свой воздать
За многие к тебе ее щедроты.
Уже любимых ты певцов,
Колларда с Геснером, на время забываешь
И в скромную свою диванну мудрецов,
Бюффона и Руссо и Локка, призываешь,
Отменна быв от тех обыкновенных душ,
Которые себя невежеством бесславят
И долг родительниц лишь в том едином ставят,
Чтоб был ребенок сыт и дюж,
Как куколка одет, и мог бы по-французски —
Питомец *Вральманов, мамзели де Ворьень* —
Кой-как лишь бегло врать, не ведая по-русски,
И чтобы наконец был самый модный пень.
Отменна быв от них — о честь прекрасну полу! —
Климена! ты сама теперь вступила в школу,
И даже в оный час, как Терпсихора всех...

Вторая половина стихотворения подверглась значительной стилистической переработке. Настоящая редакция установилась с изд. 1803—1805.

А. Г. Северина — жена сослуживца Дмитриева по Семеновскому полку, офицера П. И. Северина, с которой Дмитриев был близок.

Карикатура. Печатается по изд. 1818, ч. II, стр. 50. Впервые — в «Московском журнале», 1792, ч. V, стр. 295, под названием «Отставной вахмистр (баллада)». В первоиздании были строфы, исключенные в изд. 1803—1805. После строки «Тащась, чертит песок» было:

Не древний ли крыжатик?[1]
Вот сунуло куда!
Изрядный я историк
Простите — заврался.

Нет, это бывший вахмистр

После строки «На родине его» было:

Завидя ж дым в деревне,
Растаял пуще он;
Тогдашний день субботу
И баню вспомянул.

«Любезная хозяйка! —
Ворчал он про себя.—
Помешкай на минуту,
И будешь ты сам-друг.

Ступай, рыжак, проворней!»
И с словом сим стегнул;
Удалый конь пустился,
Как из лука стрела.

Вместо строфы, начинающейся «Заныло веще сердце», была строфа:

Объятый удивленьем
И страхом поражен,
Пошел он вспять с сомненьем,
Его ли это дом?

После строки «Утер своей полой» вместо строфы окончательной редакции было:

«Ух, срезал! знать, хозяйка
Велела долго жить!
Скажи, скажи скорее!» —
Вещает витязь мой.

После строки «Как канула на дно» вместо строфы окончательной редакции было:

Несчастный муж поплакал;
Потом, вздохнув, пошел
К Терентьичу в избушку
И с горести лег спать.

Текст стихотворения в сборнике «И мои безделки» отличается от текста «Московского журнала» незначительно. Окончательная редакция установилась в изд. 1803—1805. В изд. 1823 стихотворение не вошло.

По словам М. А. Дмитриева, отправляя «Карикатуру» Карамзину, автор писал, что «посылает ее только для него, а не для жур-

---

[1] Т. е. воин, бывший в крестовом походе.

нала. Но Карамзин тотчас понял достоинство этой безделки... Он отвечал автору, что эта пьеска из всех лучшая и что ее-то он и напечатает» («Мелочи из запаса моей памяти», М., 1869, стр. 59).

В «Мелочах» М. А. Дмитриева сохранился рассказ о происшествии, послужившем канвой для стихотворения. Герой баллады Прохор Николаевич Патрикеев, «в молодых летах женился, будучи еще *недорослем* (так называли дворян, не бывших еще на службе), потом, оставя жену в деревне, отправился в полк. Это было еще до Петра Третьего, когда чины шли туго и отставок не было; почты тоже не было, а потому он, как человек небогатый, вероятно не имел никаких средств получать известия о своем семействе». Вернувшись в Ивашевку, Патрикеев не нашел своей жены. «Она была судима в пристанодержательстве и, вероятно, сослана. Некому было дать мужу и известия о ее участи...» М. А. Дмитриев хранил картинку, написанную «пером самим Дмитриевым в его молодости: она изображает Патрикеева, подъезжающего *на старом рыжаке* к селу Ивашевке. Там не забыт и тощий кот, мяучащий на кровле» (стр. 124—125).

Наслаждение. Печатается по изд. 1818, ч. II, стр. 34. Впервые — в «Московском журнале», 1792, ч. VIII, стр. 209. Окончательная редакция определилась в изд. 1803—1805. В изд. 1823 не вошло. Включено как песня в «Карманный песенник».

К Хлое. Печатается по сборнику «И мои безделки», стр. 124. Впервые — в «Московском журнале», 1792, ч. VIII, стр. 195. Во всех последующих прижизненных собраниях сочинений отсутствует. Разночтения незначительные. Стихотворение, возможно, обращено к А. Г. Севериной.

Стансы к Н. М. Карамзину. Печатается по изд. 1823, ч. I, стр. 100. Впервые — в сборнике «И мои безделки», стр. 119. Во всех изданиях, кроме изд. 1823, после строки «И казалось Фебом мне» была строфа:

Вижу ль розовый листочек:
Он меня остановил;
То Зефир, не ветерочек,
Крылышком его сронил.

И после строки «И собой пугает всех»:

Чувства прежние имею,
Прежний жар в моей крови;
А уж грациям не смею
Воспевать я о любви.

Остальные разночтения незначительны. В основном текст определился в изд. 1803—1805; подготовляя издание 1823 года, Дмитриев вновь вернулся к работе над текстом и выбросил приведенные выше две строфы.

Катон.— Дмитриев имеет в виду, очевидно, Катона Старшего (III—II в. до н. э.), римского консула, историка и оратора, вос-

хвалявшего аскетический образ жизни. *Сенека* — философ-стоик I в. *Эпиктет* (I в.) — философ-стоик.

К Ф. М. Дубянскому, сочинившему музыку на песню «Голубок». Печатается по изд. 1823, ч. I, стр. 108. Впервые — в сборнике «И мои безделки», стр. 111, где стихотворение заканчивалось строфой:

О Д<убянский>! Я не смею
Похвалы тебе сплетать;
Я лишь чувствовать умею
Благодарность и — молчать.

К Волге. Печатается по изд. 1823, ч. I, стр. 29. Впервые — в «И мои безделки», стр. 9, где конец стихотворения перед тремя заключительными строками читался:

С каким восторгом поднимала
Душой и именем царя!
Тогда, возвышенной судьбою,
Казались малы пред тобою
И самы древние моря!

О мати рек премногих в мире!
О Волга, милая моя,
Текуща в сребряной порфире!
Почто в талантах скуден я!
О, если б вдохновен был Фебом,
Ты первою б рекой под небом,
Знатнейшей Гангеса была...

Эти строки подверглись дальнейшей переработке в изд. 1803—1805. Окончательно они определились в изд. 1818. Строка «Он только в искренних стихах» печатается согласно рукописи и изд. 1818; в изд. 1823 опечатка: вместо «только» — «токмо».

К <А. Г. Севериной> на вызов ее написать стихи. Печатается по изд. 1823, ч. I, стр. 106. Впервые — в журнале «Приятное и полезное препровождение времени», 1794, ч. II, стр. 140, под названием «К одной госпоже на вызов написать ей стихи». В первоиздании стихотворение заключалось строфами:

Здесь и самым Аполлоном
Не согрелся бы иной;
Гости заняты бостоном
Иль немецкою войной.

Наши нимфы, зная плавность
И красу лишь гальских муз,
Фи! — лепечут,— что за славность
Une chanson écrite en Russe! [1]

---

[1] Песня, написанная по-русски.— *Ред.*

Так признаться между нами:
Сколь ни стоишь ты похвал,
Но, по чести, петь стихами
Что-то дух во мне упал.

Вторую и третью из приведенных строф Дмитриев исключил в изд. 1803—1805, отказавшись от сатирической концовки в защиту русской песни; первую строфу — в изд. 1823.

Элегия. Печатается по изд. 1823, ч. I, стр. 126. Впервые — в журнале «Приятное и полезное препровождение времени», 1795, ч. VIII, стр. 8. Первоначальный текст в дальнейшем претерпел значительные стилистические изменения. Редакция в основном определилась в изд. 1803—1805. В журнале после строки «Желают моему подобного конца» были строки:

Но берегись в часы толь горестны, ужасны,
Любезная! терзать власы свои прекрасны
Или язвить себя отчаянной рукой;
Страшись встревожить прах пылавшего тобой!

Вольное подражание римскому поэту Тибуллу (I в. до н. э.) (кн. I, элегия I).

Послание к Н. М. Карамзину. Печатается по изд. 1823, ч. I, стр. 96. Впервые — в альманахе «Аониды», 1797, стр. 74, под названием «К другу». Разночтения с первоизданием незначительные. Окончательная редакция определилась в изд. 1810.

К приятелю. Печатается по сборнику «И мои безделки», стр. 162, где опубликовано впервые. В остальных прижизненных собраниях сочинений отсутствует.

К Ю. А. Н<елединскому->М<елецкому>. Печатается по сборнику «И мои безделки», стр. 168, где напечатано впервые. В последующие прижизненные собрания сочинений не входило.

Нелединский-Мелецкий Юрий Александрович (1752—1828) — поэт, близкий к дворянскому сентиментализму, автор известных песен; некоторые из них дожили до нашего времени («Выйду я на реченьку», «Ох, тошно мне»).

Мадригалы: 1 («По чести, от тебя не можно глаз отвесть. . .»). Печатается по изд. 1823, ч. I, стр. 131. Впервые — в сборнике «И мои безделки», стр. 241, с разночтением в одном слове. Окончательная редакция определилась в изд. 1803—1805. 2 («Задумчива ли ты, смеешься иль поешь. . .»). Впервые напечатано в сборнике «И мои безделки», стр. 241 (в Соч. 1893 ошибочно указано: изд. 1803—1805). Текст не менялся.

А. Г. С<евериной> в день ее рождения. Впервые напечатано в изд. 1803—1805, ч. II, стр. 114. Текст не менялся.

Послание к Аркадию Ивановичу Толбугину. Печатается по тексту журнала «Русский архив», 1863, ч. 12, ст. 894, где опубликовано впервые. Датируется предположительно на основании указания в изд. 1893.

Орозман — герой трагедии Вольтера «Заира» (1730), ревнивый султан.

К друзьям моим по случаю первого свидания с ними после моей отставки из обер-прокуроров пр. Сената. Печатается по изд. 1823, ч. I, стр. 153. Впервые — в изд. 1803—1805, ч. II, стр. 133. Разночтения незначительны.

Супружняя молитва. Печатается по изд. 1818, ч. II, стр. 79. Впервые — в журнале «Вестник Европы», 1803, ч. VII, стр. 46, с разночтением в одном слове. В изд. 1823 не включено.

Путешествие. Печатается по изд. 1823, ч. I, стр. 120. Впервые — в журнале «Вестник Европы», 1803, ч. XII, стр. 210, с разночтением в одном слове. Из Флориана «Le voyage».

К Маше. Впервые напечатано в изд. 1803—1805, ч. II, стр. 115. Текст не менялся. В изд. 1823 не вошло. Написано Марии Петровне, дочери А. Г. Севериной.

Стансы. Печатается по изд. 1818, ч. II, стр. 36. Впервые — в журнале «Вестник Европы», 1805, ч. XXI, стр. 133, со следующим примечанием от автора: «Эта безделка уже давно мною переведена и известна была моим приятелям; ныне же я решился напечатать ее для того, чтобы не смешали моего перевода с другим, который напечатан от неизвестного под именем песенки в четвертой книжке (м. апрель) «Друга просвещения» на 1805-й год». В первом издании вместо имени Клариса было имя Климена. В изд. 1823 не вошло.

Людмила (идиллия). Впервые напечатано в изд. 1803—1805, ч. III, стр. 58. Текст не менялся. Из Беранже «Glycère».

Беранже (Bérenger, Laurent-Pierre, 1749—1822) — французский публицист и поэт.

На случай подарка от неизвестной. Печатается по изд. 1823, ч. I, стр. 133. Впервые — в журнале «Вестник Европы», 1805, ч. XXII, стр. 303. Во всех собраниях до 1823 года стихотворение называлось «На случай получения от неизвестной особы вышитого на канве гения».

Неизвестная — поэтесса А. П. Бунина (1774—1829).

К Г. Р. Державину. Печатается по изд. 1823, ч. I, стр. 89. В рукописи подготовлявшегося изд. 1823 отсутствует. Впервые — в журнале «Вестник Европы», 1805, ч. XXIII, стр. 202. В журнале и в изд. 1803—1805, 1810 и 1814 примечание второе к стихотворению имело следующее продолжение: «Для тех, кои не живали в Москве, можно прибавить, что в этой роще было кладбище для иностранных. Теперь же надгробные камни служат гуляющим вме-

сто столов и стульев». В «Вестнике Европы» стихотворение называется «Ответ сочинителю стихов под названием Лето, напечатанных в осмнадцатом нумере «Вестника Европы». К словам «Бард безымянный» было примечание: «Автор не подписал своего имени». Текст не менялся.

Старинная любовь. Печатается по изд. 1823, ч. I, стр. 121. Впервые — в изд. 1803—1805, ч. III, стр. 64. До 1823 года начало 4-й строфы читалось:

Певец вседневно по утрам,
Под тению густой березы,
Пел о любви своей сквозь слезы,
Бряцая лиры по струнам;
Душа из уст его летела!

Люблю и любил. Впервые напечатано в изд. 1803—1805, ч. III, стр. 62. В изд. 1823 не вошло. Текст не менялся.

Стихи в альбом Е. С. О<гаревой>. Впервые напечатано в изд. 1810, ч. II, стр. 71. Текст не менялся.

Огарева Елизавета Сергеевна (1786—1870) — жена сенатора Н. И. Огарева, знакомая Карамзиных. К ней обращены два стихотворения А. С. Пушкина 1817 года: «Экспромт на Огареву» и «К Огаревой, которой митрополит прислал плодов из своего сада». П. А. Вяземский посвятил ей стихотворение (см. его Сочинения, т. III, стр. 112).

В. В. И<змайлову>. Печатается по тексту «Литературного музеума на 1827 год», стр. 317, где опубликовано впервые. С рукописью (Пушкинский дом, Письма Дмитриева к Измайлову, шифр PI, Оп. 6, ед. хр. 48) незначительные разночтения.

Измайлов Владимир Васильевич (1773—1830) — представитель русского сентиментализма, прозаик и переводчик, автор известного в свое время «Путешествия в полуденную Россию» (1800—1802), написанного под влиянием «Писем русского путешественника» Карамзина; издатель журналов «Патриот» (1804), «Вестник Европы» (1814), «Российский музеум» (1815), альманаха «Литературный музеум», в котором было напечатано это стихотворение Дмитриева и ответ на него Измайлова.

На кончину Веневитинова. Печатается по журналу «Москвитянин», 1842, ч. II, № 4, стр. 294, где опубликовано впервые.

Веневитинов Дмитрий Владимирович (1805—1827) — поэт и публицист, идеолог московского кружка «любомудров» 20-х годов.

В альбом г-жи Иванчиной-Писаревой. Печатается по журналу «Москвитянин», 1841, ч. I, № 2, стр. 356. Последнее стихотворение Дмитриева. Датируется по указанию Иванчина-Писарева в журнале.

Иванчин-Писарев Николай Дмитриевич (1796—1849) — второстепенный поэт и прозаик первой четверти XIX века. Первое собрание стихотворений вышло в 1819 году. Автор книги «Дух Карамзина» (1827) и нескольких историко-археологических работ.

ДРАМАТИЧЕСКАЯ ПОЭМА

Ермак. Печатается по изд. 1823, ч. I, стр. 12. Впервые — в сборнике «И мои безделки», стр. 32. Текст с небольшими поправками по сравнению с первой публикацией определился в изд. 1803—1805. В изд. 1823 были внесены незначительные изменения.

Кучум — татарский хан, завладевший в середине XVI века Сибирью. Вначале он платил дань Москве, но потом пошел войной на Пермь. В 1581 году уральские казаки во главе с Ермаком разбили войско Кучума, и через три года Ермак овладел столицей Сибирского царства — городом Искер.

СКАЗКИ

Причудница. Печатается по изд. 1823, ч. II, стр. 40. Впервые — в сборнике «И мои безделки», стр. 55, с примечанием автора: «Предваряю читателя, что эта сказка родилась от Вольтеровой сказки «La bégueule». Лучше признаться, пока не уличили». В последующих изданиях примечание снято. В первоиздании и в сборнике «Басни и Сказки» после строки «Припав к луке, летит, как из лука стрела» было:

Как жаль, мои друзья, что это позже было
Тех дней, как жил Илья, могучий богатырь!
Железо, медь, булат — пред ним все было гнило,
Как, вырвав дуб, взмахнет, бывало, как косырь!
Пустил ли б он... Но нам его уж не дождаться,
    Так лучше постараться
Самим разбойника с Ветраною догнать.
    Уж начало светать,
А хищник между тем, исполненный отваги,
Не скачет, а летит чрез горы и овраги,
И Клязьмы доскакав высоких берегов...

Основную работу над текстом автор вел, подготовляя изд. 1803—1805. В остальных изданиях разночтения с приводимой редакцией незначительны. Строка «Велениям моим послушных» вместо искажающей контекст в изд. 1823 «Велениям твоим послушных» восстановлена согласно рукописи и всем изданиям до 1823. Восстановлена согласно рукописи и всем предыдущим изданиям пропущенная в изд. 1823 и 1893 строка «Чрез холмы, горы и овраги».

Искатели Фортуны. Печатается по изд. 1823, ч. II, стр. 12. Впервые — в альманахе «Аониды», 1797, стр. 82. Строка «Не дожидаяся ни зову, ни наряду» в изданиях до 1823 (за исключением первоиздания) отсутствует. В «Аонидах» вместо строк

Сказал, прыгнул в корабль, и волны забелели.
    Но что же? не прошло недели...

было:

Сказал, прыгнул в корабль, и волны забелели.
Гораций говорил: тот медну грудь имел,
Кто в страшну бездну вод пуститься первый смел
На утлом дереве.— И правда, нет недели...

Остальные разночтения в изданиях незначительны. В изд. 1803—1805 и 1823 помещена в разделе «Сказки», в изд. 1810, 1814 и 1818—в разделе «Басни». Из Лафонтена «L'homme qui court après la Fortune...»

Лафонтен (Jean de La Fontaine, 1621—1695) — французский писатель, работавший во всех жанрах, особенно знаменитый своими баснями, переведенными на все европейские языки. В предисловии ко второй книге «Сказок» (1667) Лафонтен выступил с защитой права поэта свободно обращаться с источниками, принимать чужие произведения за основу для собственного творческого замысла.

Воздушные башни. Печатается по изд. 1823, ч. II, стр. 24. Впервые — в сборнике «И мои безделки», стр. 18 (в изд. под ред. А. А. Флоридова ошибочно указано: «Басни и сказки», 1798). В первоиздании после строки «Плясавиц, плясунов и кадиев лихих» вместо четырех строк нашей редакции было:

О! Кадий наш и без потачки,
Лишь свистнуть, прилетит и для одной подачки!
Визирских подлипал, его секретаря,
А временем и визиря.
Визирь у нас велико дело!
Он может, я уверен смело,
Для прихотей одних, проказ,
Иль много что за ананас,
Своим волшебным талисманом
И карлу сделать великаном.
Да и примеры уж тому,
Я слышал от отца, бывали,
Что многи равные ему,
Которы опиум в народе продавали,
Чуть не пашами ли иль чем-то эдак стали.
Равно и я могу легко и так и сяк,
Проворством и трудами,
А боле с знатными водяся господами,
Нажить полмиллион, войти в чины и в брак —
Прекрасно! Точно так!

Остальные разночтения незначительны. В основном текст определился в изд. 1803—1805. Сказка написана по мотивам сказки Имбера «Alnascar» («Historiettes ou nouvelles en vers», Amsterdam, 1774, кн. II, стр. 43).

Имбер (Imbert, Barthélemi, 1747—1790) — французский поэт и драматург, ставший известным поэмой «Суд Париса». Он принадлежал к представителям «легкой поэзии», особенно популярной во Франции в середине XVIII века благодаря поэтам Дора (Dorat, 1734—1780) и Колардо (Colardeau, 1732—1776). Его басни вышли в 1773 году. В 1795 году вышли избранные его сочинения в стихах в четырех томах (Oeuvres choisies en vers).

Калиф. Печатается по изд. 1823, ч. II, стр. 17. Впервые — в изд. 1803—1805, ч. III, стр. 41. В изд. 1803—1805, 1810, 1814 и 1818 помещена в разделе «Басни», в рукописи и в изд. 1823 —

в разделе «Сказки». Разночтения с первоизданием незначительные. Из Флориана «Le Calife».

Флориан (Jean Pierre-Claris Florian, 1755—1794) — французский писатель и баснописец, следовавший в своих баснях традиции Лафонтена. Легкость, изящество и салонность были свойственны его прозе, пасторалям и басням. Собрание его басен вышло в Париже в 1792 году.

БАСНИ И АПОЛОГИ

Басни

Пчела, Шмель и я. Печатается по «Московскому журналу», 1792, ч. VII, стр. 118, где напечатана впервые. Во все последующие прижизненные издания сочинений не вошла.

Пустынник и Фортуна. Печатается по изд. 1818, ч. III, стр. 74. Впервые — в «Московском журнале», 1792, ч. VIII, стр. 232. Окончательная редакция определилась в изд. 1803—1805. В «Московском журнале» и в сборниках «И мои безделки» и «Басни и сказки» после строки «Однажды под вечер, как солнца луч погас» было:

В струях дремавших вод без яркого перуна
Раздался будто гром —
И шасть к нему в смиренный дом
В карете шестерней сиятельна Фортуна
И ну во дверь его стучать.

Имеются еще некоторые разночтения. До изд. 1810 печаталась как сказка. В изд. 1823 не вошла. Из Грекура «Le solitaire et la Fortune».

Грекур (Jean Baptiste de Grecourt, 1683—1743) — французский поэт, подражатель Лафонтена. Автор цинических сказок. Дж. Ло, политический деятель, предложил Грекуру поступить к нему на службу. Грекур ответил ему басней «Пустынник и Фортуна». Стихи Грекура были собраны после его смерти; первое издание вышло в 1744 году.

Чижик и Зяблица. Печатается по изд. 1823, ч. II, стр. 65. Впервые — в сборнике «Аглая», 1794, стр. 90, под названием «Чиж (подражание)». Окончательная редакция текста определилась в изд. 1803—1805.

Дуб и Трость. Печатается по изд. 1823, ч. II, стр. 59. Впервые — в сборнике «И мои безделки», стр. 249. Окончательная редакция определилась в изд. 1803—1805. Разночтения с первоизданием незначительные. Из Лафонтена «Le chêne et le roseau». До Дмитриева этот сюжет обработали Сумароков, Княжнин и Николев; после него — Крылов, опубликовавший свою басню впервые в журнале «Московский зритель», 1806, ч. I. Издатель журнала П. И. Шаликов напечатал две басни Крылова — «Дуб и Трость» и «Разборчивая невеста» со следующим примечанием: «Я получил сии пре-

красные басни от И. И. Д<митриева>. Он отдает им справедливую похвалу и желает, при сообщении их, доставить и другим то удовольствие, которое они принесли ему». Жуковский сравнил переводы басен «Дуб и Трость» и «Два голубя» Крылова и Дмитриева в статье «О басне и баснях Крылова» (1809).

Два друга. Печатается по изд. 1823, ч. II, стр. 99. Впервые — в сборнике «И мои безделки», стр. 230. Окончательная редакция определилась в изд. 1803—1805. Из Лафонтена «Les deux amis».

Истукан и Лиса. Впервые напечатана в сборнике «И мои безделки», стр. 171. Текст не менялся.

Старик и трое молодых. Печатается по изд. 1823, ч. II, стр. 142. Впервые — в сборнике «И мои безделки», стр. 208. Окончательная редакция определилась в изд. 1810, за исключением строки «Под тению твоей рябинки прохлаждаться», которая во всех изданиях до 1823 года, а также в рукописи читалась «Под тенью дерева в июле прохлаждаться». Из Лафонтена «Le vieillard et les trois jeunes hommes». В 1806 году Крылов опубликовал свою басню под тем же названием.

Два голубя. Печатается по изд. 1823, ч. II, стр. 82. Впервые — в сборнике «И мои безделки», стр. 133. С первоизданием — много разночтений; три строки выпущены совсем. В основном Дмитриев работал над басней, готовя изд. 1803—1805, где в главном определился текст, и вернулся к работе над нею, подготовляя изд. 1823. В первоиздании, а также в сборнике «Басни и сказки» отсутствуют 17 последних строк. Их Дмитриев добавил в изд. 1803—1805. Первоначально эти строки были напечатаны в «Аонидах», 1798—1799, стр. 215, как отдельное произведение под названием «Подражание Лафонтену». Вместо трех последних строк нашего текста там было:

Увы! Уж нет вам возвращенья!
Ах! лучше б вас навек из мыслей истребить,
Когда уже прошла пора моя любить!

Есть и другие разночтения в этой части с окончательной редакцией. Строка «И ты, дружочек мой», вместо строки в изд. 1823 «А ты, дружочек мой», искажающей контекст, восстановлена согласно рукописи и всем изданиям до 1823.

Перевод басни Лафонтена «Les deux pigeons» с большими отступлениями от оригинала. Заключительные 16 строк принадлежат Дмитриеву. До Дмитриева эту басню перевсдили А. П. Сумароков и Д. И. Хвостов. В 1809 году она вышла в свет в переводе И. А. Крылова.

Кокетка и Пчела. Печатается по изд. 1818, ч. III, стр. 54. Впервые — в альманахе «Аониды», 1797, стр. 244. Окончательная редакция определилась в изд. 1803—1805. В изд. 1823 не вошла. Разночтения с первоизданием незначительные. Из Флориана «La coquette et l'abeille».

Желания. Печатается по изд. 1823, ч. II, стр. 129. Впервые — в альманахе «Аониды», 1797, стр. 285. В основном текст определился в изд. 1803—1805. Из Лафонтена «Les souhaits».

Совесть. Печатается по изд. 1823, ч. II, стр. 104. Впервые — в сборнике «Басни и сказки», стр. 36, под названием «Отцеубийца». Окончательная редакция определилась в изд. 1810. Разночтения с первоизданием незначительные. Из Флориана «Le parricide».

Магнит и Железо. Впервые напечатана в изд. 1803—1805, ч. I, стр. 107. Текст не менялся. Эту басню Дмитриев переводил дважды: один из его апологов («Апологи в четверостишиях», М., 1826) — «Магнит и Железо»:

«Зачем ты льнёшь?» — Магнит Железу говорил.
«Зачем влечешь меня?» — Железо отвечало.—
И в нас бы сердце то ж, прелестный пол, сказало.
Природу одолеть превыше наших сил.

А. А. Флоридов в Полное собрание сочинений Дмитриева (1893) этот аполог не включил. Из Арно «Le fer et l'aimant», «Fables et poésies diverses» (Paris, 1825, стр. 11; первое издание в 1812 г.).

Арно (Arnault, Antoine Vincent, 1766—1834) — французский поэт и драматург, представитель классицизма и противник романтизма. Особенной известностью пользовались его сатирические басни и стихотворения.

Воспитание Льва. Печатается по изд. 1823, ч. II, стр. 7. Впервые — в «Вестнике Европы», 1803, ч. IX, стр. 239. В изд. 1803—1805 и 1823 помещена в разделе «Сказки», в изд. 1810, 1814 и 1818 — в разделе «Басни». Текст почти не подвергался изменениям. Перевод из Флориана «L'éducation du lion».

Строка «Могучие богаты» вместо «Могущие богаты» восстановлена согласно рукописи и всем изданиям до 1823 как более правильная.

В 1811 году Крылов опубликовал свою басню «Воспитание Льва», далекую от Флориана.

Петух, Кот и Мышонок. Печатается по изд. 1823, ч. II, стр. 61. Впервые — в «Вестнике Европы», 1802, ч. VI, стр. 134. Из Лафонтена «Le cochet, le chat et le souriceau».

Дмитриев до последнего издания работал над текстом басни. Карамзин в письме к нему от 4 февраля 1824 года писал: «Жаль... что ты уважил критику графа Сергея Петровича <Румянцева> и вместо: «Смиренный кур любитель» <изд. 1803, 1810> поставил: «Миролюбивый житель». Если таких критиков слушать, то мало останется целого и в Расине и в Лафонтене». В изд. 1818 было: «Невинных кур любитель».

Царь и два пастуха. Печатается по изд. 1823, ч. II, стр. 146. Впервые — в журнале «Вестник Европы», 1802, ч. VI, стр. 213, где отсутствует строка «Все в страхе бегают, кружатся». Разночтения с первоизданием незначительные. Из Флориана «Le roi et les deux bergers».

Летучая рыба. Печатается по изд. 1823, ч. II, стр. 137. Впервые — в журнале «Вестник Европы», 1803, ч. VII, стр. 192. Разночтения незначительны. Из Флориана «Le poisson volant».

Каретные лошади. Печатается по изд. 1823, ч. II, стр. 81. Впервые — в журнале «Вестник Европы», 1803, ч. XII, стр. 209. Окончательная редакция определилась в изд. 1810. Разночтения незначительны. Из Имбера (B. Imbert) «Les chevaux de carosse», «Fables nouvelles par Imbert» (Amsterdam, 1773, стр. 6).

Ружье и Заяц. Печатается по изд. 1823, ч. II, стр. 77. Впервые — в журнале «Северный вестник», 1804, ч. I, стр. 347 с примечанием: «Хотя сочинитель сей басни и желает остаться неизвестным, но, несмотря на то, читатели узнают его.— Издателям остается только благодарить его за присылку сего нового произведения и просить о продолжении украшать журнал их своими сочинениями». Разночтения с первоизданием незначительны. Из Имбера «Le fusil et le lièvre», «Fables nouvelles par Imbert» (Amsterdam, 1773, стр. 78).

Амур и Дружба. Печатается по изд. 1823, ч. I, стр. 139. Впервые — в журнале «Вестник Европы», 1803, ч. VIII, стр. 42. Разночтение с первоизданием — в одном слове. Из Гишара (Jean François Guichard) «L'Amour et l'Amitié». Дмитриев помещал басню в разделе «Смесь».

Змея и Пиявица. Впервые напечатана в изд. 1803—1805, ч. I, стр. 80. Текст не менялся. Из Флориана «La vipère et la sangsue».

Дряхлая старость. Впервые напечатана в изд. 1803—1805, ч. I, стр. 94. Текст не менялся. В изд. 1823 не вошла.

Придворный и Протей. Печатается по изд. 1823, ч. II, стр. 106. Впервые — в изд. 1803—1805, ч. I, стр. 95. Строки

Из тысячи граждан один был только смел,
Который при дворе возрос и поседел

во всех изданиях до 1823 г. и в рукописи читались:

Из тысячи граждан один был только смел,
Хотя он при дворе возрос и поседел

и в изд. 1823 изменены, быть может, по цензурным соображениям. В остальном разночтение с первоизданием в одном слове. Из Флориана «Le courtisan et le dieu Protée».

Нищий и Собака. Впервые напечатана в изд. 1803—1805, ч. I, стр. 97. Текст не менялся.

Мышь, удалившаяся от света. Печатается по изд. 1823, ч. II, стр. 63. Впервые — в изд. 1803—1805, ч. I, стр. 84. Текст определился в изд. 1818. Разночтения с первой публикацией небольшие. Из Лафонтена «Le rât qui s'est retiré du monde».

Лиса-проповедница. Печатается по изд. 1823, ч. II, стр. 67. Впервые — в изд. 1803—1805, ч. III, стр. 11. В изданиях до 1823 года строки 28—30 читались:

Который, несмотря, что в нем порода львина,
Был смирный, так сказать, детина,
И набожный под старость дней...

строки 37—39 читались:

В тиранов гром она бросала
И тут же стон
И слезы извлекала,
Представя, как от них
Невинность унывает
И каждый день в мученьях злых
На небо лишь взирает,
Откуда праведный судья и царь царей
Не скоро, но воздаст гонителям и ей.

Из Флориана «Le renard qui prêche».

Часовая стрелка. Печатается по изд. 1823, ч. II, стр. 73. Впервые — в изд. 1803—1805, ч. III, стр. 35. Текст не менялся, за исключением одного слова, измененного в изд. 1823 против всех предыдущих изданий и рукописи. По указанию М. Н. Лонгинова — из Nogent (?) «L'aiguille de montre».

Лебедь и гагары. Впервые напечатана в изд. 1803—1805, ч. III, стр. 40. Текст не менялся.

Орел и Змея. Впервые напечатана в журнале «Вестник Европы», 1805, ч. XIX, стр. 220, с указанием: «подражание французскому». Текст не менялся. По указанию М. Н. Лонгинова — перевод из Гофмана (Hoffman F. B.) (?)

Смерть и умирающий. Печатается по изд. 1823, ч. II, стр. 149. Впервые — в журнале «Вестник Европы», 1805, ч. XXII, стр. 115. Окончательная редакция определилась в изд. 1803—1805. Разночтения с первоизданием незначительные. Из Лафонтена «La mort et le mourant». Строка «Тогда бы ты успел красивый дом достроить», вместо строки в изд. 1823: «Тогда бы ты успел красивый дом построить», искажающей контекст, восстановлена согласно рукописи и всем изданиям до 1823.

Кот, Ласточка и Кролик. Печатается по изд. 1823, ч. II, стр. 119. Впервые — в изд. 1803—1805, ч. III, стр. 45. Разночтение с первой публикацией в одном слове. Из Лафонтена «Le chat, la belette et le petit lapin».

Ласточка — в современном языке «ласочка» (la belette — зверек ласка).

Лев и Комар. Печатается по изд. 1823, ч. II, стр. 144. Впервые — в изд. 1803—1805, ч. III, стр. 43. Последние четыре строки во всех изданиях до 1823 читались:

Увы! кто свой предел читает на руке?
Зияют хляби, жив. . .а гибнешь в ручейке!
Довольны ль правилом? не то, так вот другое:
Опасен всякий враг, *малейший* — часто вдвое.

В остальном разночтение с первой публикацией в одном слове.

Задолго до басни Дмитриева в «Ежемесячных сочинениях» 1755 был напечатан перевод на ту же тему за подписью «А. Д.» В 1809 году в сборнике басен Крылов впервые опубликовал свою переработку этой же басни, принадлежащей Лафонтену, «Le lion et le moucheron».

Мудрец и Поселянин. Печатается по изд. 1823, ч. II, стр. 91. Впервые — в изд. 1803—1805, ч. III, стр. 7. Окончательная редакция определилась в изд. 1810. Разночтения с первоизданием незначительные. Из Флориана «Le savant et le fermier».

Муха. Впервые напечатана в изд. 1803—1805, ч. III, стр. 10. Текст не менялся. По указанию М. Н. Лонгинова — перевод из Вилье.

Вилье (Villiers, Pierre, 1648—1728) — плодовитый писатель, представитель французского классицизма. Ему принадлежит сборник стихотворений и басен «Poésie de M. D. V.» (Paris, 1728).

Осел и Кабан. Печатается по изд. 1823, ч. II, стр. 136. Впервые — в изд. 1803—1805, ч. III, стр. 13. Первая строка во всех изданиях до 1823 г. читалась: «В навозе вскормленный и вызревший Осел». По указанию М. Н. Лонгинова — перевод из Бурсо.

Бурсо (Boursault, Edme, 1638—1701) — комедиограф, принадлежавший к школе Мольера, автор пьес, нескольких романов и сборника «Lettres nouvelles accompagnées de fables, de contes, d'epigrammes, de bons mots etc» (Paris, 1697).

Отец с сыном. Впервые напечатана в изд. 1803—1805, ч. III, стр. 16. Текст не менялся. Из Флориана «Le jeune homme et le vieillard».

Суп из костей. Впервые напечатана в изд. 1803—1805, ч. III, стр. 28. Текст не менялся.

Воробей и Зяблица. Печатается по изд. 1823, ч. II, стр. 94. Впервые — в изд. 1803—1805, ч. III, стр. 26. До изд. 1823 называлась «Молчание Соловья». С первой публикацией разночтение в одном слове. Из Буазара «Le silence du rossignol».

Буазар (Boisard, J. J. F. M., 1743—1831) — французский баснописец. Выпустил сборники басен в 1773 году (Fables nouvelles), в 1777 и в 1803 годах, в 1805 году — избранные басни. Современники сравнивали Буазара с Флорианом. По мнению Мельхиора Гримма, Буазар не продолжал линии Лафонтена, а шел своим путем.

Дон-Кишот. Печатается по изд. 1823, ч. II, стр. 101. Впервые — в изд. 1803—1805, ч. III, стр. 17. Окончательная редакция

определилась в изд. 1818. Строка «Отборными словами» до изд. 1814 отсутствует; строка «И, к счастью, в глаз, а не в висок» в первой публикации отсутствует. Остальные разночтения незначительны. Из Флориана «Don Quichotte».

Бык и Корова. Печатается по изд. 1823, ч. II, стр. 114. Впервые — в изд. 1810, ч. III, стр. 83, с одним незначительным разночтением. По указанию М. Н. Лонгинова — перевод из Вилье.

Орел и Каплун. Печатается по изд. 1823, ч. II, стр. 140. Впервые — в изд. 1810, ч. III, стр. 110. Три последние строки нашего текста в изд. 1810 и 1814 читались:

И сверху вмиг — он бряк на кровлю, как свинец.
Все птицы хохотать! Петух же добрых правил
Напамять этот стих по случаю привел:
«Отважный без ума всегда себя бесславил!»
Потом примолвил вслух: «Каплун! ты не Орел!»

Перевод из Арно «L'aigle et le chapon» («Oeuvres», Paris, 1825, стр. 31).

В 1808 году в «Драматическом вестнике» была напечатана басня Крылова «Орел и куры», сходная с басней Дмитриева.

Рысь и Крот. Впервые напечатана в изд. 1810, ч. III, стр. 91. Текст не менялся. Из Буазара «Le lynx et la taupe» (Fables par J. J. F. M. Boisard faisant suite aux deux volumes publiés en 1773 et 1777», 1803, стр. 34).

Сверчки. Впервые напечатана в изд. 1810, ч. III, стр. 102. Текст не менялся. Из Ламота.

Ламот (De La Motte, Antoine Houdar, 1672—1731) — поэт, баснописец и критик. Басню «Сверчки» — «Les grillons» см. в его «Oeuvres choisies» (Paris, 1811, т. II, стр. 124).

Апологи

Апологи печатаются по книжке «Апологи в четверостишиях», вышедшей в Москве в 1826 году. В предисловии Дмитриев писал: «Предлагаемые здесь апологи почти все выбраны из четверостишных басен *Мольво*, известного французского поэта. Я не забочусь о том, признают ли их баснями или апологами. Соглашаюсь даже и сам назвать их просто *нравоучительными четверостишиями*. Желаю только, чтоб они достигли цели своей и сохранили достоинство поэзии».

Мольво (Mollevaut Charles-Louis, 1776—1844) — французский поэт; издал несколько стихотворных книг. Сборник, из которого переводил Дмитриев, вышел в Париже в 1820 году под названием «Cent fables en quatre vers chacune».

Переводы некоторых апологов Дмитриев печатал раньше:

Полевой цветок. Впервые был опубликован как басня в изд. 1803—1805, ч. III, стр. 17, под названием «Полевой цветок и

гвоздика» и с разночтением в одном слове. В изд. 1823 басня не вошла. Из Лорана Пьера Беранже «La Renoncule et l'Oeillet» («Poésies de M. Bérenger», 1785, т. II, стр. 69).

Разбитая скрипка. Впервые опубликован как басня в изд. 1803—1805, ч. III, стр. 20, с разночтением в одном слове. В изд. 1823 басня не вошла. Из Тевено.

Тевено (Théveneau Charles, 1759—1821) — математик и поэт, импровизатор, автор сборников стихов и критики переводов трагедий А. П. Сумарокова на французский язык.

Кроме того, в «Апологах» напечатан «Магнит и Железо», текст которого приведен на стр. 502 в примечании к одноименной басне.

НАДПИСИ, ЭПИТАФИИ, ЭПИГРАММЫ

Надписи

«И это человек?..» Впервые надпись-эпиграмма напечатана в «Московском журнале», 1791, ч. IV, стр. 12, под названием «Надпись к портрету господина...» Во всех последующих изданиях — без названия.

К портрету Г. Р. Державина. Впервые напечатана в изд. 1803—1805, ч. II, стр. 117. Текст не менялся.

Старинная шутка к портрету Н. М. Карамзина. Впервые опубликована в «Русском архиве», 1867, ст. 988, по тексту которого и печатается.

Шолье Гильом (1639—1720) — французский поэт, представитель легкой поэзии. ...у Киселева.— В доме Д. И. Киселева, отца министра графа П. Д. Киселева, «много играли в карты, до которых Карамзин был тогда большой охотник» (из примечания в «Русском архиве»).

К Амуру. Печатается по изд. 1823, ч. I, стр. 135. Впервые — в изд. 1803—1805, ч. III, стр. 69. Перевод из Вольтера. Датируется предположительно на основании письма Карамзина к Дмитриеву от 13 декабря 1798 года.

К портрету М. М. Хераскова. Впервые напечатана в изд. 1803—1805, ч. II, стр. 116. Примечание появилось в изд. 1823. Текст не менялся.

Херасков Михаил Матвеевич (1733—1807) — один из видных представителей русского классицизма и вместе с тем предшественник сентиментального направления в русской литературе. Поэт, драматург и романист; издатель журналов «Полезное увеселение», «Свободные часы», «Вечера». Автор героической поэмы «Россиада» (1779) и философских романов «Нума Помпилий» (1768), «Кадм и Гармония» (1789) и др. В 1796—1803 годах вышло 3-е собрание сочинений Хераскова в 12 частях, далеко не полное. С 1778 по 1802 год Херасков — попечитель Московского университета.

К портрету М. Н. Муравьева. Впервые напечатана в изд. 1803—1805, ч. II, стр. 86. Во всех изданиях до 1823 года — без указания имени. Текст не менялся.

Муравьев Михаил Никитич (1757—1807) — поэт, прозаик и публицист, предшественник русского сентиментализма, ученик Хераскова, автор «нравоучительной прозы»: «Обитатель предместья и Эмилиевы письма» (1815). К. Батюшков издал собрание сочинений Муравьева в трех частях (1819—1820). В 1801 году — статс-секретарь Александра I, в 1802 — товарищ министра народного просвещения, в 1803—1807 — попечитель Московского университета.

«Вот мой тебе портрет...» Впервые напечатана в изд. 1803—1805, ч. II, стр. 86. Во всех изданиях — без указания имени и без названия. Текст не менялся.

<К портрету Н. М. Карамзина>. Впервые напечатана в изд. 1803—1805, ч. II, стр. 87. Во всех прижизненных публикациях — без названия. Текст не менялся.

<К портрету П. И. Шаликова>. Впервые напечатана в изд. 1803—1805, ч. II, стр. 87. Во всех прижизненных публикациях — без названия. Текст не менялся.

Шаликов Петр Иванович (1768—1852) — поэт, прозаик и журналист, представитель сентиментального направления, эпигон Карамзина. Издавал журналы «Московский зритель» (1806), «Аглая» (1808—1810, 1812), «Дамский журнал» (1823—1833). В 20-х годах стал мишенью многочисленных сатирических выпадов.

«Смейтесь, смейтесь, что я щурю...» Впервые напечатана в изд. 1803—1805, ч. II, стр. 103. Текст не менялся. В изд. 1823 не вошла.

«Чей это, боже мой, портрет?..» Печатается по изд. 1803—1805, ч. II, стр. 104, где опубликована впервые. Во всех последующих прижизненных собраниях сочинений отсутствует. Адресат неизвестен.

Эпитафии

Ф. М. Д<убянском>у. Печатается по изд. 1823, ч. I, стр. 137. Впервые в альманахе «Аониды», 1797, стр. 238.

Дубянский Федор Михайлович — композитор и музыкант. В 1796 году утонул в Неве.

В. А. В<оейков>у. Впервые напечатана в альманахе «Аониды», 1798—1799, стр. 35, с названием «Надгробие». Текст не менялся.

И. Ф. Богдановичу, автору «Душеньки». Печатается по изд. 1823, ч. I, стр. 137. Впервые — в журнале «Вестник Европы», 1803, ч. VIII, стр. 230, с названием «Эпитафия автору Душеньки». Разночтение в одном слове.

Богданович Ипполит Федорович (1743—1803) — поэт и журналист, автор сказочной поэмы «Душенька» (1775—1778); руководил изданием при Академии наук газеты «Санкт-Петербургские ведомости» (1775—1782); принадлежал к литературному кружку Хераскова.

«Здесь бригадир лежит...» Впервые напечатана в изд. 1803—1805, ч. II, стр. 105. Текст не менялся.

Эпитафия эпитафиям. Впервые напечатана в «Вестнике Европы», 1803, ч. IX, стр. 46, под названием «Эпитафия эпитафиям, сочиненная одним из авторов эпитафий». Текст не менялся. В изд. 1823 не вошла.

М. А. Дмитриев сообщает об этой эпитафии-эпиграмме: «По смерти Богдановича Карамзин, написавший столь прекрасный разбор «Душеньки», предложил в «Вестнике Европы» (1803, ч. 7, февр. № 2, стр. 226) русским авторам, вроде конкурса, написать эпитафию Богдановичу. Эпитафии посылались в «Вестник Европы». Были хорошие, были и посредственные, были и очень фигурные. Почти во всех упоминались Амур и Душенька. Чтобы положить конец этому конкурсу, Ив. Ив. Дмитриев напечатал в «Вестнике» эпиграмму под названием «Эпитафия эпитафиям»...» («Мелочи из запаса моей памяти». М., 1869, стр. 22).

«Прохожий, стой! во фрунт!..» Впервые напечатана в изд. 1803—1805, ч. III, стр. 77, в цикле «Надгробия». Текст не менялся.

Эпиграммы

«А я хоть и не ум...» Печатается по тексту, опубликованному в книге М. А. Дмитриева «Мелочи из запаса моей памяти». М., 1869, стр. 227. Впервые — в сборнике «Вчера и сегодня», 1845, стр. 52, в редакции:

Коль разум чтить должны мы в образе Шатрова,
Нас боже упаси от разума такова.

Когда вышел сборник Карамзина «Мои безделки», Н. М. Шатров встретил его следующей в свое время известной эпиграммой:

Собрав свои творенья мелки,
Русак немецкий написал:
«Мои безделки».
А ум, увидя их, сказал:
«Ни слова дива,
Лишь надпись справедлива!»

Дмитриев ответил на нее своей эпиграммой. Датируется годом выхода сборника «Мои безделки».

«Завидна,— я сказал,— Терситова судьбина...» Печатается по изд. 1818, ч. I, стр. 68. Впервые — в сборнике «И мои безделки», стр. 243, с разночтением в одном слове. В изд. 1823 не вошла.

На спуск Стефанием трех шаров в присутствии трех знатных особ. Печатается по тексту, опубликованному в «Русском архиве», 1867, ст. 982. Датируется годом отстранения Куракина от двора (1798).

А. Б. Куракин (1752—1818) — один из приближенных Павла I; *А. Г. Орлов-Чесменский* (1737—1808) и *П. А. Зубов* (1767—1822) — фавориты Екатерины II.

«Седящий на мешках славяно-русских слов...» Печатается по тексту, опубликованному в «Русском архиве», 1867, ст. 989, под названием «Пародия». Написано в 1803 году, когда вышла книга А. С. Шишкова «Рассуждение о старом и новом слоге российского языка» и разгорелась журнальная война между сторонниками Карамзина и Шишкова.

Сотиньус — прозвище Шишкова. *П. Ю. Львов* (1770—1825) — автор сентиментальной прозы, печатавшейся в «Московском журнале», впоследствии примкнул к кругу Шишкова и в 1803 году издал книгу «Храм славы Российских ироев», которая и явилась непосредственным поводом к написанию эпиграммы.

«Я разорился от воров!..» Впервые напечатана в изд. 1803—1805, ч. II, стр. 101. В изд. 1823 не вошла. Текст не менялся. Из Лебрена «Dialogue entre un pauvre poète et l'auteur» (Oeuvres, 1811, т. III, стр. 17).

Лебрен (Lebrun, Ecouchard, 1729—1807) — автор многочисленных од и эпиграмм, прозванный французским Пиндаром.

«Увы,— Дамон кричит...» Впервые напечатана в изд. 1803—1805, ч. II, стр. 102. В изд. 1823 не вошла. Текст не менялся.

Новости литературы. Печатается по тексту, опубликованному в «Русском архиве», 1867, ст. 982.

Написано на «Новости русской литературы» — журнал, издававшийся в Москве в 1802—1805 годы. Эпиграмма, повидимому, написана на уход редактора П. А. Сохацкого (1764—1809) из журнала в 1804 году.

«Что легче перышка?..» Впервые напечатана в изд. 1803—1805, ч. III, стр. 75. В изд. 1823 не вошла. Текст не менялся.

На журналы. Печатается по тексту, опубликованному в «Русском архиве», 1867, ст. 986.

«Вестник от карел» — «Северный вестник», издававшийся И. И. Мартыновым в 1804—1805 годы в Петербурге. О «Северном вестнике» Дмитриев писал Д. И. Языкову 24 декабря 1805 года: «Я перестану впредь жаловаться вам на него, но не перестану и впредь клясть, хотя в уединении моего чердака, подобные мерзости» (Соч. 1893, т. II, стр. 197). *«Просвещенья сват»* — «Друг просвещения» — журнал графа Д. И. Хвостова, П. И. Голенищева-Кутузова и Г. С. Салтыкова. Выходил в 1804—1806 гг. *«Аврора»* — ежемесячное издание (1805—1806) Ф. Х. Рейнгардта и Я. И. де-Санглена. *«Московский курьер»* — журнал С. М. Львова, издававшийся в 1805—1806 гг. *Грузный «Корифей»* — «Корифей, или Ключ литературы» — журнал члена «Беседы» Я. А. Галинковского, издававшийся в 1802—1807 годах и печатавший преимущественно статьи по теории словесности. Н. М. Карамзин в письме к М. Н. Муравьеву назвал этот журнал «галиматьей».

В письмах 1805 года Дмитриев высмеивал журналы противников карамзинского направления.

Ответ. Печатается по тексту, опубликованному в «Русском архиве», 1867, ст. 985. Написано в 1806 году в ответ на статью М. Т. Каченовского («Вестник Европы», 1806, № 8, 9) о части III сочинений Дмитриева, вышедшей в 1805 году. В 1806 году Дмитриев неоднократно жаловался в письмах А. И. Тургеневу и В. А. Жуковскому на критику Каченовского. 25 мая он писал Жуковскому: «Читали ли вы рецензию г. Каченовского? Что же вы скажете теперь о вашем рыцаре, т. е. обо мне, бедном? Где теперь хваленый вами баснописец? Где его чистота и гармония в стихотворстве, где его слава? Увы! увы! одно слово Каченовского, и прощай моя девятилетняя славишка!» (Соч. 1893, т. II, стр. 203).

Последнюю строку этой эпиграммы повторил Пушкин в своей эпиграмме на Каченовского (1818).

Дефонтен (1685—1745) — ожесточенный противник Вольтера; современники видели в нем безвкусного зоила.

На дурные оды по случаю рождения именитой особы. Впервые напечатана в изд. 1810, ч. I, стр. 71. В изд. 1823 не вошла. Текст не менялся.

«Подзобок на груди и, подогнув колена...» Печатается по изд. 1818, ч. I, стр. 70. Впервые — в изд. 1810, ч. I, стр. 71. В изд. 1823 не вошла. Написана на Д. И. Хвостова, переводившего Расина и Буало. Строка «Все классики уже переводимы мной» исправлена по первоизданию (1810). В изд. 1818 (и 1814) — опечатка: «Где классики...»

Стихотворение, приписываемое И. И. Дмитриеву: «Камин» (сатира). Печатается по рукописи, находящейся в ГПБ им. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде (Державинское собрание, шифр F. XVII, 80, стр. 29). Рукопись переплетена вместе с другими произведениями в том с заглавием «Разные сочинения. Начаты в 1793». Сатира записана писарской рукой, под стихотворением подпись рукою, повидимому, Державина «Дмитриев». Судя по характеру сатиры, она принадлежит к самым ранним произведениям поэта.

В том же томе находится другая сатира — «Письмо к приятелю, или Беспристрастный зритель некоторых состояний нашего века, 1794 года», под которой также стоит подпись «Дмитриев». Начинается сатира строками:

Куда ни погляжу, везде я вздор встречаю!
Хоть я не много примечаю,
Но вздор повсюду так велик,
Что сам является собою,
Дурачество свой кажет лик
И громко всем гласит трубою:
Я здесь

Судя по литературным особенностям и манере, Дмитриев в 1794 году не мог написать «Письмо к приятелю». Либо оно написано много раньше, либо не принадлежит Дмитриеву, несмотря на указание в рукописи.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ К СТИХОТВОРЕНИЯМ Н. М. КАРАМЗИНА

Алина 202
<Амур в плену у муз> 122
Анакреонтические стихи А. А. П<етрову> 73

Берег 234

«Весело в поле работать...» 119
Веселый час 91
Весенняя песнь меланхолика 71
Военная песнь 68
Волга 107
Вопросы и ответы 220
Выбор жениха 172
Выздоровление 76

Гимн глупцам 227
Граф Гваринос 78

Два сравнения 197
Две песни («Мы желали — и свершилось!», «Доволен я судьбою»), 139—140
Долина Иосафатова, или Долина спокойствия 189

<Из лирической прозы «Афинская жизнь»> 119
<Из «Эдипа в Колоне» Софокла> 120
Илья Муромец 143
Impromptu двум молодым дамам, которые в масках подошли к автору 197
Исправление 198

К бедному поэту 176
К богине здравия 87
К верной 186
К Д<митриеву> 66
К Добродетели 235
Кладбище 101
К Лиле 194
К Мелодору в ответ на его песнь любви 160
К Милости 98
К неверной 182
К ней 136
К портрету Ломоносова 196
<К отечеству> 120
К Прекрасной 88
К самому себе 156
К соловью 111
Куплеты из одной сельской комедии, игранной благородными любителями театра 223
К Шекспирову подражателю 200
К Эмилии 231

Лилея 175
Любовь и дружба 196

Меланхолия 221
Молитва о дожде 112

Надписи на статую Купидона 208
Надпись к дамской табакерке, на которой изображены мраморный столп и цветок 201
Непостоянство 174

Осень 83
Отставка 180

<Песнь Вакху> 121
Песнь воинов 239
Песнь мира 95
<Песнь Сафина> 122
<Песня из повести «Остров Борнгольм»> («Законы осуждают...») 117
Песня («Нет, полно, полно! впредь не буду...») 158
Послание к Александру Алексеевичу Плещееву 130
Послание к Дмитриеву в ответ на его стихи, в которых он жалуется на скоротечность счастливой молодости 125
Послание к женщинам 161
Поэзия 59
Приношение грациям 105
Приписание к г-же N, которая желала, чтоб я списал для нее сии две песни 141
Пророчество на 1799 год, найденное в бумагах Нострадамуса 220
Прости 103
Протей, или Несогласия стихотворца 210

Раиса 92

Сильфида (стихотворение, приписываемое Н. М. Карамзину) 242
<Смерть Орфеева> 124
Стихи к портрету И. И. Дмитриева 241
Стихи от де Мазюра к И. И. Дмитриеву 142
Странность любви, или Бессонница 114
Страсти и бесстрастие 201
«Счастье истинно хранится...» 57

Тацит 200
Тень и предмет 241
Триолет Лизете 193

Филлиде 85

Хлоя 160

«Часто здесь в юдоли мрачной...» 55

Эпитафии («Небесная душа на небо возвратилась...» и др.) 100
Эпитафия («Он жил в семмире для того...») 196

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ К СТИХОТВОРЕНИЯМ И. И. ДМИТРИЕВА

Амур и Дружба 414
Апологи 443
«Ах! когда б я прежде знала...» 295
«А я хоть и не ум, но тож скажу два слова...» 452

«Без друга и без милой...» 297
Беспечность поэта 445
Будочник 287
Бык и Корова 439

В. А. В<оейков>у 450
В альбом г-жи Иванчиной-Писаревой 356
В. В. И<змайлову> 355
«Видел славный я дворец...» 299
Воздушные башни 376
Воробей и Зяблица 436
Воспитание Льва 403
«Вот мой тебе портрет...» 448
«Все ли, милая пастушка...» 306
«Всех цветочков боле...» 302

Два голубя 394
Два друга 390
Деревцо 444
Дон-Кишот 437
«Други! время скоротечно...» 303
Дряхлая старость 416
Дуб и Трость 388

Ермак 357

Желания 398

«Завидна,— я сказал,— Терситова судьбина...» 452
«Задумчива ли ты, смеешься иль поешь...» 341
«Здесь бригадир лежит...» 451
Змея и Пиявица 415

Искатели Фортуны 373
Истукан и Лиса 391
И. Ф. Богдановичу, автору «Душеньки» 450
«И это человек?» 447

К А. Г. С<еверино>й («Какое зрелище для нежныя души!») 315
К А. Г. С<евериной> в день ее рождения 341
К <А. Г. Севериной> на вызов ее написать стихи 331
Калиф 381
Каменная гора и Водяная капля 445
Камин (стихотворение, приписываемое Дмитриеву) 456

К Амуру 448
Каретные лошади 411
Карикатура 317
Картина 269
К Волге 328
К Г. Р. Державину («Бард безымянный!..») 350
К друзьям моим по случаю первого свидания с ними после моей отставки из обер-прокуроров пр. Сената 343
Клевета 444
К Маше 346
Кокетка и Пчела 397
Кот, Ласточка и Кролик 428
К портрету Г. Р. Державина 447
К портрету М. М. Хераскова 448
К портрету М. Н. Муравьева 448
<К портрету Н. М. Карамзина> («Вот милый всем творец!..») 449
<К портрету П. И. Шаликова> 449
К приятелю (с дачи) 339
«Куда мне, сердце страстно...» 304
Курица и утяты 444
К Ф. М. Дубянскому, сочинившему музыку на песню «Голубок» 327
К Хлое («Дрожащею рукою...») 322
К Ю. А. Н<елединскому->М<елецкому> 340

Лебедь и гагары 424
Лев и Волк 445
Лев и Комар 430
Летучая рыба 410
Лиса-проповедница 421
Люблю и любил 354
Людмила 348

Магнит и Железо 402
Мадригалы («По чести, от тебя не можно глаз отвесть...»; «Задумчива ли ты, смеешься иль поешь...») 341
Модная жена 272
Мудрец и Поселянин 431
Муха 433
Мыльный пузырек 445
Мышь, удалившаяся от света 419
Мячик 445

Надписи 447
На дурные оды по случаю рождения именитой особы 455
На журналы 454
На кончину Веневитинова 356
Наслаждение 321
На случай подарка от неизвестной 349
На спуск Стефанием трех шаров в присутствии трех знатных особ 452
Нищий и Собака 418
Новости литературы 454

«Обманывать и льстить...» 282
Орел и Змея 425
Орел и Каплун 440
Осел и Выжлица 446
Осел и Кабан 433
Ответ 455
Отец с сыном 434
Отъезд 309

Петух, Кот и Мышонок 406
План трагедии с хорами 288
«Подзобок на груди и, подогнув колена...» 455
Подснежник 446
«Пой, скачи, кружись, Параша!..» 300
Полевой цветок 443
Послание к Аркадию Ивановичу Толбугину 342
Послание к Н. М. Карамзину 336
«По чести, от тебя не можно глаз отвесть...» 341
Придворный и Протей 417
Причудница 363
Прохожий и Горлица 314
«Прохожий, стой! во фрунт!» 451
Пустынник и Фортуна 384
Путешествие 345

Путешествие N. N. в Париж и Лондон 283
Пчела, Шмель и я 383

Разбитая скрипка 443
Репейник и Фиалка 444
Роза и Шмель 443
Ружье и Заяц 412
Рысь и Крот 441

Сверчки 442
Своенравная Лиса 444
«Седящий на мешках славяно-русских слов...» 453
«Смейтесь, смейтесь, что я щурю...» 449
Смерть и умирающий 426
Совесть 401
Стансы («Я счастлив был во дни невинности беспечной...») 347
Стансы к Н. М. Карамзину 324
Старик и трое молодых 392
Старинная любовь 352
Старинная шутка к портрету Н. М. Карамзина («Он дома — иль Шолье...») 447
Стихи в альбом Е. С. О<гаревой> 354
Стихотворение, приписываемое И. И. Дмитриеву: «Камин» 456
«Стонет сизый голубочек...» 293

Суп из костей 435
Супружняя молитва 345
Счет поцелуев 311

«Тише, ласточка болтлива!..» 296

«Увы,— Дамон кричит...» 453
Узда и Конь 446

Ф. М. Д<убянском>у (эпитафия) 450

Царь и два пастуха 408

Часовая стрелка 423
«Чей это, боже мой, портрет?» 449
Челнок без весла 446
Чижик и Зяблица 386
«Что легче перышка?» 454
«Что с тобою, ангел, стало?..» 305
Чужой толк 277

Элегия (подражание Тибуллу) 333
Эпиграммы 452
Эпилог. Автор и критика 446
Эпитафии 450
Эпитафия эпитафиям 451

Я 313
«Я разорился от воров!» 453

СОДЕРЖАНИЕ

Н. М. КАРАМЗИН

Вступительная статья *А. Кучерова* 7

СТИХОТВОРЕНИЯ

«Часто здесь в юдоли мрачной...» 55
«Счастье истинно хранится...» 57
Поэзия 59
К Д<митриеву> 66
Военная песнь 68
Весенняя песнь меланхолика 71
Анакреонтические стихи А. А. П<етрову> 73
Выздоровление 76
Граф Гваринос 78
Осень 83
Филлиде 85
К богине здравия 87
К Прекрасной 88
Веселый час 91
Раиса 92
Песнь мира 95
К Милости 98
Эпитафии 100
Кладбище 101
Прости 103
Приношение грациям 105
Волга 107
К соловью 111
Молитва о дожде 112
Странность любви, или Бессонница 114
<Песня из повести «Остров Борнгольм»> 117
<Из лирической прозы «Афинская жизнь»> 119
«Весело в поле работать...» 119
<Из «Эдипа в Колоне» Софокла> 120
<К отечеству (песнь афинян)> 120
<Песнь Вакху> 121
<Амур в плену у муз> 122
<Песнь Сафина> 122
<Смерть Орфеева> 124

Послание к Дмитриеву в ответ на его стихи, в которых он жалуется на скоротечность счастливой молодости . . . 125
Послание к Александру Алексеевичу Плещееву 130
К ней 136
Две песни 139
Приписание к г-же N, которая желала, чтоб я списал для нее сии две песни 141
Стихи от де Мазюра к И. И. Дмитриеву 142
Илья Муромец 143
К самому себе 156
Песня 158
К Мелодору в ответ на его песнь любви 160
Хлоя 160
Послание к женщинам 161
Выбор жениха 172
Непостоянство 174
Лилея 175
К бедному поэту 176
Отставка 180
К неверной 182
К верной 186
Долина Иосафатова, или Долина спокойствия 189
Триолет Лизете 193
К Лиле 194
К портрету Ломоносова 196
Эпитафия 196
Любовь и дружба 196
Impromptu двум молодым дамам, которые в масках подошли к автору и хотели уверить его, что он их не узнает . . 197
Два сравнения 197
Исправление 198
Тацит 200
К Шекспирову подражателю 200
Страсти и бесстрастие 201
Надпись к дамской табакерке, на которой изображены мраморный столп и цветок 201
Алина 202
Надписи на статую Купидона 208
Протей, или Несогласия стихотворца 210
Пророчество на 1799 год, найденное в бумагах Нострадамуса 220
Вопросы и ответы 220
Меланхолия 221
Куплеты из одной сельской комедии, игранной благородными любителями театра 223
Гимн глупцам 227
К Эмилии 231
Берег 234
К Добродетели 235
Песнь воинов 239
Стихи к портрету И. И. Дмитриева 241
Тень и предмет 241
Стихотворение, приписываемое Н. К. Карамзину: Сильфида 242

И. И. ДМИТРИЕВ

Вступительная статья *А. Кучерова* 245

СТИХОТВОРЕНИЯ

Сатиры

Картина 269
Модная жена 272
Чужой толк 277
«Обманывать и льстить...» 282
Путешествие N. N. в Париж и Лондон, писанное за три дни до путешествия 283
Будочник 287
План трагедии с хорами 288

Песни

«Стонет сизый голубочек...» 293
«Ах! когда б я прежде знала...» 295
«Тише, ласточка болтлива!..» 296
«Без друга и без милой...» 297
«Видел славный я дворец...» 299
«Пой, скачи, кружись, Параша!..» 300
«Всех цветочков боле...» 302
«Други! время скоротечно...» 303
«Куда мне, сердце страстно...» 304
«Что с тобою, ангел, стало?..» 305
«Все ли, милая пастушка...» 306

Лирические стихотворения и послания

Отъезд 309
Счет поцелуев 311
Я 313
Прохожий и Горлица 314
К А. Г. С<еверино>й 315
Карикатура 317
Наслаждение 321
К Хлое 322
Стансы к Н. М. Карамзину 324
К Ф. М. Дубянскому, сочинившему музыку на песню «Голубок» 327
К Волге 328
К <А. Г. Северчной> на вызов ее написать стихи 331
Элегия 333
Послание к Н. М. Карамзину 336
К приятелю 339
К Ю. А. Н<елединскому-> М<елецкому> 340
Мадригалы 341
А. Г. С<евериной> в день ее рождения 341

Послание к Аркадию Ивановичу Толбугину 342
К друзьям моим по случаю первого свидания с ними после моей отставки из обер-прокуроров пр. Сената 343
Супружняя молитва 345
Путешествие 345
К Маше 346
Стансы 347
Людмила 348
На случай подарка от неизвестной 349
К Г. Р. Державину 350
Старинная любовь 352
Люблю и любил 354
Стихи в альбом Е. С. О<гаревой> 354
В. В. И<змайлову> 355
На кончину Веневитинова 356
В альбом г-жи Иванчиной-Писаревой 356

Драматическая поэма

Ермак 357

Сказки

Причудница 363
Искатели Фортуны 373
Воздушные башни 376
Калиф 381

Басни и апологи

Басни

Пчела, Шмель и я 383
Пустынник и Фортуна 384
Чижик и Зяблица 386
Дуб и Трость 388
Два друга 390
Истукан и Лиса 391
Старик и трое молодых 392
Два голубя 394
Кокетка и Пчела 397
Желания 398
Совесть 401
Магнит и Железо 402
Воспитание Льва 403
Петух, Кот и Мышонок 406
Царь и два пастуха 408
Летучая рыба 410
Каретные лошади 411
Ружье и Заяц 412
Амур и Дружба 414
Змея и Пиявица 415
Дряхлая старость 416

Придворный и Протей 417
Нищий и Собака 418
Мышь, удалившаяся от света 419
Лиса-проповедница 421
Часовая стрелка 423
Лебедь и гагары 424
Орел и Змея 425
Смерть и умирающий 426
Кот, Ласточка и Кролик 428
Лев и Комар 430
Мудрец и Поселянин 431
Муха 433
Осел и Кабан 433
Отец с сыном 434
Суп из костей 435
Воробей и Зяблица 436
Дон-Кишот 437
Бык и Корова 439
Орел и Каплун 440
Рысь и Крот 441
Сверчки 442

Апологи

Полевой цветок 443
Разбитая скрипка 443
Роза и Шмель 443
Деревцо 444
Репейник и Фиалка 444
Курица и утяты 444
Клевета 444
Своенравная Лиса 444
Лев и Волк 445
Мячик 445
Каменная гора и Водяная капля 445
Мыльный пузырек 445
Беспечность поэта 445
Подснежник 446
Узда и Конь 446
Осел и Выжлица 446
Челнок без весла 446
Эпилог. Автор и критика 446

Надписи. Эпитафии. Эпиграммы

Надписи

«И это человек?..» 447
К портрету Г. Р. Державина 447
Старинная шутка к портрету Н. М. Карамзина 447
К Амуру 448
К портрету М. М. Хераскова 448

К портрету М. Н. Муравьева 448
«Вот мой тебе портрет...» 448
<К портрету Н. М. Карамзина> 449
<К портрету П. И. Шаликова> 449
«Смейтесь, смейтесь, что я щурю...» 449
«Чей это, боже мой, портрет?..» 449

Эпитафии

Ф. М. Д<убянском>у 450
В. А. В<оейков>у 450
И. Ф. Богдановичу, автору «Душеньки» 450
«Здесь бригадир лежит, умерший в поздних летах...» . . . 451
Эпитафия эпитафиям 451
«Прохожий, стой! во фрунт! скинь шляпу и читай...» . . . 451

Эпиграммы

«А я хоть и не ум, но тож скажу два слова...» 452
«Завидна,— я сказал,— Терситова судьбина...» 452
На спуск Стефанием трех шаров в присутствии трех знатных особ 452
«Седящий на мешках славяно-русских слов...» 453
«Я разорился от воров!..» 453
«Увы,— Дамон кричит,— мне Нина неверна!..» 453
Новости литературы 454
«Что легче перышка?» — «Вода»,— я отвечаю...» 454
На журналы 454
Ответ 455
На дурные оды по случаю рождения именитой особы . . . 455
«Подзобок на груди и, подогнув колена...» 455

Стихотворение, приписываемое И. И. Дмитриеву:

Камин 456

ПРИМЕЧАНИЯ

Н. М. Карамзин

От составителя 461
Сокращения, принятые в примечаниях 462
Примечания к стихотворениям 463

И. И. Дмитриев

От составителя 480
Сокращения, принятые в примечаниях 483
Примечания к стихотворениям 485

Алфавитный указатель к стихотворениям Н. М. Карамзина . 512
Алфавитный указатель к стихотворениям И. И. Дмитриева . 514

Редактор А. Докусов

Художник И. Серов
Техн. редактор С. Брусиловская
Корректоры Н. Тырса и П. Суздальский

Подписано в печать 25/XI 1953 г. М 46778
Формат бумаги 84×108/32 — 8,19 бум. л. =
= 26,86 печ. л. Авт. л. 21,63 Уч.-изд. л. 22,58.
Тираж 10 000. Зак. № 1442. Цена 12 р. 80 к.
(по прейскуранту 1952 г.)

Типография № 2 Ленгорполиграфиздата
Ленинград, Социалистическая, 14.

